

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

12 '86



На стендах «ЮНОСТИ»

СМОТРИ ТРЕТЬЮ СТРАНИЦУ ОБЛОЖКИ



П. РЕЙХЕТ. Ленинград.

Антарктида.

ЮНОСТЬ

12⁽³⁷⁹⁾

86



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Владимир АМЛИНСКИЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Сергей ЕСИН

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Олег КОМОВ

Виктор ЛИПАТОВ

(заместитель главного редактора)

Мария ОЗЕРОВА

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Владислав ТИТОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Николай ГОЛУБ. Семка-Европа. Рассказ	16
Аркадий АРКАНОВ. Рукописи не возвращаются. Роман	30

Поэзия

Марк ЛИСЯНСКИЙ	11
Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ	12
Евгений ШЛИОНСКИЙ	13
Вениамин ЗИКУНОВ	13
Маргарита КИРИЛЛОВА	14
Галина НЕРПИНА	15
Витаутас БРЕНЦЮС	15
Владимир РЕЦЕПТЕР	28
Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ	81
Альберт КРАВЦОВ	89

Публицистика

Михаил ХРОМАКОВ. Если б ты знал...	3
Музей Мира	10
Валентин ЮМАШЕВ. Зарисовки в стиле брейк	101

Наша публикация

Владимир ВЫСОЦКИЙ. Монологи	82
Надежда АЛЕКСАХИНА. Нас так и звали: «соколята»	86
Андрей ПЛАТОНОВ. «И эта мука совести...»	90

Критика

Евграф КОНЧИН. Рокоты и другие...	79
Алексей ПЬЯНОВ. «По вечной памяти иду...»	94
Лидия ГИНЗБУРГ. «Смысл жизни — в жизни, в ней самой...»	95

Почта Юности

Инга АГЛИЦКАЯ. Консилиум пациентов	97
--	----

Спорт

Виктор ПРОНИН. О пользе игры в шашки	105
В. НАЙПАК. До свидания, Даля!	110

В «Зеленом портфеле» — «Лавровая шляпа». Итоги конкурса	100
---	-----

Содержание журнала «Юность» за 1986 год	111
---	-----

Оформление обложки
С. Костромина

Художественный редактор
О. Кокин

Художник
Ю. Цишевский

Технический редактор
О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Т е л е ф о н ы:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел критики — 251-96-76
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 10.10.86.
Подп. к печ. 10.11.86.
А 11551
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18
Уч.-изд. л. 17,62.
Усл. кр.-отт. 18,48
Тираж 3 290 000 экз.
Изд. № 2956
Заказ № 3861.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.



МИХАИЛ
ХРОМАКОВ

ЕСЛИ Б ТЫ ЗНАЛ...

Керосиновая лампа долго мерцает меж нами, разговор возвращается то на тридцать, то на двадцать, то на пятьдесят лет назад, то залетает в следующий век, словно порхающая бабочка за закопченным стеклом освещает наше столетие на несколько десятилетий вперед и назад. На бревенчатой стене тикают ходики, снижаются на узких цепочках гири, тени скользят вслед и застыли лица на старых фотографиях: тик-так — и вот уже нельзя разглядеть почти никого в группе передовиков, снимавшихся на сельхозвыставке в Москве перед войной, тик-так — и не видать веселого командира с ромбиками в петлицах, тик-так, тик-так — и уже не рассмотреть девушку в крепдешиновом платице, тикают ходики, перемалывая столетие...

Потом мы подкрутили фитиль, и бабочка в закопченном стекле сложила крылья.

Ночью, закинув руки за голову, я лежу на печи и думаю о человеке, который тоже не спит, он ворочается за стеной на койке, бормочет что-то; ему не дает уснуть растормошенное сердце — это сердце все сильнее болит в последние годы, и поэтому, когда он идет поутру в рощу, которую он посадил и вырастил, где выкопал пруды и насыпал курганы, в рощу-парк, куда вложил без остатка тридцать лет жизни, при каждом шаге позвякивают в кармане баночки и пузырьки от сердца.

Это была брошенная земля на краю села, вся в рытвинах, ямах, буграх. Корежили землю камень и дерево от прошлых построек. Топорщился бурьян. Ветер гонял по пустырю мусор.

Но пришел человек. Он срезал бурьян. Вскопал землю. И посадил три тонкие яблони. Он привязал яблоньки к колышкам, чтобы ветер не опрокинул деревца. Уходя, он оглянулся и увидел, что ничего не изменилось на пустыре. Нельзя было сразу и разглядеть три слабые ветки на краю поля.

Человек пришел снова. И опять принес на плече несколько хрупких саженцев. Он приходил сюда снова и снова. Через тысячу дней пустыря не стало.

Но и парка еще не было, потому что деревья были пока слабы и невысоки.

Потом прошла еще тысяча дней. Потом еще.

И люди забыли, что на месте тенистой рощи был пустырь.

Фото автора

Парк трудно рос, пробивался сквозь грубую почву, отыскивая корнями влагу. И человек этот трудно жил, так и не научившись расставаться, прощать, коптить.

В роще уже сквозила осень. Мы шли по аллеям, и золотые листья летели к ногам.

В глубине поляны на фоне треугольных елей волной ниспадала ива. Она была похожа на водопад.

— Жаль,— сказал мой спутник,— сейчас солнце не с той стороны, надо прийти в пятом часу, тогда эффект будет другой.

И мы приходили в пятом часу... Солнце, рассеченное листьями, и вправду казалось облаком брызг.

— Сто раз я рисовал ее, эту поляну,— сказал человек, вырастивший рощу.

Зовут этого человека Алексей Давыдович Щербак. Живет он в Черниговской области, в степном украинском селе Ровчак-Степановке.

Он посадил эту рощу десять тысяч дней тому назад. И десять тысяч раз он приходил сюда каждое утро. И десять тысяч вечеров он встретил здесь. Когда совсем смеркалось, он втыкал лопату в землю, словно ставил восклицательный знак в конце дня, садился на лавочку под вербу, тяжелыми пальцами втискивал сигарету в мундштук и, глотая горький дым, думал о прошедшем дне... Последние десять лет он насыпал курган Славы в память об ушедших на войну ровесниках — они теперь моложе его на сорок лет... Курган — пока не заверченный, тридцать на тридцать метров в основании — отдаленно напоминал египетскую пирамиду, и немного противотанковый контрэскарп, и еще, быть может, необычайной величины дот, то есть долговременную огневую точку, какими была густо уставлена «Линия Маннергейма» на Карельском перешейке во все свои 135 километров ширины по фронту и 95 километров глубины, и которую пришлось рассекать дважды — в сороковом и в сорок четвертом. Его там и ранило, на Карельском... Сигарета догорала, он подбирал веточку, чистил мундштук и, перед тем как уйти, придирчиво обходил курган вокруг — в кургане было восемь с половиной метров высоты, за вершину прихвтался молодой кленок и уже успел вытянуться в рост человека, — обойдя курган, он видел, что труд целого дня совершенно незаметен, да и можно ли заметить тысячу лопат земли там, где уже лежит миллион.

В клубе Алексей Давыдович подвел меня к плану, обтянутому красным ситцем. На нем были густо наклеены фотографии парней, переснятые с солдатских книжек и любительских снимков: кто в красноармейском шлеме, кто в лихо заломленной кепочке-пуговке, какие носили перед войной, кто стриженный наголо в топорщащейся новенькой гимнастерке, а глаза встревоженные, видно, в день мобилизации в июне 41-го фотограф и нажал затвор... Наклеены на материи крупные буквы: «Они погибли за Родину».

— Двести тридцать три жизни,— говорит Алексей Давыдович.— О них курган мой. Им курган.

В его роще есть имена у полян и аллей, у деревьев, курганов, скамеек, беседок. Он редко называет их. Он говорит: «Эти имена лишь для меня имеют значение и смысл. Ну что вам скажет поляна Одинокой Печали? Пусть другой человек даст другое имя, такое, которое ему сейчас важно, тогда через год придет и вспомнит, что тревожило год назад».

Керосиновая лампа горит всю ночь. Фитиль совсем укручен, света никакого, только подрагивает рыжий кругляшок на потолке, словно просочилась

сквозь крышу луна. Я лежу головой на ворохе книг, слушаю ходики и думаю об этом человеке, который, наверное, вспоминает сейчас письма от красивой девушки с карими и горячими глазами. Он расстался с ней тридцать лет назад, расстался, потому что очень ее любил. Есть в его роще аллея Любви. И курган Разлуки тоже есть.

...На другой стороне улицы затарабанили в дверь и по спящей деревне понесся хриплый мат: «Ат-крой! мужу, пидьлога! Аткрой! Измываеся-а?! Убью! Аткрой!!» Сосед-алкоголик вернулся домой. Минут через сорок он закончил штурм и заснул на крыльце...

С потолочной балки свисали пучки череды и душицы, тонкий аромат путал мысли и навевал сон, человек за стеной вставал с постели, беспокойно ходил по комнате, снова ложился, ворочаясь в скрипучей койке.

Аллея, которая звалась аллеей Любви, была даже не аллеей, а насыпью в метра полтора высотой. Она вела между рябин, берез и умчавшихся к небу сосен — незаметно для себя оказываешься в том же месте, откуда начал путь, кольцо замыкалось вокруг небольшого кургана, где стояли, прижавшись, клен и береза.. Символ был прост: как судьба человека ни мнет, в какие заботы ни бросает, какие годы ни уходят, а он мыслями словно по зачарованному кругу кружит, возвращается к одному и тому же предмету, думу думает о человеке, которого любил и любит.

«Любимый мий Альоша! Минул мисяц, как ты вдруг замолчал. Не молчи. То брошу все и приеду до тебе. Но никак не могу приехать. Якбы мама знала, шо я до тебе поехала, а не ты до мене, то дуже горюватиме. Хочеш помолось, щоб ти приехав? Я прошу тебе щиро, люблячи, приехать до мене. Жду хоть словечко от тебе. Зачем ты меня мучишь? Твоя Марія».

...До войны еще долгих-долгих четыре года. Поезд катит сквозь весну, сквозь снегопад цветущих яблонь. Алешка сидит в поезде, одетый согласно моде: в белых брюках и черном бостоновом пиджаке. И тут в вагон заходит Ана...

— Ну и что дальше? — тороплю я.

Алексей Давыдович молчит, улыбается, вспоминая: — А что дальше? Проехали вместе сотню километров. Договорились переписываться. Глаза у нее карие, ужасные, гипнотизируют. Подруга с ней была. Подруга видит, что я весь там, в этих глазах, встала, ушла... Куда потом ни пойду,— эти глаза передо мной. Когда она мне фотокарточку прислала, я другу показал, тот только и воскликнул: «Ой, Алексей Давыдович, бойтесь этих очей!» Что потом? Встречались. Писали друг другу. Очень часто и много. Потом я ушел на войну с белофиннами. Потом началась большая война. Потом мы опять нашли друг друга. Она была в то время учительницей в школе в Западной Украине. А потом... Потом ничего. Совсем ничего.

Алексей Давыдович зашарил по карманам, разыскивая мундштук.

Отворилась дверь. Екатерина Ивановна несла в лужок попискивающих цыплят. Давеча в курятник забралась куница и передушила десяток цыплят, поэтому теперь они ночуют под печкой, всю ночь шебаршатся и галдят.

— *Сосед-то целую ночь в луже лежал,— говорит Екатерина Ивановна.— Хоть бы чих! Другие форточку откроют, уже в спине ломота, а ему хоть бы чих. Двадцать пять лет пьет без просыху — ничего не делается.*

...Весной сорок пятого флажки на карте в школе переставлялись стремительно, вперед и вперед на запад... В соседнем Нежине майор-тыловик схватил Алексея за плечо: «Я тебя узнал! Это ты! Ты! Признавайся! Счас же!» Майор дышал тяжелым перегаром. «Снимай ботинки. Счас же! Исполнять команду! Исполнять! Счас же!» Он заставил разуться, поставил Алексея к забору, выхватил у солдата винтовку: «Именем трибунала!» Рванул курок и не попал с двух шагов. Алексей бросился бежать. В спину треснул выстрел, еще один... На перекрестке налетел на патруль и, отдышавшись, вернулся за ботинками. Майору заломили руки, он матерился и, увидев Алексея, позвал: «Ну, скажи им, что шутили. Ну, пошутил, шутка, ну...» С того дня вернулась память о ранении. Бессонница поселилась в доме...

Шел урок биологии, когда в классе щелкнул взрыватель и легкий дымок пополз из парты. Он увидел пупырчатую поверхность гранаты и бросился к запершим в испуге ребятам. Мальчишка, избавляясь от нахошки, бросил гранату за шкаф. Она там звякнула о стекло. Алексей Давыдович посмеивался, вспоминая: «Какие же дурные мысли в голову лезут в такой момент. Думал, ну, вот теперь стекла для стендов побьются. Я ж еле их добыл». Грохнул взрыв. Осколки зацепили троих, взрывной волной вышибло окна, но все были живы... Все были живы.

От головных болей теперь темнело в глазах, при малейшем усилии голова начинала кружиться, как в вальсе, он хватался за стены, пытаясь удержаться равновесие. Врачи настойчиво объясняли: «На фронте в экстремальных обстоятельствах вы могли и не заметить последствий ранения, а сейчас под влиянием новых обстоятельств возникли осложнения». А потом записали в инвалиды и отправили на пенсию. «Какая пенсия?! Глупость! Я хочу работать У меня вон сил сколько». — Он показывал, как крепко сжимается рука в кулак, но, шатнувшись, отыскивал стул, чтобы не упасть на глазах комиссии в белых халатах. «Ну, вот видите,— говорили ему.— Так что лет пять, не обессудьте, придется вам числиться инвалидом. А там посмотрим.»

Пять лет!.. Вернувшись домой, он вырвал из тетрадки листки и написал: «Марийка, любимая моя! В моей жизни случилось страшное: во-первых, я уже больше не буду работать учителем, во-вторых, теперь я пенсионер, в-третьих...» Он перечел и подвинул другой листочек: «Марийка! Выходи за меня замуж. Приезжай ко мне, как только получишь это письмо. Я еще не знаю, как сложится моя жизнь, но ты самый дорогой человек в моей теперь бесмысленной жизни. То есть сейчас, когда я стал инвалидом посреди своих молодых лет, жизнь переломилась надвое, и без тебя мне совсем будет худо. Ты знаешь, как я тебя люблю и дорожу тобой, пусть растут у нас дети, я буду жить ради них, ради тебя...»

Не так, не так! Все наоборот будет. Не ты, а она пять лет будет жить ради тебя, и жизнь свою поворачивает. Кто знает, пять лет или семь? Может, все десять. Может, всю жизнь... У тебя даже угла своего нет. Куда ты ее зовешь? Подумай! К чужим людям на квартиру? Зачем зовешь? Чтобы мучить своими болезнями?! «Марийка! — написал он на новом листочке,— ты не простишь мне этих слов, я знаю, и, может, не поймешь сейчас, но выходи замуж за другого, я люблю тебя и буду любить сколько жиз-

ни моей хватит, но никогда мы не будем вместе...» Он долго просидел над этим письмом, письмо сложилось глупое, путаное, то злое, то слезливое, он перечел и решил, что лучше совсем ничего не писать. Будто умер. Алеша сложил листочки в конверт, заклеил, бросил на дно чемодана и повернул ключ.

«Альоша, Альоша, коханий мий, что с тобою, что? Всяка мера терпения вже не витримає. Що я сделала як дурница? Мабуть справити ту ошибку вже не можно. Если тебе совсем не хочется мне писать, то поверни мне без пояснения фотокарточку, я тогда зразуmio все. Ты молчишь вже полгода. Что с тобой, любий мий, что? Твоя Марія».

С той поры Ровчак-Степановка с недоумением стала замечать на пустыре одинокую фигуру бывшего учителя. Ветер поднимал полы его плаща, и учитель тогда походил на грача с подшибленным крылом. То он принимался вымерять пустырь шагами, то зло рубил лопатой бурьян, выкачивал в землю какие-то колышки... Пошли по селу пересуды: «Щербак клад шукает, чи не?» Несколько раз бабонки побойчей спрашивали в лоб. «Может, и клад», — отвечал учитель.

Сначала он мечтал сделать парк из островов, как карту Земли, соединить «континенты» гнутыми мостиками, а по «океанам» пусть катаются на лодках. Остановили его вот эти цифры на обложке тетрадки: объем земляных работ и количество лет, требуемых на осуществление замысла.

Другой проект назывался «Живописная Украина». Поляны посвящались украинским классикам. Он помечал: «Леся Украинка — плакучая верба и серебристый высокий, высокий тополь... Шевченко — мощные раскидистые дубы, хатка-мазанка (условно)...» И обязательно — мечтал! — создать памятную аллею современных писателей, пригласить, чтобы приехали, каждый посадил бы свое дерево.

— Да ведь почему я не брался, — словно оправдываясь, объясняет Алексей Давыдович, — думал, сколько мне судьбой отпущено? Сорок, ну, сорок пять лет максимум. Проект набросаю, тут же прикину: успею — не успею? Нужно за жизнь успеть: если бросишь на полпути, кто доделает? Будут потом люди дурным словом поминать: зачем только этот Щербак брался, если до ума не довел?

В тетрадках, где он сочинял парк, — рисунки аллей, полян, тропок, проекты курганов; первый набросок, десятый, сотый вариант...

Долгое время пенсию в тридцать рублей он делил пополам: это мне, а это на парк. Пополам чаще всего не получалось — на покупку редких деревьев, японской вербы, маньчжурского ореха, пробкового дерева, на поездки за ними в лесопитомники и дендрарии уходило больше. И если говорить, что он вынуждал рошу, этого мало — он принес ее сюда буквально на руках, все саженцы.

Порой ему начинало казаться, что он взялся за неподъемный труд, что зря понадеялся на свои силы. Одно дело выходить пятьдесят, ну, сто деревьев, не несколько же сотен! Он приходил сюда, когда туман еще висел над пустырем. Выпалывал бурьян, расчищал поляны от буйного кустарника, высаживал новые деревья согласно архитектуре задуманного парка... Иногда он совершенно отчетливо сознавал, что в одиночку справиться невозможно, и тогда, верша свой ежедневный труд, целыми днями думал об одном: уехать куда глаза глядят и забыть все, что начал. Уходя вечером в такие дни из парка, он горько прощался с ним, охотнее решив больше

не возвращаться никогда. И. утром приходил снова. Он уже не мог уехать, потому что уехать означало предать деревья, которые растил.

Он истер сорок лопат, чтобы посадить и вырастить парк, выкопать аквариумы и нижние поляны, насыпать курганы и кольцо аллеи Любви, создать «неровности рельефа», которые в степи, понятно, не водятся. В парк приходила осень и обрывала листья. Приходила весна, листья вырастали и снова падали на землю. И в новую весну он сгребал их, побуревшие под снегом, в огромные кучи, дым тек сквозь рошу, и жужжали пчелы у первых кочечков верб. «Так тихо,— писал он другу,— что слышишь, как растет трава». Он растил парк и вспоминал людей и события, которые сложились в судьбу. Отец, погибший в гражданскую. Страшная голодовка тридцатых годов. Война. Погибший друг. Мария...

Вначале он насыпал курган Разлуки. Но память о разлуке непрочна. В конце концов она проходит, как боль. И тогда он насыпал аллею Любви. Потому что память о любви останется всегда, как шрам. Он насыпал высокую круговую аллею, не потревожив деревьев. Он носил для нее землю чуть ли не горстями. Чтобы насыпать ее, он прошел десять тысяч километров. На это ушло два года жизни. Зимой аллею засыпало снегом, и она перестала быть видна. Тогда он с большим трудом добыл девять елочек и посадил их на аллею. Елки несколько лет не прижились. Он волновался. Но потом дружно и быстро принялись расти. Теперь даже зимой, даже когда ложился снег, не исчезала аллея с именем Любви.

«Альоша! Сегодня ровно год, как я получила от тебя ostatnie письмо. Год ты не вымолил и слова. Я твоих писем всегда жду. И буду всю жизнь их ждать. Может, з тобою случилось такое, что ты не винен в молчании. Неужели я не зразумила б тебе, не поняла б? Я все равно буду с тобой. И ты будешь вспоминать мене бсю, какую жизнь не проживешь. Я на картах на тебе кидала и видела, что так. Любий мий, помни твою Марийку!»

— Если б ты знал, как я заплакал одиножды над теми письмами! Если б ты знал...

Клен уронил пятипалый лист. Он упал между нами

— Ты замечал, как деревья похожи на людей? — сказал Алексей Давыдович. — Идет девушка, и видишь: она словно ива. Или встречаешь вдруг человека, который, как сосна, легкий, солнечный, звонкий, высокий.

— А иногда встречаешь — дуб дубом, — неловко продолжил я тему.

— Дуб — красивое дерево, — сказал Алексей Давыдович. — Дерево связи.

— Как? — не понял я.

— Дерево связи, — повторил он. — Через несколько людских поколений растет. Посади сегодня дуб и через триста лет потомки спасибо скажут. Прямая связь с будущим... — Он помолчал, прочищая мунштук. — А деревья на людей похожи. Вот у меня в роше выросло дерево, очень похожее на Марийку.

— Покажете?

— Да я боюсь, покажу, а она со мною говорить перестанет.

— Говорить?! — переспросил я.

В час, когда заходило солнце, он подвел меня к дереву, чьи ветви были как руки, прижатые к груди. Ветра не было. Я видел, что листва не колыхалась, но дерево словно б тихо-тихо вздохнуло.

— Здравствуй, Мария, — сказал Алексей Давыдович — Вот гость у нас. Видишь?

И дерево опять вздохнуло.

— Я вчера поэтому и не приходил. Сидели дома. Говорили, беседовали, Катя, я и он — Алексей Давыдович тронул меня за локоть. — Поэтому и не приходил вчера. Понимаешь?

«Любий мий, не мучь меня! Знаю, що жив ти, я во сні тебе видела и ти сказав, що тебе плохо. Коханій мий, не верю, що ти мог разлюбити мене. Хоть слово напиши. Целую тебя, твоя Мария».

В одну из зим елки на аллее Любви вырубili подчистую. С тех пор под каждый Новый год Алексей Давыдович неделю ночует в парке. Сторожит. Сельчане рассказывают: «Ни шубы на нем, ни кожуха, а тильки блаженке пальтечко, и не унти, а разбиты кирзовы чоботи». Простудился, слег с воспалением легких до самой весны. От порога больницы заторопился в рошу, и еще издали увидел, что срубили ель на кургане Разлуки. Эта елочка восемь лет была величиной с ладонь, сидела, не поднималась, а потом вдруг пошла, пошла, ровнехонькая, аккуратная, вымахала статной красавицей. Это и погубило. Оголился курган, словно состарился.

Люди с топором приходили сюда не только под Новый год. Степь, леса мало, а под боком столько «лесоматериала» пропадает... Лишь пеньки оставались.

Я разыскал одного такого. «А чего? — хохотнул он. — Щербак сам говорит, что для всех растит». Для всех... Штук семь грецких орехов росло, выкопали, развезли по своим участкам. Росла удивительно красивая ель, верхушка была увенчана крестом, как купол церкви, срубили верхушку для новогодней елки. С трудом добыл голубые елочки, выкроил на них деньги из пенсии, только и успел пять раз полить — украл. «Хоть бы у них прижились, — сетует Алексей Давыдович, — а ведь не приживутся, к голубым ялинкам особый подход нужен. Пропадут». Два куста калины выросли на загляденье. Уже ягоды красные начала приносить. Ночью выкопали и увезли куст. Только увидел поутру яму и следы от мотоцикла с коляской. А вторая калина, когда ту увезли, вдруг сохнуть начала, зачахла и пропала.

— Затосковала, — вздохнул Алексей Давыдович

Зашли как-то в контору колхоза два механизатора. «Видели, — спросили они председателя, — что Щербак для нас сделал?» «Видел, — отвечает тот — Ну и что?» «А видели, как он живет? Одежду и обувь на этой работе рвет, на ногах кирзовые сапоги круглый год. Зимой на нем шинелишка худая. Бедно живет человек». «Оно понятно, — согласился председатель. — Дома своего нет. Огорода нет. А на его пенсию и бутылку в праздник не купишь». «Вот, вот, — сказали механизаторы, — мы и подумаем, а почему б за безвозмездный труд многих лет не премировать нашего Щербака выходным костюмом. В гражданскую вон шароварами за доблесть награждали».

— Ну и знаете, что он ответил? — усмеваются механизаторы, пересказывая мне давний разговор. — Говорит, если у вас есть деньги — дайте ему А я, говорит, не просил его строить парк.

Пасли раньше на том пустыре коров. Ходят коровы, ломают саженьцы, объедают молодую листву. Прошел учитель по избам: «Не гоняйте скотину, люди, парк растет». Кто послушал, а кто опять своих коров сюда на выпас. Что будешь делать? Выгнал буренку, так хозяйка прибежала: «Щоб ти на груди себе забрал той парк!» В могилу, значит.

Нашелся и такой, что кипяток лил под деревья, не нравилось ему, что корову приходилось на сто метров дальше пастись... Забор был нужен, ограда хоть какая. Ходил учитель в сельсовет, в правление колхоза ходил; как сменить председателя, он к нему: «Парк огородить бы...» Не один раз и не один год. Двадцать лет! Поставили, наконец, штaketничек.

А тут как раз газета заметочку в десять строк про парк напечатала. Прочел председатель колхоза, взволновался, вызвал председателя сельсовета: «Читал? Надо реагировать». «А чем мы можем помочь? Давай позовем, спросим». Позвали. Смутился Алексей Давыдович, но видит, разговор серьезный, и нарушил свое давнее правило — ничего для себя не просить, сказал: «Мне скоро шестьдесят лет будет, а я бездомный. Если бы какую пустую хатенку за мной закрепили. Пусть даже угол какой, лишь бы крыша над головой». Председатель колхоза повернулся к председателю сельсовета: «Дело разрешимое. Ты уж похлопочи, позаботься. Парк-то сельский». «Э, нет, — сказал председатель сельсовета. — Почему это парк сельский?.. Земля-то колхозная! Это тебе надо заботиться». Начались препирания. Щербак послушал, послушал, картуз на голову и пошел из кабинета. А те в споре своем и не заметили.

Поначалу, правда, стояла на школьном дворе небольшая хатка, школьники там учились строгать, пилить, по дереву мастерить. Когда Щербак стал пенсионером по инвалидности, школа отвела бывшему учителю в той хатке кладовку под жилье. Восемь квадратных метров, земляной пол. Прорубил учитель два оконца, поставил табуретку, железную кровать, книги на досках сложил. Три недели на хлебе и воде жил, на печку собирал. Расплатился, да печка ненадолго пригодилась — снесли хатку, и на ее месте школа хорошую мастерскую выстроила, а Алексей Давыдович начал по людям скитаться, углы снимать.

Вспоминаю об этом сейчас не для того, чтобы упрекнуть вдогонку давно сменившихся администраторов; говорю об этом, чтобы подчеркнуть: Щербак растил рощу не благодаря, а вопреки обстоятельствам, на которые мы так любим ссылаться, объясняя неудачи. Потому и выросла роща, что он был сильнее обстоятельств.

Люди привыкали к той, пока еще прозрачной рощице на краю села и, примечая неустанную фигурку учителя, копошащуюся там с весны до снега и морозов, наконец, отчетливо уяснили, приняли за очевидное тот парадокс, что человек с утра до вечера горбит спину вовсе не ради себя и не ради денег, а только лишь с единственной целью, чтобы в их степном селе выросла роща над прудом. И прониклись к этому человеку глубоким уважением и сочувствием.

Два с половиной года сооружал он аквариум. Насыпал двухметровый вал. Выкопал небольшой прудок, метров двадцать в диаметре. В центре поднял островок. Посадил на нем сосну, березу, иву, а вокруг по валу кусты махровой сирени. На островок перекинул мостик. В пруду плавали рыбки, оттого и назвал сооружение аквариумом. Сельчане полюбили сюда приходить, особенно когда буйно и густо цветет сирень.

Затеял колхоз расширять ставок. Экскаваторы рыли землю, ползали бульдозеры, видят — новая линия берега заденет аквариум. «Ну и что? — пожало плечами начальство и скомандовало: — Вперед!» «Нет, — наотрез отказался бульдозерист — Не буду я человеческий труд уничтожать. Что хотите со мной делайте, не буду» Стоят бульдозеры, молчат экскаваторы, встали самосвалы. Начальство послало за

Щербаком: «Мы тебе заплатим. Уступи». «Разве такое продается?» — только и спросил Алексей Давыдович. Рабочие шумят: да чего там на метр в сторону принять, чего ставку делается, зато красота останется. Сердится начальство, капризы, понимаешь, тут: «Вперед!» — командует. А не получается вперед.

Вдруг приносят Алексею Давыдовичу на дом 90 рублей: «Вот вам за аквариум», — и кладут на стол. (Слушаю эту историю и думаю: кто-то же вычислял, что труд Щербака стоит именно девяносто рублей, по три рубля за каждый месяц, не больше и не меньше.) Поспешил Алексей Давыдович в рощу. Гудят бульдозеры. Рабочие увидели учителя и говорят: «А нам сказали, что вы аквариум за девяносто рублей продали». За какой-то час раскатали, разутюжили два с половиной года. Смешанные с землей кусты сирени увезли куда-то на самосвалах.. Долго не зеленела трава на перекрученных гусеницами в грязь берегах. Но потом зазеленела. В парке поднялись новые деревья. И по-прежнему каждый день приходил сюда старый человек.

Старость надвинулась незаметно, как осень, отяжелела ноги, завязала узлы на венах, изменила лицо, походку, кликнула болезни... Он надорвался, перекидывая лопатой эшелоны земли. Врачи сказали теперь совсем категорично: «Никакой тяжелой работы, никакой!» Но он, стянув подведшие мышцы бандажом, поднял курган Славы еще на два метра. Грунт для кургана выбирал с нижней поляны, перекидывал к кургану, потом ступеньками перебрасывал по склону, — каждая лопата земли умножалась на число перебросок, сто тонн оборачивались тысячами... В своих расчетах он не учел этого и поэтому спешил, чтобы успеть.

Конечно, тот же курган можно насыпать экскаватором, бульдозерами, самосвалами не за десять лет, а за четыре дня, а может, и за день. Спилить деревья, чтобы не мешали. Пригнать технику и насыпать. Потом привезти новые деревья, вкопать — и точка. Все это мы умеем. Но ведь это будет иной курган, насыпанный бездушной техникой под сизый горклый кашель двигателя и капли масла с шатунов. А курган, насыпанный горстями, это иное. Совсем иное. Иная ипостась человеческой боли и памяти.

Не сравнить эти горсти с ловко сработанными мемориалами, бетонными колоссами с факелами, мечами и без, проглотившими миллионы народных денег, насытившими своих создателей казенной славой и заработком и не сумевшими даже своими циклопическими размерами тронуть человеческую душу так, чтобы она п о м н и л а.

С маленького обелиска перед клубом я переписал имена, густо выбитые на четырех гранях. Сначала писал подряд, но, поняв, что сумерки торопят, записал только братьев: «Дерева Федор Михайлович, Дереза Андрей Михайлович, Дереза Иван Михайлович, Вальченко Андрей Михайлович, Вальченко Григорий Михайлович, Сало Павло Кузьмич, Сало Степан Кузьмич, Сало Иван Кузьмич, Сало Иван Иванович, Овчаренко Григорий Яковлевич, Овчаренко Антон Яковлевич, Овчаренко Василий Яковлевич, Овчаренко Семен Яковлевич...»

Пятый брат, матрос Иван Овчаренко, рассказал мне, как, затопив корабли в Севастопольской бухте, дрался в морском десанте, защищая, а потом освобождая Севастополь, Керчь, Новороссийск, как ходили матросы в атаку, сбросив каски и надев бескозырки, как в разведке резал в землянке фашистов, только хрустело под ножом, как вернулся домой и на столе, когда сели праздновать встречу, стояли не-

ронутыми налитые до краев еще четыре чарки. Братних.

От Овчаренко мы идем через ночной парк мимо кургана. Алексей Давыдович осторожно расспрашивает меня о том, может ли найтись в нашей большой стране человек, который, ничего не требуя в награду, поставил бы на кургане скульптуру, так, чтобы эта скульптура была о Родине и Войне, и о каждом из погибших тоже?

...В двух шагах от дома наткнулись на возвращавшегося соседа. Пьяными бросками он двигался вдоль забора. Настроен он был решительно. Но на сей раз его пустили без стука...

Алексей Давыдович долго снимал комнату у Екатерины Ивановны. Давно схоронив мать, она жила одиноко и просто. Вся ее биография укладывалась в одну строку: до третьего класса ходила в школу, а остальную жизнь работала. Она посадила цветы на кургане. До поздней осени сходили одни, распускались другие: белые и вишневые бальзамины, махровые маки, голубой барвинок, гвоздики, астры, розовые «зирочки»... Алексею Давыдовичу нравился этот чудесный, со светлой душой человек. Они расписались. Два старых человека соединили судьбу... С уважением и бережно относились к прожитой каждым жизни.

Зимою парк спит. Натянув толстое снежное одеяло, спит. Алексей Давыдович читает. Вот этот ворох книг весь в подчеркиваниях, значках, пометках на полях. Книжки, как ежи, топорщатся закладками. Из Гераклита, любившего повторять, что раздор есть отец всего, выпадает листочек с выписанным афоризмом: «Ослы всегда солому предпочитают золоту». Карл Брюллов. Чумацкие песни. «Поэтическое искусство» Буало. Книжки, книжки... Зимой он читает их Екатерине Ивановне. «Печные университеты», — смеется она. Лежит на дворе снег, керосиновая лампа стоит на печи рядом с книгой, тикают ходики, переворачиваются страницы.

...Хозяев нет дома. Вечер вполз в комнату и лег в углы, мохнатый и черный. Я снял закопченное стекло и зажег керосиновую лампу. Что же такое? С керосином на семидесятом году Советской власти?! А дело в том, что электричество провести, конечно, можно, но пусть Алексей Давыдович столб найдет, за проводку и счетчик заплатит, за установку столба, за работу, пусть с электриками «договорится»... Гляжу на огонек, дрожащий на фитиле, неужели так трудно научиться воздавать за добро добром? Со спокойной совестью считать, что эта роща, эти курганы и аллеи не стоят одного столба и десяти метров провода? А тридцать лет работы «за так» не заслуживают такой малости, как электрическая лампочка в доме? «Да что вы, — сказали мне в правлении колхоза, — конечно, заслуживают. Конечно, конечно».

На следующий день приехала машина, brave молодые живехонько врыли железобетонный столб, повесили провод и вкрутили лампу. Всего-то и пободились сорок три минуты...

Вечером Екатерина Ивановна щелкнула выключателем, и мы увидели лица на фотографичном под стеклом и лик святого Михаила под серебряным окладом оставшейся от мамы иконы... Вторым рушником была покрыта картина Шишкина «Утро в сосновом лесу»... И я смог, наконец, переписать в блокнот письма Марии, которые Алексей Давыдович достал со дна старого тяжелого чемодана. Они лежали под слоем тетрадок с проектами парка.

Деревья росли и менялись. И сколько бы он ни наблюдал, его всегда изумляло чудо превращения веточки, черенка, наискосок срезанной палочки в дерево. В детстве он подолгу вертел в пальцах яблоневое коричневое семечко, восхищаясь тем, что держит в руках будущее дерево с шумящей листвой, полной круглых яблок. Все заключалось в таком маленьком коричневом зернышке: ствол с морщинистой корой, ветви и листья, и осыпавшиеся лепестки, и завязи, и яблоки, в которых снова такие же семечки, и в каждом — снова яблони, яблони, яблони. Он силился представить этот бесконечный ряд яблонь, этот уходящий далеко-далеко за пределы его жизни сад, уходящий на тысячу лет туда, вперед, и приходящий откуда-то из холодных глубин времени до его рождения, пытался осознать себя самого, стоящего посреди этого тысячелетнего сада с яблоневым семечком в руке. Себя самого, балансирующего на тоненькой ниточке столетий с семечком в руке.

Приходят люди в рощу. Говорят добрые слова. Советовали не раз: книгу отзывов надо завести. А ему нужен не отзыв — отзвук.

Вот пришла девочка Светлана. «Давайте, — сказала, — я цветы на кургане посажу». Потом снова: «Можно, я вам листья помогу сгребать?» Воды принесла саженцы полить... Отозвалась в ней роща, аукнулась.

Пришла бабушка Аня с малышкой Танечкой. Рубила кукурузу, заморилась, пришла отдохнуть, «Дюже гарно тут для души». «Дождь лил, — неспешно рассказывает мне бабушка, — а я вижу, он землю кидает и кидает. Не выдержала, накинула плащик, пришла. «Идите домой, — говорю, — Алексей Давыдович, простынете». А он отвечает: «Я на дождь внимания не заворачиваю. Кто у моря погоды ждет, никуда не доплывет», — так сказал. Рубашка прилипла, по лицу течет, с картуза капает. Бог ему в помощи!» — сказала бабушка Аня и перекрестилась.

Когда-то тракторист свалил иву на краю рощи и собрался ее корчевать, мешала она ему ездить. «Прошу тебя, не трогай!» — упрашивал Алексей Давыдович. «Проехать трудно», — отнекивался тракторист. «Ну, а за магариш проедешь?» «Кто ж не проедет? Только на черта она тебе? Она ж уже того». «Оставь. Не трогай ее только», — сходил, купил бутылку. Уехал трактор... Стоим под серебристой ивой. Диковинно изогнувшись, она переплела в косу несколько своих стволов и широко раскинула крону, словно зеленой роскошью благодарила спасителя.

— Интересный случай тут вот произошел, — рассказывает, смущаясь, Алексей Давыдович — Дивчина обняла вдруг меня и поцеловала. Ходила, ходила, а потом спрашивает: «Вы Щербак?» «Да». «Я, — говорит, — никогда не обращала внимания. Роет человек себе землю... Я росла здесь...» И вдруг обняла и поцеловала.

Чем наша жизнь в них отзовется?..

Кстати, рядом с рощей стоит школа, та самая, где был учителем Алексей Давыдович. Нет, ни разу на уроках труда не делали скамеек для рощи, не сооружали беседок, не сгребали груды листьев весной... И уж, конечно, примеры человеческого бескорыстия искали в хрестоматиях по литературе и в историческом прошлом, а не выглянув из окна в рощу.

«Дорогой Кирилл Трофимович! — писал он другу. — Не могу и не хочу быть беспристрастным в моей работе. Сейчас тружусь над пейзажами полян, вырубая ненужные деревья и кусты, расширяю поляны, из вырубленного материала роблю беседки да скамеечки. По весне парк удивительный. Цветет черемуха. Как она цветет! Будто метель все снегом

забила. Невозможно выдержать вид красоты. Конечно, основное, чем я занят,— курган Славы. Хочется, чтобы страшные и гордые для нашей Родины дни помнили и те, кто будет жить, когда и нас на земле не будет. Люди удивляются моему труду, а ничего в нем необычного нет. На Руси курганы насыпали и в прошлом тысячелетии, и в нашем, и раньше. Да и не только на Руси. Курганов только в Австралии не обнаружено. Издревле курган напоминал о славе и доблести павших воинов.

Вчера были люди из чужого села. Одна дивчина воскликнула: «Столько красоты, аж замирает сердце!» Каждый день слышу добрые слова в мой адрес, но слишком сознаю, как мало сделал на земле, что парк мой невелик и не так красив, как хотелось бы, и курганы невысоки, хотя затратил на них столько лет. Одно утешение, что он стал смыслом

Мир вашему дому, Екатерина Ивановна и Алексей Давыдович!



моей жизни. Выписал для Вас у француза Экзюпери интересные слова: «Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти...» Вот и у меня смысл второй половины жизни свелся к тому, чтобы сберечь этот лоскуток большой нашей земли.

Очень жду, когда Вы поправитесь, и мы с Катей снова примем Вас в гости. Жду Вас, как самого ближнего моего друга, как ставшего родным для нас с Катей человека. Ваш А. Щербак».

В Днепрпетровск, к другу письмо не ушло. Не отправил его Алексей Давыдович, потому что утром пришел из Днепрпетровска тоненький конверт с чужим почерком. Он сразу понял, что за весть лежала в конверте. Он не сказал ничего Кате, унес письмо в парк и там вскрыл конверт... Пустее стало в мире. Что он мог сделать в память о друге? Он посадил дерево.

Деревья растут долго. Совсем легко они перешагнут в третье тысячелетие и проживут дальше. Этот гибкий дубок легко одолеет триста — четыреста лет, а может, заглянет даже в какой-нибудь невообразимый две тысячи пятисотый год, куда ни нам, ни детям детей наших не заглянуть. А он протянет туда зеленую нить.

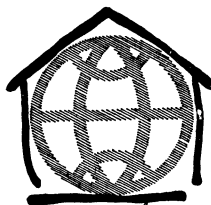
...«Аткрой мужу! — на противоположной стороне улицы загрохотала дверь. — Аткрой, пидьлюга! Снов измываеся? Аткрой!..»

Луна заглядывала в окошко. Накинув куртку, я вышел посидеть на крыльце. Завтра уезжать в большой город, в котором не раз вспомню это крыльцо посреди украинской ночи, луну, лежащую на крыше, упавшую звезду и запах яблок. Когда парк вырос, в него прилетели соловьи. Не сразу, но прилетели. В ночь на Ивана Купалу там жгут костры и слушают соловьев. Дым течет сквозь лунные аллеи. И девушкам надо бросать в воду венки — в какую сторону поплывет, там и любимый живет... Вот что он сделал на земле. Он сделал, чтобы прилетели соловьи. И, вероятно, вывод прост, он в том, что дело, которое с любовью и упорством делаешь, казалось бы, для себя, неминуемо становится делом, свершенным для всех. И краткой человеческой жизни вполне достаточно для такого дела.

Парк трудно рос, пробивался сквозь грубую почву, отыскивая корнями влагу. И человек этот трудно жил, так и не научившись расставаться, прощать, копить. Он и парк задумал похожим на человеческую судьбу, в которой всегда есть Разлука и Друзья, Печаль и Надежда, Любовь и Память. Задумал потому, что как из отдельных деревьев получается роща, так и из судеб многих людей вырастает судьба Отечества.

Если б знать судьбу каждого дерева...

На заходе солнца я увидел девочку на велосипеде. Посверкивая спицами, она катила по аллеям. Девочка абсолютно точно знала: эта роща на краю села была всегда.



МУЗЕЙ МИРА

Завершается год, который войдет в историю человечества как Год Мира. Советская страна, несмотря на гремящие на другом полушарии взрывы, шаг за шагом продлевала мораторий. Неуклонно мы продвигались по пути, ведущему от Года Мира к Веку Мира. Этот путь непрост. Но этот путь — единственный, ведущий к жизни.

«Я не могу больше видеть хлеб, пропитанный кровью» — вот один голос из пяти миллиардов. Это голос поэта. Деревья должны быть зелеными. Должны существовать туманы, рощи, озера и олимпийские стадионы. Пусть каждое утро выходит газета. Дети пусть покупают мороженое. Молочник в Швейцарии ставит на крыльцо белое молоко. По старому Таллину пускай бредут утром трубочисты. Пусть ныряют над склонами хрупкие дельтапланы. И паромщик ждет стадо с заливных лугов. Хочется, чтобы жила подольше мама. Хочется, чтобы дети выросли красивыми и смелыми. Хочется жить и никогда больше не видеть хлеб, пропитанный кровью...

Встретившись с группой деятелей мировой культуры, Михаил Сергеевич Горбачев сказал, что для того, чтобы отвести нависшую над нашим общечеловеческим домом ядерную угрозу сегодня, «надо во весь голос говорить о тревогах нашего времени, вместе вести поиск необходимых решений в упорении мирного настоящего и будущего, будить совесть и ответственность каждого человека за судьбы мира».

ОТКЛИКАЯСЬ НА ЭТОТ ПРИЗЫВ, ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» ОСНОВЫВАЕТ СВОЕГО РОДА ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ПЛАНЕТЕ МУЗЕЙ МИРА.

Путь к достижению мира на земле трудный, но одолжимый путь. Сколько пройдено по этому пути? Половина? Больше? Основывая Музей Мира, журнал ставит целью сохранить память об этом пути, чтобы люди, которые будут жить после, знали, как удалось в критической ситуации сохранить человечеству жизнь.

В Музее Мира мы собираемся представить историю борьбы человечества за мир и роль нашей страны в этой борьбе. Мы надеемся, что Музей станет одним из центров деятельности молодежи во имя мира.

Сотрудником Музея Мира может стать каждый, кто поможет нам в организации Музея. Мы ждем от наших зарубежных читателей рисунков, Книг мира, плакатов, фотографий, летописей Марша мира, рассказов о необычных акциях и — главное — советов и неожиданных идей по поводу того, как должен выглядеть такой Музей, и что он должен включить в экспозицию. Читателям, чьи идеи и экспонаты будут приняты, журнал «Юность» вручит удостоверение «Сотрудника Музея Мира» и пригласит на открытие.

Мы обращаемся к общественным деятелям, к литераторам и художникам, фотографам, к студентам и школьникам, к учителям, к ветеранам войны, к молодежи пяти континентов! Мы надеемся на вашу поддержку! Мы надеемся, что вы станете нашими соратниками. Мы верим, что ваша помощь будет активной и в деле создания первого на планете Музея Мира.

НАШ АДРЕС: 101524, МОСКВА,
УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 32/1
ТЕЛЕФОН: 251-02-30
«ЮНОСТЬ» — МУЗЕЙ МИРА.

МАРК
ЛИСЯНСКИЙ



Парус

Набитый ветром до отказа,
Белеет парус над волной.
О, не пустая это фраза:
Мой парус, ты всегда со мной!

Не над распахнутою книжкой —
Над черноморскою водой
Залюбовался я, мальчишка,
Твоей отважной красотой.

Белел мой парус в море синем,
Звал на простор других морей.
И встречный ветер в парусине
Над головою пел моей.

Рвалась в простор мечта мальчишки
Быстрее ветра самого...
Был на обложке первой книжки
Тот парус детства моего.

Я в сапогах прошел планету,
Я возносился в небеса,
Меня несли по белу свету
Уже иные паруса.

Но, озирая край далекий,
Я вслед за Лермонтовым пел:
Белеет парус одинокий,
И он белел, белел, белел.

☆☆☆

Память — это государство,
Это наш бесценный край,
Где звучит впервые «Здравствуй!»
И в последний раз — «Прощай!».
Здесь нам дышится привольно,
Здесь шагаем далеко.
Если больно — так уж больно,
А легко — так уж легко.
Память — это Николаев,
Это берег, это дом,

Хоть давно в нем не живем,
Никогда не забываем.
Вижу Ржев и бой последний,
Флаг, взлетевший высоко...
Пал в тот день Семен Собко,
Друг мой двадцатидвухлетний.
Память — это наша встреча,
Где разлук, по сути, нет,
Это самый первый вечер
И сегодняшний рассвет.
Все, что с боем достается,
Снова нас ведет на бой.
Память — это мы с тобой,
Все, что с нами остается.
Ничего не позабыло
Сердце, где и долг и честь.
Память — это то, что есть,
А совсем не то, что было.

Серый цвет

Серый цвет — скучный цвет,
Серый цвет — грустный цвет,
Где и солнцу, и улыбке,
И надежде места нет.
Даже небо —
Для примера —
Безутешно, если серо,
Если серо даже море,—
Безысходно, словно горе.
Почему же, почему же
В эти серые глаза
Я смотрю и в зной, и в стужу,
Если даже в них гроза,
Если даже в них слеза.
Я гляжу — не нагляжусь,
В них судьбу свою читаю,
То я в море погружусь,
То я в небо улетаю.
Тут не может быть ошибки:
Серый цвет — хороший цвет,
В нем надежда, и рассвет,
И сияние улыбки.

Не забывайте меня

Сады в белопенной купели,
Цветы, что посажены мной,
Деревья, взращенные мною,
Не забывайте меня.
Моря, по которым я плавал,
И реки, чью воду я пил,
И звезды, которые видел,
Не забывайте меня.
Поля, где лежал я в окопах,
Места, где когда-то я жил,
И город, где я проживаю,
Не забывайте меня.
Тропинки, ведущие в горы,
Дороги, что я исходил,
И птицы, которых я слушал,
Не забывайте меня.
Мои драгоценные люди,
Хотя не пристало к друзьям
Нам с просьбой такой обращаться,
Не забывайте меня!

ЕВГЕНИЙ
БЛАЖЕЕВСКИЙ



Ялта

В удушливой влаге слова солоны,
Горячее бремя погоды.
У пристани пестрой стоят, как слоны,
Ленивые пароходы.

Купальщицы бродят густою толпой,
Фотограф, пригнувшись сутуло,
Снимает «на память», и дым голубой
Плывет от жаровен Стамбула.

Татарская слива ломает забор,
Трещит от приезжих квартира,
Но бронзовый Горький стоит среди гор,
Как путник — на пачке «Памира».

Но есть одиночество, есть высота
И вкрадчивый холод телесный,
Когда на машине ползешь возле рта
Храпящей под городом бездны.

Но есть непреклонный витой кипарис,
Что стал звездочетом у бога,
И собственной жизни отвесный карниз,
И ночь у морского порога.

Густая, как деготь, несущая ритм
Откуда-то издалека,
Где бродит, крепчая, йод, и горит
Печальный огонь маяка.

И нет исчисления прожитым дням
В пространстве разъятом, разверстом,
И женщина в белом по мокрым камням
Уходит во тьму, как по звездам...

Купальщица

С юга приехав,
Казалась мулаткою.
Но, ах!.. не загар —
Треугольник слепящий.
Меня поразил во тьме...

Портрет

На нашу семью
Четвертый десяток лет,
Как из окошка,
Смолит, одетый в раму,
Из небытия отец...

Возраст

Вот и ко мне грядет сорокалетье —
Земной рубеж, который был неясен
Моей душе, но пожелтевший ясен
Отбросил тень закатную туда,
Где резче ветер, холодней вода,
Где видится в гармонии прореха,
Где пугало не вызывает смеха,
Где время проявляет негатив,
Где понял я, что жил, не заплатив
За лень, за нежеланье быть собою,
А нынче заплачу сполна судьбою.
Да что там сетовать, да что там говорить —
Не переделать и не повторить!
Дочитана еще одна страница;
На все готов, но не могу смириться
И страшным пониманием живу,
Что мать свою вот-вот переживу...

Зимняя ночь

На небе звезды — не прострелы пуль.
На небе звезды — не кристаллы соли.
На небе звезды — не серебряные блохи.
На небе звезды — это лишь толпа,
Которая глядит, как мы летим
Вниз головами на тяжелом шаре.
Я это ощутил однажды ночью,
Я осознал, что я могу упасть
На этих обывателей, во мрак,
Сверкающий зрачками и зубами.
Я испугался неба,
Как ребенок
Бойся глубины подвала,
Ибо подвал и есть
Напоминание о ночи
Или, точнее,
О страхе человека,
Которому внезапно показалось,
Что на ступнях
Уже почти утрачен
Столярный клей
Земного притяженья.
А ночь была январская,
Глухая.
Повизгивали каблукы,
И я
боялся улететь...

Осенний парк

Окончено лето.
К зиме застекляют теплицы.
Блюститель за кузовом лезет в карман галифе.
Цветы увядают,
И, словно подбитые птицы,
Старик со старухой
Сидят в опустевшем кафе.

ЕВГЕНИЙ ШЛИОНСКИЙ



Лист подорожника

Поклонитесь,
сорвите пыльный лист подорожника.
Есть, конечно, лекарства поважней, подороже:
Корень жизни женьшень, горный воск мумие...
Ну, а вы наклонитесь и, не медля, сорвите свое —
Из-под собственных ног и своими руками.
К теплой ране листок приложите,
Не бойтесь лечить себя сами,
Подорожник — цветок человеческого общения.
Он растет у дорог, уберегшихся от

бетона,
асфальта,
мощения.

А еще у тропинок,
Что мы проложили друг к другу...
Вы кладете на рану листок

и чуть влажную руку...

Если сердце болит

от забот,
от работ,
от тревог,

Бесполезно в аптеку бежать со всех ног.

Надо друга позвать,

Все ему рассказать.

Вместе с ним посидеть,

Вместе с ним помолчать.

Чтоб, как лист подорожника, к сердцу присох

Вашей дружбы давнишней целебный росток.

☆☆☆

Здравствуй, горный инженер!

Ну и как твоя карьера

В дымном грохоте карьера!

Видно, лучше всех карьер!!

Вам калым иль Колыма!

Для кого-то ротозей —

Выбираем без ума

Колыму, Вилую иль Зею.

В рудах золото блестит,

Или колют глаз алмазы.

Как в карьере смог висит!

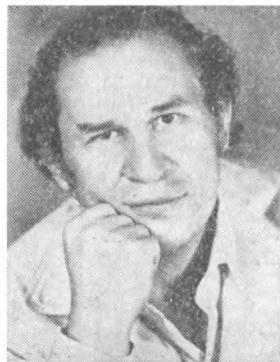
Не узнаешь друга сразу.
Замороженный туман
Все от всех закроет вскоре...
Здравствуй, горный атаман!
Бей отбой. Пошли на волю.
Ты узнал меня: — Дела!
Лучше самых добрых снов!
Нас опять судьба свела
Под гостеприимный кров,
Где гордится на стене
Шкура бурого медведя,
Чтоб завидовалось мне
Удалой твоей победе,
Где на стену всю стеллаж,
Весь прогнулся под томами,
Где зимуют вместе с нами
Дрезден, Лувр и Эрмитаж...

☆☆☆

Мне беда от твоей доброты,
Потому что растратчица ты,
Потому что ты даришь себя,
Всех на свете жалея, любя.
Потому что ты даришь свой дом,
Потому что ты даришь свой день,
Ничего не накопишь трудом,
Все любому отдашь из людей.
Вот и я этот самый любой,
Получивший в подарок любовь,
Не умеющий так полюбить,
Чтоб со всеми тебя поделить...
Я не прав, а права только ты,
Мне беда от твоей правоты...

г. Мирный, Якутская АССР

ВЕНИАМИН ЗИКУНОВ



☆☆☆

Как обычно, встану рано,
Выйду в снежную зарю
И сквозь всполохи бурана
След к колодцу проторю.
Отряхну я на крылечке
Белой варежкой пимы.

И негромко
И нескладно запою...

В сельской пекарне

**В квашне замес,
замесу тесно.
Парит над тестом легкий пар.
Бурлит, бунтует магом тесто,
И жадно рвется тесто в жар.
Привычным жестом пекарь ловко,
Чуть напружинясь и присев,
Планеты новой заготовку
Легко бросает в алый зев.
Закончив выпечку, степенно
Он вышел в ночь и на крыльце
Сидел «Мыслителем» Родена
С тревогой мраморной в лице...**

Русские села

Звеньягино, Стозвоны, Звень...
Набат и нежность, песенная смелость.
Классическая пушкинская зрелость
В названиях российских деревень.
Вся в петухах деревня Петухи,
Порошей запорошено Порошино.
И столько сокровенного, хорошего
В названиях, звучащих как стихи.
В болотной хляби дремлют Упыри,
В степях алтайских затерялось Родино.
Они на карте — маленькие родники,
А вместе все — шестая часть Земли.

г Дивногорск, Красноярский край

То занедужит сын,
то убежит корова...
Ветром среди осин
сердце тоскует снова.
То упадет забор,
то загостится теща.
В черные дни Егор
ищет спасения в роще.
В роще, среди стволов,
чистых и белоснежных.
Он полететь готов
с верой и надеждой:
вспыхнут в ночи огни,
мимо промчатся грозы,
Будут на свете дни
светлые, как березы!

На вокзале

Кто встречается, кто провожает.
 Кто всплакнул, кто рукой помахал.
 Желтых листьев веселая стая
 Прилетела с утра на вокзал.

Шелестят, чьей-то радуясь встрече.
И, спасая иных от тоски,
Опускаются людям на плечи,
На газеты и на рюкзаки.

Вот на радость румяной девчонке
Поднялись, словно бабочки, вверх.
От толпы разноперой в сторонке
Молчаливо сидит человек.

Над понишкой его головою
Снова яркие листья кружат.
Он с тоской устремил пред собою
Неподвижный, невидящий взгляд.

То ли пропасть темнеет бездонно,
То ль уходит земля из-под ног.
У ботинок его запыленных
Ни один опуститься не смог.

**МАРГАРИТА
КИРИЛЛОВА**



Березы

**И хоть кого вини —
у пастуха Егорки
В жизни настали дни
темные, словно елки.**

☆☆☆

Не писал стихов Шукшин,
Ограничивался прозой.
Понимал красу рябин,
Радость первого мороза.
Был на все дела мастак,
Был народу интересен.
От рассказов и от песен
До стихов был только шаг.
Нет, не шаг, один шажок...
И в Москву без проволоочки
Выслал сельский паренек
Поэтические строчки.
Мальчуган в своем краю
Рос легко и незаметно.
Вот и выбрал он судьбу
Для своих стихов заветных!
С мальчуганом лопухи
Не дышали над ответом:
«Не могу судить стихи!»
Обратись, дружок, к поэтам».
Долго он сидел один,
Те слова перебирая...
Звезды падали, стгорая...
Не писал стихов Шукшин...

г. Бор, Горьковская обл.

ГАЛИНА НЕРПИНА



Московские переулки

Вот солнце на закате,
Рельефы выпекая,
По улицам прокатит,—
И тишина такая!
Мой шаг преувеличен —
Он окликает гулко
Любимые различья
Любимых переулков.
Москвы просторна строгость.
Она хранит печально
Задуманную стройность
Любви первоначальной.
И хлынет дождь хороший —
И многоточьем канет...
Захлопает в ладоши,
Затопают ногами.
Опять весна включилась,
Как музыка в шкатулке.
Но что со мной случилось?
Мне снятся переулки.

Улица

Тяжелая —
Как морская соль,
Плывущая —
Поперек и вдоль
С опущенной головой.
Затихшая под ногой.
Ревнивая — без ума,
Ревнивая — будто я сама.
Летающая — как кусок от скал,
Прозрачная — как бокал.
Влюбленная [на беду!],
Живущая — как в бреду:
Для глаза, который слеп,
Похожа на черствый хлеб.
Закрученная в узор,
Измученная — как хор.
Собой связать, сколоть!
Измученная, как плоть.
Звнящая до сих пор,
Как ветер или фарфор,
По тысяче раз на дню
Целующая — в ступню!

ВИТАУТАС БРЕНЦИОС



Когда танцуют дельфины

Когда танцуют дельфины
[так птицы щебечут на зорьке],
уставшее сердце судна
блаженства сигнал подает,
и видит передсмотрящий,
веселый и дальнзоркий,
зеленые всполохи молний
над пенной громадой вод.
Когда танцуют дельфины
раскованно, самозабвенно,
выпрыгивая и взлетая
над самой большой волной,—
все остальное сразу
становится второстепенным,
как будто перерожденье
происходит со мной.
Когда танцуют дельфины,
душа отделиться от тела
стремится,
свободной птицей в пучину морскую летя,
и желтый тропический ливень,
пролившийся оголтело,
омоет живой водою,
как мать обмывает дитя.

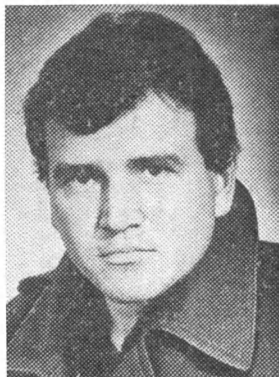
В прихожей штормов

Хлебом водорослей — на всю глубину —
ночь пропахла. И снова туманы и дрейфы.
Это кони со скрипом тянут возы к гумну,
и дымятся над морем их легкие шлейфы.
Это ржанье назойливо лезет в эфир,
конской гривой ложится на самый экватор.
Свежей вырубкой ставим на карте пунтир —
земляничною кровью морского заката.
Эта кровь превращается снова в туман,
и в нем тонет корабль от днища до рубки,
и губами немного кривит океан,—
мы идем коридором вдоль нашей порубки.
Мы в прихожей штормов ощутим новизну.
И лишь снасти застонут — отзовется подспудно,
как в литовском лесу дятел валит сосну:
может, новую мачту для нового судна!

Перевел с литовского С. СИМКИН

НИКОЛАЙ
ГОЛУБ

Нашему дебютанту
31 год. Родился
в Киевской области.
Работал лаборантом
в школе. Окончил
военное училище.
Военнослужащий.
Сейчас живет в Москве.



СЕМКА-ЕВРОПА

РАССКАЗ

Если подъезжать к Осташкову со стороны Елохового Лога, откуда видна хорошо деревня, то сразу бросится в глаза непривычное строение, кукишем торчащее среди невысоких окружающих изб. Стропила наметили островерхую крышу, будто замок это или средневековая башня, а под ними такой же необычный был сруб — углы гладкие, притесанные, без венцов, узкие и высокие окна, словно бойницы, вместо крыльца — арочный навес, и не было ни наличников, ни резной отделки по коробке, ни ставен, ни карнизов. На самом верху стропил, где должен быть конек, болталась на ветру засохшая березовая ветка, прибитая по русскому обычаю, но, видать, давно там висела — застыла стройка.

Дом этот стал бельмом на глазу всей деревни, которая сначала с любопытством присматривалась к чудной затее Семена Переверзева, а потом откровенно посмеивалась и над ним самим, и над его фантазиями.

Началось все сразу после возвращения Семена из армии. Мало того, что он вырос, возмужал, стал брить светлую щетину на подбородке — все осташковские ребята после армии менялись неузнаваемо. Но Семен был вроде и тот, каким провожали два года назад (и как провожали! Всей деревней, песни пели, на гармошках играли до самой станции в Берестове), а приглядишься: так и не тот стал вовсе Переверзев.

Служба его проходила за рубежами Отечества в Группе советских войск в Германии. Солдатом он был справным, пришла даже на имя матери (жаль, отец не дожил) фотография сына у развернутого боевого знамени, и Евдокия носила ее по деревне, всем надоедая, будто доказывала что-то. А что доказывать? Ни у кого никаких особых претензий к Семену не было, разве что безухий Никанор, у которого тот омшаник поджег в детстве, серчал на парня, да и то позабылось давно. От других ребят деревня настрадалась донельзя — и гусей недо считывались, и по весне цветы воровали, и стекла мячами били, да и мало ли еще чего — ровесники Семена были ребята хоть куда, наплакались с ними, натерпелись, и, когда забрали их по очереди на военную службу, все плясали на вечеринках от души и провожали с искренней радостью: предстояло два года отдыха. Те подростки, что шли за ними, были уже не такими.

Вернулся Семен осенью, в погонах младшего сержанта, а уж глаза сияли, что тебе боевые медали, врученные за смекалку: так много в них было нового.

За время службы довелось Германию посмотреть; ну и сравнивал, конечно, приглядывался к тамошней жизни, где и деревня не деревня, потому как, он считал, деревня — это от деревянных изб, а там все дома добротные, каменные — какая же это деревня с каменными домами? Сравнивал часто свое Осташково, и ни в какие ворота не лезли эти сравнения, хоть вроде бы и неплохо они жили, да и природа окружающая — простор, перелески, пади, озеро Лебязье, речка Уверь, заросшая ивняком и камышами,

нетронутая, душу радующая, а в Германии все по ниточке, кирпичик к кирпичику, кустики подстриженные, леса по линейке насажены, и все ж томилась душа от воспоминаний и невыгодных сравнений, и сколько раз он горько вздыхал:

С тем и приехал в Осташково, с тех слов и стал рассказывать про свою службу собравшимся односельчанам, не захлебываясь от восторга, но и не умаляя достижений немцев. А уж за примерами далеко ходить не надо, потому что пришлось ему шлепать от станции пехом по раскисшей дороге, месил липкий чернозем до самого дома, да и вид деревни после дождей был не ахти какой выигрышный: домишки, намокнув, потемнели, зябко дрожали голыми ветками деревья, и хоть бы солнце пробилось, так нет же, зависли над избами набухшие влагой тучи, будто навечно. Из дальних полей вывозили свеклу на волокушах гусеничными тракторами: колесные не могли одолеть густую грязь.

— Эх, Европа!..

Поговорили и о прошлой войне, вспомнили все фронты, маршалов, командовавших ими, и которых они и в глаза-то не видывали, но говорили, точно о старых знакомых: «Конов-то как приехал, да приказал... а Жуков, толко-овый мужик был, из нашенских, только крутой больно...» Потом перешли на дела насущные, о колхозе, о молодежи, так и новоязщизн из деревни намылить, о председателе и о постановлениях новых высказывались, каждый глядя со своей колокольни, а речи были все ж направлены острым концом в уешанную значаками грудь Семена — разясни, мол, чего не понимаем, ты-то наездил, миру повадал. И он терпеливо разяснял, стараясь не оставлять любой вопрос без ответа.

кать расположения. Пару раз была она в клубе, постояла у стенки на танцах под магнитофон, да так и ушла не солоно хлебавши, на квартиру к тетке Фросе. После этого больше в клуб не ходила, разве что когда передвижка приезжала и показывали какой-нибудь индийский фильм, на который вся деревня собиралась. Больше пропадала на ферме с утра до ночи, ходила в кирзовых сапогах и фуфайке, потому что к скотине иначе не вырядишься, то по полям на «газике» носилась — председатель доверял ей свою машину по надобности. Со скуки, наверное, окунулась с головой в каждодневную работу и вроде была довольна بها.

Семен увидел ее впервые, когда пришел в контору доложить Матвею Мокевичу «об увольнении в запас» и желании трудиться куда направят. Военная специальность у него была такая, что в колхозе с нею — как в городе с навозом. Теперь он очень жалел, что в свое время не пошел на курсы трактористов или шоферов от военкомата.

Настя заносила в правление сноп сухого льна, гремещаго семенами, и Семен придержал, как это делают во всей Европе, дверь, пока она протискивалась, не поблагодарив, но посмотрев на него, как смотрят на приезжего человека. А уже через неделю он пришел вечером к тетке Фросе и прямо при ней, четко, внятно предложил Насте выйти за него замуж, при этом уведомил и о своем с матерью хозяйстве, и о том, что пока поработает на пилораме (материалом там все-таки разжиться легче), что есть у него мечта построить новый дом, что жить они будут пока в старой избе матери, и изложил это все так доходчиво, по-военному, без особого, впрочем, нажима и бахвальства, что Настя не стала долго раздумывать, согласилась тут же, о чем засвидетельствовала тетка Фрося, доводящаяся к тому же какой-то дальней родственницей Семену.

Свадьбы как таковой не было. В сельсовете их расписали, поставили печати, и Настя перебралась с вещами на подворье Переверзева. Вот и все.

Дед Евлампий остался очень недоволен. Что греха таить, любил он веселье, уважал посидеть среди честного народа, песню разудалую спеть...

**Окрасился месяц багрянцем,
где волны бушуют у скал,
поедем, красotka, кататься,
давно я тебя поджидал...**

А тут тебе ни гостей, ни «Горько!». Смех, да и только, а не свадьба. Будь это его сын, он бы уж сыграл свадьбу так сыграл! Дед даже с досады приболел и, когда Семен зашел по соседству проведать его, отвернулся к коврику с лебедями, засопев обиженно:

— Ну немцы, и все тут!

Семен словно не заметил слов старика. Пусть поговорит, они все на старости ворчат больно, без дела и по делу.

Сразу после женитьбы он стал копить материал на дом. Этот план созрел еще во время службы, когда присматривался к зарубежной жизни, прикидывая возможности и огорчался: кирпичом в Осташкове не разживешься, своего кирпичного завода во всем районе нет, а те кирпичи, что делает кустарно безухий Никанор, годились только на печки, и то у него записывались заранее на очередь, ждали долго, пока замесит он глину, пока вылепит в формах кирпич, пока тот просохнет, а Никанор не торопился — с годами все труднее было выносить на себе из ямы тяжелую глину. Да еще и омша-

ник тот злополучный... Ну да ладно, видал он котеджи и деревянные.

В памятном армейском альбоме хранилась особо одна фотография, на которой Семен стоял в обнимку с татаринком Гайфуллиным у ладного, острокрышного, уютного ползуишей зеленью дома с балконом и цветными стеклами в окнах. Слева выглядывала из-за живой изгороди немецкая девочка, улыбалась приятно, а Семен хоть и смотрел в объектив, но в то же время будто назад оглядывался, будто не самому хотелось запечатлеться, и Расима он без фотографии запомнил бы — поразил его тогда дом, не дом, а особняк, вилла, и тогда же подумалось: вот бы такие в Осташкове отгрохать, да изгороди живые, да тротуары, да черепицу красную вместо теса...

Внутри дома побывать, правда, не довелось, хоть девочка и цокотала зазывно языком, но разве поймешь, что она сказать хотела? Того немецкого, что в школе давали — айн-цвай-драй и обчелся, — только и хватило, что «данке» сказать, когда девочка протянула им через подстриженный кустарник три громадные белые хризантемы. Очень хотелось Семену посмотреть, как там внутри устроено, догадка была, что не по-нашему немного, но вот руками бы своими потрогать, пальцем по каждой щели провести, и уж совсем смешное подумалось: неужто и они кепку на гвоздь вешают, в косяк дверной вколоченный?

Но, увы, не довелось. И теперь, обдумывая постройку нового дома, Семен ломал голову по мелочам, прикидывал на бумаге свой проект, поглядывая на фотографию, а когда дошло дело до печи, решил посоветоваться с матерью, о чем потом только жалел.

— Как же без печи-то? — заупрямилась та.

— А куда она, печь эта? — горячился Семен. — Двадцатый век кончается, а ты — печь.

Но Евдокия не сдавалась.

— А пироги ежели с яблоками, а куличи пасхальные...

— Ну загнула, куличи-и!

— Это ты, знаешь, не оскорбляй, — обиделась Евдокия, — умник нашелся, тут и до тебя были бойкие больно, а нынче... это уже всем понятно... нынче полегче стали...

— Обойдемся! — рубил ребром ладони Семен. — Хлеб завозят нам справно, а что до пирогов там или еще чего...

— Окорок...

— Ну да.

— Гуся запарить или грибов засушить.

— Грибы, гуси...

Но Евдокия не давала слова сказать.

— Кости-то хоть погреть на старости, ты пока молодой, тебе это и незначет, а вот состаришься, тогда запоешь, тогда узнаешь, как без печи-то жить.

— Проживем.

Евдокия решительно поджала губы.

— Не пойду в такой дом жить! В своем помирать останусь.

Ну что ты будешь говорить? Уперлась, и трактором теперь ее не сдвинешь.

— Консерватор ты, мать, — вспомнил словечко из политзанятий Семен и махнул рукой.

— Сам ты бестолковый, нянчила тебя, растила... — заплакала Евдокия, и пошла, и пошла перебирать все прожитое, что Семен не выдержал, ушел из дома.

В дальнем углу двора, одной стенкой к забору, а другой в огород, стояла под старой калиной банька, срубленная еще дедом Семена, и пар в ней был такой, что многие односельчане просились, бы-

вало, попариться именно в ней Мастера по банному делу перевелись в Осташкове, а дед, видно, какой-то секрет вековой знал. Каменка не чадила, тепло долго держалось, но в предбаннике воздух оставался прохладным даже летом в жару и, выйдя из парилки, можно было отдышаться, словно воскреснуть. Ключевая вода — рядом в колодце: наноси целую бочку и парься, сколько душе угодно. Еще до женьбы Семена зашел как-то дед Евлампий, увидев через забор, что тот таскает ведрами воду.

— Не прогонишь, Семка? Уж веничком я тебя, а? — Ваяй, — равнодушно ответил Семен. Одному, и правда, парилка не парилка.

Колодец белел новым срубом, над ним зависла ладная крыша, и Семен мечтал еще посадить грецкий орех, чтобы мухи не летали; даже письмо написал сослуживцу Пинчуку в Полтаву, просил саженец выслать, упрямо отвечая на сомнения матери, что вырастет и в здешних краях, — кто сказал, что не выдержит орех морозов, кто пробовал? А Мишурин?..

Пока горели осиновые чурки и сладким дымом заволокло весь огород, они сидели на бревнах и курили. Дед шурился, все его подмывало продолжить тот разговор, из-за этого, в общем-то, и в баню набился, — уж больно задирист был дед.

— А скажи, Семка, — начал он, а тот вздохнул, догадываясь, что неспроста пришел Евлампий, — бани-то там какие?

Спросил, будто сам не знал.

— Где? — Семен как бы время решил выиграть.

— Да в Ерманнии.

Семен пожал плечами.

— Ну какие-какие. Кафельные. Откуда я знаю, не париться же туда ездил. А та, в которую нас водили, гарнизонная была, по-нашему сделанная. Ему начинали надевать эти разговоры. — Вот построю новый дом, сделаю там ванную, как в городе, воду проведу, чтобы не носить из колодца — понадобится, открутил кран, и вот тебе, пей, купайся.

— Ишь ты, — недоверчиво повертел головой Евлампий. — А баню куда же?

— А куда? — Семен оглянулся на дымящую трубу и, может, скорее в протест Евлампию, чтоб подзадорить, сказал: — Снесем баню.

— Снесешь?! — Дед ударил по коленям ладонями. — Старого Тимофея рук баня, а ты ее, значит, под корень?

— Под корень, под корень, летнюю кухню на ее месте поставлю, — улыбнулся Семен, вставая. — Раздавайся давай и пойдем, пока стоит. Выгрелась уже.

Они парились долго. Дед Евлампий был в шапке-ушанке, а Семен то и дело хватался за уши — обжигало, но терпел, поливал из черпака холодной водой голову и снова лез на полоч, раскаленный, как печь. Евлампий знал толк в банном деле. Пройдется сначала легохонько веником вдоль спины, не касаясь тела, только воздух пошевелит и в теплынь завернет, потом веником же разотрет кожу, как бы первый пот снимет, и пойдет мелким касанием по пяткам, по лодыжкам, по плечам, быстрее и быстрее, мельче, мельче, до колик, до падения сердца в тартарары, и под ритм его ударов дрожью, подыхом начнет, продолжит, и когда вот-вот, кажется, заорешь, вот-вот вскопишь, не выдержав, он с размаху с-сильно — по пояснице! — и придавит, и разотрет, и будто взлетаешь выше крыши, дымом из трубы устилается душа от приятности, а он уже и воды ковшиком зачерпнет да окатит, смоев прилипшие березовые листья, и снова веником, теперь холодным, разотрет.

— Каково, а? Ерманния...

Семен только мычит от удовольствия, слова сказать не может, лежит, закрыв ладонями уши, а дед Евлампий, поправив на голове облезлую шапку, еще ковшик кипятку на угли плеснет, да подальше, да по стеночке и руку под потолок выставит, пробуя воздух, где, в каком углу в паре недостаток, и ведь знает, на какой именно камешек плеснуть, чтобы уж везде достаточно было.

— Переворачивайся, Семка!

И снова дух захватывает от легких прикосновений веника, в ноздрях щекошет березовым запахом, и голова кружится, а дед разошелся не на шутку. Будто дурь выколачивает, да еще со словцом, да с приговором.

— Раз-два, поддавай, три-четыре, окатили. Раз-два, в рукава, три-четыре, с рук по гире... Живой?

— Живой, — стонет Семен.

— То-то! — Дед будто продолжал начатый давно спор и снова гасил на животе разгулявшийся огненный воздух.

В предбаннике было прохладно. От раскрасневшихся тел вился легкий пар, жилы на руках вспучились, вздымая размякшую кожу, а у деда светился рваный шрам на коленке негибающейся ноги. Перехватив взгляд Семена, он проговорил:

— Под Потсдамом в самом конце войны зацепило. Обидно было — жуть, потому, наверное, и дома мне ихние не приглянулись. По госпиталям валялся еще почти год, хотели ногу оттяпать — скорые тогда на лечение были, — не дал, и вот теперь, какая-никакая, а нога. — Он помолчал, потом добавил: — Я тебе, братец, вот что скажу. Всякому овощу свой черед, а каждой курице свой шесток. Другими словами, кесарю кесарево, а богу богово...

— Брось ты, дед! — Семен поднялся. — Пойдем еще разок.

...Дом начали строить по весне, через год. Семен сам выкопал траншею под фундамент, сам засыпал битым кирпичом, который нашел на свалке за колхозными фермами, залил раствором. Щебенку таскать помогала жена. Хотя и не нагружал он носилки доверху, но видел, как напрягаются ее лопатки под платьем, как тяжело ступает она, расставляя широко ноги, и жалко ведь было, а по-другому не выходило. Жена не роптала, знала, что это нужно, напрягалась и несла — куда денешься?

Залили фундамент, работая с утра до ночи в выходные, а в будни — так по вечерам, ног под собой не чувствовали и лишь только доберутся до кровати, так и рухнут, словно подкошенные, ведь завтра рано вставать, на работу идти — где уж тут до супружеских ласк?

В один булыжник вымуровал Семен цоколь, но вот дальше без посторонней помощи было трудно: сруб венчать в одиночку не разгонишься. Бревна Семен выписал в лесничество, на пиломатериал пропустил через циркулярку, не бревна — бруски стали. Для работы пригласил Сашку Петрова — в одном классе учились, но в армию того не взяли (киста, что ли, у него); осташковского плотника Бондарева, молчаливого, слова не вытянешь за весь день, только и машет топором, — но так ловко, что глаз не оторвешь от его работы, — такой конек на крышу смастерит, точно ножиком вырежет; еще позвал Сидора Пашкова и Солдатова Мишку, первый подхалтуривал по деревне от избытка свободного времени — с женой развелся, а другой приехал из города в отпуск к матери, отдохнуть от завода, порыбачить. Для общего руководства приковывал дед Евлампий, который просто пропустить не мог, где собиралась веселая компания, а тут через забор, по соседству столько мужиков.

Сашка Петров пришел первым.

— По найму принимаешь? — С его румяного лица (откуда эта болезнь?) не сходила улыбка. — Записывай трудодень, я скоро сарай рубить буду, приглашай отработывать.

Евламий по приходу тряхнул бородашкой.

— Ну держись, Ермания!

Бондарев молча поставил деревянный ящик с инструментом, закурил «Приму» — всякое, мол, дело с перекура начинается. А Сидор Пашков, только войдя во двор, затараторил:

— Давай-давай, побыстрей! Срубим быстренько, тят-ляп, да и по девкам. Жениться второй раз не успею!

— Бабник ты, — пожурил его Евламий. — Жена одна с ребенком мается, а он жени-ться... Тьфу, срамник!

Опаздывал только Солдатов. Пришел, когда уж разложили по цоколю брус, начиная прилаживать углы, буравили дырки под чопы. Мишка был заспанный, всклокоченный, видно, он и не умывался вовсе.

— Братцы, каюсь! — Он скрестил на груди руки. — Проспал напрочь, никак не привыкну к тишине, до трех часов вертелся, а в городе под лязг трамвая только похрапываешь...

— Рассказывай! — подмигнул всем остальным Сидор. — С Танькой Семеновой до трех часов, ха-ха, зна-аем, каких карасей ты приехал ловить.

— Будет врать-то! — На щеке Мишки заалел отпечатанный рубец от подушки (из-за Таньки ведь в город подался, куда глаза глядят). — Давай работенку, руки чешутся.

— Почеши, почеши. — Сидор тоже давно обивал пороги Семеновой, перебивавшей женихами и, похоже, упустившей свой «шанс на принца».

— Будет вам, кобеля, — призвал к порядку Евламий, — солнце уж высоко, а еще конь не валялся.

За работу взялись споро. Семен, точно царь Петр на картинках, не выпускал из рук листа бумаги, на котором рисовал, как уметь, свой будущий дом, отдаленно напоминающий тот, с фотографии, тыкал все в план пальцем и надоедливо сравнивал, не выходит ли за рамки «проекта». Пока еще только начали, и понять, правильно ли сидит чоп или нет, было трудно, да и так ли вообще у них там делают? Как бы чувствуя, что строительство ползет не в привычном русле, дед Евламий решил произнести вступительное слово.

— Ермания Ерманией, а строить будем по-нашему. Скажи-ка вот, Семка, как бревнышко-то будем класть?

— Как-как? — оторвался от «проекта» Семен. — Ровно.

— Хе, ровно-то ровно, а зимней стороной наружу или вовнутрь?

— Какая такая сторона?

— Эх ты, лапоть. Объясни ему, Петро, — обратился дед к Бондареву, на что тот только рукой махнул: мол, сам объясняй, некогда.

По тому, как подняли головы остальные, Евламий понял, что они тоже не знают, и выпятил чуть вперед тощую свою грудку.

— Не сарай ведь строим — дом! Эх, деревенские называются... — Он присел на цокль.

— Ладно тебе, батя, — обиделся «городской» Солдатов, — я же тебя не спрашиваю, как троллейбус от трамвая отличить. Каждому свое.

— А ты бы, Мишка, помолчал, беглец ты, беглец и есть. Этот, — он показал заскорузлым пальцем в Семена, — хоть ерманский, но свой дом захотел построить, а ты в курятнике живешь там, тралвай вместо петухов слушаешь, вот и помалкивай.

— Чего пристал к человеку? — вступился за него Сашка Петров; у него тоже была задумка дом срубить, вот только с сараем управится, а этой загадки, к своему стыду, он не знал, потому и покраснел еще пуще. — Из самого труха сыплется, а он туда же, жизнь своим аршином мерить. Говори давай про бревна, если сам знаешь.

Евламий хотел обидеться, но потом, видно, передумал. Встал, крикнув, подошел к торцу бревна, постучал черным ногтем по срезу.

— Труха не труха, а вот погляди, как кольца-то наворачены, ежели где погуще, значит, северная сторона, где пореже — сосенка на юг глядела. Выходит, нужно теплом внутрь дома, а холодом наружу.

Солдатов что-то кумекал в голове, потом засомневался.

— А не наоборот, батя? Южной стороной наружу, а северной внутрь. Тогда летом в избе прохладно будет, а зимой теплее, дом снаружи дышать будет, южной-то стороной.

Дед огорченно склонил набок голову.

— Что т-ты понимаешь, городская твоя голова, у тебя в ней одни театры да кабаки, видно. Я тебе говорю... — Старик сделал паузу, похоже, соображая, о чем это сказать и, видно, сам начиная сомневаться. — Это... дак северной надоть... на юг... тьфу! наружу! Ты мне, Мишка, голову-то не морочь! Чтоб изба дышала, сверху север должен быть, а внутри юг — для тепла.

— Угоришь тогда.

— Север на север, — не сдавался дед.

— Бревна прогреются — грибок заведется.

— Промерзнет юг!

— Шишки вырастут!

— Тебе шиш, — не расслышал дед. — Севером внутрь... а...

— Во, правильно! А я что говорю!

— Тьфу! Запутал совсем, городская вешалка. Не буду тебе отвечать!

Он насутился и отошел к молчавшему все время Бондареву, чтобы молчать вместе.

И снова застучали топоры, сначала нехотя, потом смелей, шипела, въедаясь в дерево, ножовка, и тянуло смолистым духом — золотистые слезинки стекали по ребристым бокам бруса, и стоило надрубить чуть поперек, как из «колец деда Евлампия» выступала душистая смола.

Заинтересованный Петров все ж заметил, что первый венец стали ладить густыми кольцами наружу, но долго мучились с углами.

— Изба не изба, — ворчал дед Евламий, — без крестовины. Бревно к бревну, да мхом проложить — стоять двести лет будет.

А Бондарев только сопел — с брусом неудобно было работать, это тебе не круглое бревно, верти по несколько раз, прилаживай в надрезы, потом снова снимай, снова пробуй, снова подрезай, потому что не лезет, да смотри не срежь много, потом клиньями распирать придется, а тут еще Семен беспрестанно дергает, останавливает, замеряет, присматриваясь и зная, как эти мастера строят — лишь бы побыстрей. Зануда, да и только!

— Аккуратнее, легче, — все приказывал, — давай так... потом этак, потом еще раз...

Поскрипывал вставными зубами Бондарев, но пока не произнес ни слова. Только Сидора Пашкова прорвало:

— Что с него, стрелять, что ли? Лапоть сюда, лапоть туда — будет стоять еще и внукам твоим! — Он подкрался к Семену, а потом вдруг выхватил из его рук бумажку и опустил по ветру. — Брось ты ее, — сказал вслед, и она полетела прямо к уборной, стоявшей у сарая. — Во! Как раз ей место!

— Не мешай, Семка,— поддержал любовного соперника Солдатов.— Тяп да ляп, а дом тебе будет.

— Так нельзя.

— Можно. Все так строят, посмотри по деревне.— Сидор оценил поддержку Мишки, распутился.

— А у них...

— Плевать, что у них, они и живут, как улитки, каждый в своем панцире, мой дом — моя крепость, говорят.

— Это англичане,— теперь уже поправил его Солдатов, и Сидор обиделся, засопел.

— Без тебя знаю, не только в городе-то умные, мы тоже кое-кого парлео франсе.

— Тебе бы только про баб все,— понял по-своему дед Евлампий.— Срамник.

На втором венце стройка, что называется, наехала на пень. Неустанно следивший за правильным исполнением «технического проекта» Семен решил фуганком пройтись по заусенистому боку бруска и только, приладившись, махнул пару раз, как ожидавший его Бондарев заговорил наконец хриплым, будто застоявшимся голосом:

— Слышь, Семка, мы так и до зимы не управимся.

Семен, оторвавшись на секунду, возразил:

— Так зачем же халтуру делать? — Снова склонился над брусом.

— Брось ты! — махнул рукой Пашков.— Будет стоять твой дом и без фуганка. Еще и горбылями обшить, сейчас модно — под старину!

Но Семен горячился:

— Уж если делать, так делать!

— А вот у нас в городе щели в палец толщиной, зимой хоть пластилином замазывай — и ничего.— Солдатов надрезал брус и, заговорившись, махнул дальше карандашной линии.— Жильцы еще и рады, нам бы, говорят, только крышу над головой, только чтоб не капало, а уж недоделки мы и сами как-нибудь одолеем.

— Ты бы лучше смотрел, когда режешь, весь материал перепортишь.— Семен затравленно зыркал по сторонам.

— Не лезь в бутылку, Семка,— добродушно посоветовал Сашка Петров, который и сам-то не очень любил халтуру.— Будет не хуже, чем у людей.

— А мне не надо «не хуже», мне надо...

— Неужто лучше? — Пашков развел руками.— Ну у тебя, батенька, и запросы...

— По-человечески хочу!

Молчал теперь только дед Евлампий. Слушал и молчал. Перестроил он на своем веку много, особенно после войны сразу, когда сгоревшие деревни восстанавливали и строили всем миром, никто в одиночку дом не рубил, может, потому и не придирались к качеству — всем так строили, главное, побыстрей, там не до претензий было, а тут...

— Ты вот что, Семка, не кипятись без толку, как построим, так и ладно.

— Нет, не ладно!

— А не ладно, так уйдем к чертовой матери! — Это Пашков спровоцировал.

— Ну и уходите!

Он, может, и не ожидал, что все уйдут, сказал сгоряча, но вышло решительно и категорично. Бондарев первым сложил медленно инструмент в ящик, поддел его на топорище и, закинув ношу на плечо, пошел со двора, ни с кем не попрощавшись. Евлампий хлопнул руками по бокам.

— Вот те раз, ешь твою двадцать!

Пашков теперь будто обязан был быть верным своему слову. Плонул наземь, выругался:

— ...с твоими фиговыми заработками. Лучше по бабам, чем тут с тобой замки воздушные строить.

Солдатов какое-то время мялся, явно сожалея, что затеял некстати разговор о городских недоделках, точно пороха в огонь подсыпал. Ведь, в сущности, Семен прав, но бригада распалась, а он... Что он, рыжий? Ему больше всего надо? Он вообще приезжий! Отпустил. Ему и отдохнуть в конце концов не мешает, ведь после отпуска снова целый год горбатиться. Но все же подошел к Семену, положил руку на плечо.

— Ну ты, Семка, того... ты не обижайся. Помог чем мог, а теперь что ж втроем-то, стар да млад, Бондарь был основной мастер, а мы так, подсобные при нем...

Нерешительно, оглядываясь, Солдатов пошел к калитке. Семен отвернулся.

— Не переживай, Семка, достроим.

Это был Сашка Петров. Ему-то был нужен трудодень, и он не собирался так просто уходить. Но Переверзев вдруг рыкнул на него:

— И ты проваливай! Без вас обойдусь!

— Да ты чо?..

— А то!

Петров круто обиделся. Даже румянец сошел с его щек. Он сипло проговорил:

— Ну ты еще попросишь! Я т-те запомню!

Семен не ответил. С силой вогнал топор в бревно чуть ли не по самому оху, сплунул на сторону. Из всей бригады остался только дед Евлампий, да что с него толку — как с козла молока.

— Вот тебе, бабка, и Юрьев день. Дергали тебя за язык, молчал бы. Работников кормить надо, да лаской увещевать, а ты аки цербер на них. Работник ведь тебе нужен, а не ты ему. Теперь вот попробуй в одиночку, коковырайся.

— Ну и буду!

— Ну и давай!

А тут еще жена с матерью на порог избы вышли.

— Обед готов! Работнички!

Евлампий только языком прицокнул на зов, вот, мол, как надо было-то. Но женщины застыли на пороге с открытыми ртами.

— А где же все?..

— Где-где... — Семен попытался вытащить топор, но не смог и еще пуще разозлился.— Халтурщики! Сам построю! — Он снова ударил ладонью по топорщику.— Тяп-ляп! Щели в палец толщиной, нашел чем хвастать!

Чувствуя нагнетающую обстановку, дед хотел было уйти, но чего уходить, ежели обед-то готов, может, и еще раз позовут.

А Евдокия только руками всплеснула.

— Что ж ты людей-то разогнал, непутевый ты этакий? Они к тебе с добром, с помощью...

— Дурак! — твердо сказала Настя и, круто развернувшись, пошла в дом.

— Сама ты такая! — Семену было горько и обидно, он хоть от кого-то ожидал поддержки, но не дождался. Выдернув наконец топор, он снова вогнал его в бревно еще глубже и ушел на огород, подальше от этого места, подальше ото всех, сел под вишней на бугорок и задумался. В своей правоте он не сомневался, хотя, может, зря погорячился, по-другому надо было, ведь они не только здесь тяп-ляп навораживают — у себя дома не лучше, что тут поделаешь?

Кручина из-за этого ввевшегося издавна разгильдяйства подпирала, и досада брала за то, что не соскresti его, что бессилён сам, не умеет доказать, ведь мало канючить, будто упрашивая, доказать можно только одним — самому построить этот дом, всмятку разбиться, а закончить дело, пусть потом ходят на экскурсии, смотрят, еще совета станут спрашивать, и он злобу не затаит, помо-

жет советом, потому что верит в свой замысел, видит то, что задумал, и все именно так и будет, только хватило бы силенок, раз не хватает поддержки. Он поднялся и пошел во двор. Свежим четырехугольником, будто спички в детской забаве, белел первый венец повыше докола, и он вытащил из бревна топор, поплевал в ладони и стал подгонять следующие бревна, в одиночку, успокаиваясь от работы, и лишь только чувствовал приступ какого-то немислимого упорства, что забыл и про усталость и про голод. Пусть. Главное — доказать. Главное — убедить.

До вечера жена не вышла во двор. Мать, правда, появлялась, пройдет мимо стройки, посмотрит и даже уголком платка по глазу проведет. А он не замечал никого, не видел прошмыгнувшего в калитку деда Евлампия, не заметил, как сгустились сумерки, пытел, поднимая тяжелые бруссы, напрягался, смахивал катящийся градом пот с лица, стараясь хоть на лишний гвоздь продвинуть стройку, хоть лишний чоп в паз вогнать, хоть уголок приладить, и то дело.

Лег спать на голодный желудок. Ни с кем не разговаривал. Жена уже лежала, отвернувшись к стенке и затаив дыхание, и только он приподнял край одеяла, сказала, не поворачиваясь:

— Не Европа ты, Семен, а...

Он сел на постели, свесив босые ноги. Потом, так ничего и не ответив, встал, накиннул на плечи фуфайку и вышел во двор. Небо светилось звездами, точно из погреба сквозь мешковину на солнце глянул, гудели в небе майские жуки, и брнчала где-то на берегу Увери гитара. Он постоял немного на крыльце, вдыхая свежий ночной воздух, потом пошел к сараю, поднялся на сеновал и уснул там на фуфайке под похрюкивание поросенка и мышиные шорохи в сене.

Мало-помалу дом выстраивался. Придя с работы, Семен наскоро ужинал, чем придется, и шел во двор, тесал, пилил, вбивал гвозди резко, будто неуверенность свою разгонял. В день по бревнышку, по притолоке, мелкими шажками, но к концу лета сруб поднялся почти доверху, и тогда снова появился на подворье дед Евлампий, стал помогать молча, а Семен тоже молчал, будто не замечал его, но и не прогонял; иногда они брали вдвоем бревно и тащили наверх по наспех сколоченным лесам. Дед Евлампий, однако, не выдержал эту молчанку.

— Упрямый ты, Семка, нехорошо это, не по-нашему.

— По-вашему все, что не по-нашему, плохо.

Дед только головой повертел, а Семен снова замолк надолго.

С женой никак не ладилось. Евдокия, глядя на молодых, только головой качала: сноха прилась ей по душе, была работяща и не ветрена, да и к ней, к свекрови, относилась хорошо, чем редко кто другой похваляется; жить бы да жить такой семьей, так вот сын чудит, никак не согласится ни с женой, ни с матерью — позвал бы снова мужиков, закончил бы эту стройку с маху, дел-то ведь осталось всего ничего, глядишь, к зиме и переселились бы. Уж согласна даже без печи, лишь бы в мире да в достатке. Семен только хмурился на ее речи, но и это еще не все.

— Детей бы вам надо, ребятишек. Тогда и не козобились бы друг на дружку, точно две коровы из разных стад.

А какие тут дети, когда все лето напролет Семен ночевал на сеновале над свиньями. Не мог простить Насте равнодушия к его затее, да и к его житию-бытию на сеновале. Не видел ведь, как кушала она по ночам одеяло и беззвучно плакала, что-

бы свекровь не слышала. И странное дело, ведь хозяйственный мужик, непьющий попался, а если уж со своей чудинкой, так у каждого свое, лучше это, чем кулаки, к примеру, распускать. Но ей хотелось, чтоб как у людей было, чтоб не слышать этого дурацкого прозвища. Европа да Европа, а какая там к лешему Европа? Недоразумение одно. Металась в сомнениях женщина, не зная, чего ей хочется, и иногда жалела, что согласилась так бездумно замуж, а другой раз просыпалась ночью и боролась с нестерпимым желанием встать и бежать к нему на сеновал, и всякий раз гордыня брала верх. Так и жили пока: и спали врозь, и детей не было.

II

В сентябре, когда справились с уборочной и легче было найти машину, Семен, взяв в колхозной кассе ссуду, отправился в райцентр за материалом для крыши. Листового железа так и не удалось раздобыть, зря только нервы портил в спорах с председателем. Матвей Мокеевич рубил себя ребром ладони по глотке и раздраженно кричал: «Нету железа! Нету, хоть режь! Коровники на луну светятся, а зима на носу. Тесом крой!» А ему хотелось железом-цинком. Ну где же его взять? А тут вспомнил он совет одного командировочного с Украины (кормоцех в колхозе строили), так вот присоветовал тот цинковыми корытами обойтись, днаца у них в целый лист цинка, да и боковинки можно скроить, а по деньгам — дак что теперь деньги?

Всю дорогу прикидывал, перепроверял в сотый, наверное, раз предыдущие расчеты, сколько корыт брать, и не мог никак прийти к окончательному решению. Да еще мешал Макар Пшеничный, согласившийся за десятку съездить в Берестов на грузовике, и приходилось слушать его разговоры все на ту же тему, будто о другом и нельзя с Семеном говорить. Макар был старше лет на пять, имел троих детей, личную машину (грузовика казенного ему мало, «Жигули» для выезда понадобились). Он был упитан, видно, от сидячей жизни за баранкой, под свитером обозначилось заметное брюшко, и щеки сытно лоснились.

— Пустое ты затеял, Семка, — заговорил он, отъехав километров пять от села, — нет, я не вообще про стройку. Новый дом — дело хорошее, нужное, но то, что про тебя говорят, Европа, мол, Европа, мир захотел перевернуть, и опять же, царь Петр, говорят, ошашковский, это, знаешь... Я вот в армии в Забайкалье служил. Что же, прикажешь мне юрту посередине деревни ставить? — Он, видно, представил такую картину, потому что засмеялся тихо, поглядывая в сторону Семена, не обиделся ли. — Мы там, знаешь, и кумыс пили и айран, жажду утоляет здорово, а жара там была нестерпимая, сапоги снимали и ходили в бурятской обуви, с носками, загнутыми кверху. Это у них, знаешь, отношение такое к земле — нельзя ее ни рыть, ни даже носком сапога ковырнуть. Вера такая: земля, мол, священна. Наоборот нашему — у нас святость как раз в том, что вспашешь ее, и она тебя же потом кормить будет.

Он помолчал и, видя, что Семен не отвечает никак («Стропила на два с половиной метра поднял.. да с четырех сторон если накрыть, корыто метр на восемьдесят где-то...»), продолжил, как бы в заключение:

— Это я к тому говорю, что у них там одно, и айран тебе — пить не хочется, и сапоги — по земле скользят, а у нас другое. Так и в Европе твоей.

Семен молчал. Корыт сто пятьдесят набиралось, а то и целых двести, денег бы только хватило.

— Слышь, Семен? Как бы тебе юрта посреди Осташкова приглянулась? И гараж, к примеру, какой при ней должен быть? Тоже круглый?

С большим запозданием доходили до Семена слова Пшеничного, и надо было отвечать — шоферу за рулем делать нечего, говори знай да слушай, чтобы не уснуть.

— Пожалуй, штук двести надо, — прищелкнул языком Семен.

— Чего двести?

— Корыт.

— Тыфу ты, я ему про Фому, а он про Ерему. Опыты зачем тебе эти, спрашиваю? Везде хорошо, где нас нет. Пусть и будет там им хорошо, пусть довольствуются, а мы сами с усами.

Семен будто проснулся. Вдохнул. Не хотелось про это говорить, но все же начал.

— Знаешь, Макар... — Он еще раз зыркнул на шофера, словно прикидывая, стоит или не стоит говорить. — Я бы вот что сделал... Я бы все лучшее собрал у всех на земле, все самое-самое. Ненужное, лишнее — прочь, а полезное не повредит, и устроил бы я такое сказочное царство («Ну, царь Петр», — хмыкнул Пшеничный, на что не обратил внимания Семен), со всем самым лучшим, и в сапогах бы ходили с носками задратыми, чтобы землю не осквернять, и пахать бы пахали, чтоб урожаи были — куда там Америке, и чтоб в домах жить душа радовалась, а уж ежели баньку поставил, так чтоб сахаром на сердце была парилка, чтоб человек после нее как вновь на свет нарождался и уже не способен был ни слова дурного сказать, ни дела плохого сделать. Вот что бы я сотворил, будь моя воля...

— Да-а, — повертел головой Макар, — дай тебе волю — наломал бы ты дров.

Помолчали. Семен не стал спорить, знал, что разговоры все эти бесполезные, но дорога дальняя, куда деться?

— Я вот тоже, Семка, по телевизору видел, человек по волнам на доске катается, а если рассудить, так на кой мне эта доска? Она меня и не выдержит, хо-хо, потону. Помню, в детстве в лапту играли. Да еще как! Мать к ужину не дозвонится. А где сейчас лапта? Где жмурки? Может, американцы в нашу лапту играют? Что-то не видел, не нужна им наша лапта, а мне ихний бабслей, пусть этим Сидор Пашков занимается, он у нас по бабьей части мастер.

В такой вот беседе доехали они до райцентра Берестова — небольшого старого городка на берегу той самой Уверы, что и мимо Осташкова протекала. С окраин Берестов напоминал деревню, и домики такие же, и огороды, и петухи на плетнях, да и улицы узки и не мощены, а вот в центре — тут настоящий город: асфальт, фонари высокие, большие киноафиши.

Хозяйственный магазин отыскали быстро — не раз доводилось крестьянину там побывать, и в простонародье он назывался «железным», потому что и гвозди там продавались, и топоры, и лопаты, и вилы, и всякая другая железная утварь. Внутри пахло дегтем и солидолом, по стенам висели хомуты и уздечки, на полу и прилавках стояли ящики с разными гвоздями, шурупами, в углу виселись целые башни из ночных горшков и тазов; краны, винты, посуда, ножи, кувалды, шанец — глаза разбегались у хозяйственного человека, чего там только не было, а вот на вопрос Семена о цинковых корытах заведующий магазином все ж округлил глаза.

— Ско-олько? — У него очки чуть не свалились с носа.

— Двести, — спокойно повторил Семен, будто заказал двести граммов изюма.

— Это что ж, на всю деревню, что ли? — У заведующего случались в практике оптовые закупки, особенно в уборочную, когда из деревни не каждый мог выбраться.

— А хоть бы и так, — мудро сказал Семен, подзревая, что могут возникнуть сложности.

— Нету, — уклончиво сказал заведующий.

— Что же делать? — растерянно спросил Семен, оглянувшись как бы в поиске поддержки на Пшеничного, вертевшего в руках кривые садовые ножницы.

— Надо ж дать, — хитро подмигнул сквозь очки заведующий.

— Сколько ждать? — не понял игры слов Семен.

А заведующий развел мошеннически руками, мол, это уж сам догадывайся. Потом туманно объяснил:

— Склад выделяет то, что ему не нужно, мухлюют все. Мне, положим, это и не нужно, неходовой товар, а беру горшки, потому как ежели будет то, что нужно, то ежели этого, что не нужно, не взять, тогда то, что нужно, не получить. — Он показал желтые вставные фиксы во рту. — Диалектика.

Отложив в сторону ножницы, Макар склонился к уху Семена.

— На лапу просит.

— На какую-такую лапу? — совсем расстроился Семен.

— Взятку, бестолочь, надо дать. На чай. У них так все в городе делается, спроси Мишку Солдато-ва.

Семен загрустил, почесал в затылке, соображая, потом развернулся и, позвав за собой Макара, вышел из магазина. Тут же, рядом с крыльцом, присел на обломки упаковочного ящика, обитого тонкими полосками жести.

— Посоветоваться, Макар, надо.

— А что тут советовать? — Пшеничный нетерпеливо поглядывал на часы. — Жизнь, Семка, такая; вот я просижу тут с тобой, потом что завгару говорить буду?

— Но это же... — Семен аж вспотел от натуги.

— Что?

— Что-то... как-то это... — Он кусал губы и вдруг нерешительно, робко спросил, явно пересиливая себя: — А сколько?

Макар надул лоснящиеся щеки, выражая удивление, и даже руками развел.

— Ну, ты вообще, Семка... Будто с луны свалился! — Потом резко выпустил из себя воздух и закончил, разочаровав Семена: — Не знаю.

И тоже присел рядом на ящики. Повздыхали, закурили. Мимо них проходили озабоченные люди, заскакивали, высказывали из магазина, на сидящих — ноль внимания. Сидят себе — и пусть сидят, может, грузчики они. Потом подошел один старичок.

— Ребятишки! — Он причмокивал смешно ртом, и, когда говорил, у него двигалась больше верхняя губа. Нижняя была словно парализована. — Шкафчик подкните, недалеко, на Восьмаки, отблагодарю, ребятишки, сколько запросите. А? — И глазками зырк-зырк по сторонам, чтобы, видно, кто не припугнул.

— Какой-такой шкафчик? — по своему обыкновению переспросил Семен.

— Из магазина, новехонький, за каждый километр выложу, да еще с каждого второго километра накину, а?

Макар мотнул головой — не на тех напал, дед, у самих тут дела, и старик гордо выпрямился из согбенной позы, губу верхнюю поджал, будто всосал внутрь рта.

— Так бы сразу и сказали.

И пошел за угол магазина, где стояло несколько машин, в том числе и грузовик Пшеничного.

— Видал, как? — Макар плюнул вслед старику. — Жизнь тут не малина, в бараний рог крутит.

— А четвертного хватит? — думая о своем, спросил Семен.

— Шут его знает! — Макар пожал плечами, потом вдруг взорвался. — Что я тут у них — казначей, что ли?! Расценки их знаю?!

Семен не понял причину гнева земляка, но и выснять не стал, поднялся со вздохом и пошел на крыльцо магазина.

Понимал, что поступает нехорошо, ведь и материал на дом мог похитрее получить (на пилораме, однако, работает, а не на свиноферме), но ведь не стал, засовестился, не только со школы знал, что воровать нехорошо, — внутри все протестовало против воровства, когда видел, как везет кто на вепосипеде доску-другую, говорил не раз несуну, за что врагов еще больше нажил, и не только шипели злобно на него: «Не в Европе, чай, жизем...»

Но то воровать, то явное зло, а тут свои деньги уплати, да и катись все к чертовой матери или к тому, кто это все придумал, дело ведь делать надо, крыть дом нужно — искал он себе оправдание, и хотелось покрыть все эти порядки благим отборным матом, прежде всего за то, что бесилен был что-либо изменить; ноги подкашивались, ступая по дощатому полу магазина, а от дурманящего запаха дегтя кружилась голова и пересохло во рту.

Заведующий был занят. Отсыпал гвозди, внимательно глядя сквозь очки на качающиеся носики весов, и вид его был таков, будто важнее дела на земле и не существует.

Семен кашлянул в кулак, но заведующий и глазом не повел, кидал сверху на тарелку гвозди, и носик утиной головки все клонился книзу, клонился, потом — оп! — проехал. Испачканными пальцами заведующий утирнул несколько гвоздей и снова предпринял терпеливую попытку выровнять весы. Перед ним стоял деревенский дядька в картузе и тупо смотрел на плавающие носики.

— Торговля точность любит! — назидательно сказал ему заведующий и снял наконец с успокоившихся весов алюминиевую тарелку. — В этом-то и есть гвоздь торговли!

Дядька поблагодарил, крикнул под тяжестью мешков и пошел из магазина, а Семен снова дохнул кашлем в кулак.

— Ну как, созрел? — обратился к нему заведующий.

— Что «созрел»? — переспросил Семен. В голове и так круговерть шла неукротимая, а тут еще закидоны какие-то. — Чему зреть-то?

— Пойдем. — Заведующий кивнул маняще головой и ушел в подсобку.

Откинув крышку прилавка, Семен проследовал за ним. То, что он видел в магазине и что удивило его обилием, ни в какое сравнение не шло с хозяйственным богатством подсобки, а в углу он заметил (и уже не мог отвести глаз) сложенные одно в другое целыми штабелями заветные корыта, и, казалось, вот она, мечта, протяни только руку...

И он протянул.

— Вот! — В руке дрожала двадцатипятирублевая бумажка, пропахшая нафталином (это еще со своих,

что в шкафу под бельем лежали). — Корыта бы мне... вот эти, тут как раз то, что надо...

Но заведующий только глаза за стеклом скосил на протянутую руку, потом бровь его дрогнула и ползла, рисуя презрительный сначала, а потом негодующий изгиб, и губы вытянулись в гневную полосу.

— Это что, взятка?!

Семен захлопал глазами, но руку не отдернул, будто забыл о ней.

— Взятка?!

— М-м... — Семен не мог собраться с мыслями. — М-мне корыта бы, дом покрыть...

— Я т-те покую! — взвинулся заведующий, и очки его запрыгали на носу. — Я т-те покую! Честного работника за каких-то вшивых двадцать пять рублей, да я тебя! — Он только что не стучал ногами, а в голове Семена стоял такой гул, будто рушились корыта, все продолжая и продолжая падать. — В милицию! Из-за таких, как ты! Во-он!

Семен попятился и действительно опрокинул стопку эмалированных кастрюль, которые с грохотом покатились по полу, ковыляя на дужках.

— Сто-ой! Арестую!

Удивленные покупатели повернули головы, когда Семен, хлопнув крышкой прилавка, спешно покидал подсобку. За ним показался возбужденный заведующий.

— Будете свидетелями! Взятку при исполнении!..

Макар Пшеничный едва успел заметить Семена, настолько быстро тот покинул помещение «железного» магазина и помчался, не разбирая дороги. Очнувшись, он кинулся за ним и еле догнал на повороте к колхозному рынку. Семен не мог отдышаться. Грудь вздымалась, глаза беспокойно бегали по сторонам в ожидании погони.

— Ну, ма-ать честная, влип!

Только тут он заметил, что четвертного в руке не было — видно, в последнюю минуту все же выхватил его заведующий или может, на ходу потерял.

— Ну жулики!

Макар как мог успокоил его и повел обратно к машине круглым путем — подальше от греха (мало ли что) и по дороге ругал себя, что связался с ним, теперь еще опоздает к назначенному времени, завгар месяц склонять будет. Вот незадача. А когда подошли к грузовику, то из-за кузова вышли неожиданно два милиционера, и посолоннее который представился:

— Старшина Криницын. Проследуйте за нами.

Макар начал было петушиться, но милиционеры вплотную подошли к нему, и он сник, не говоря уже о Семене, у которого ноги онемели, будто размякли враз кости, и он даже удивился нехотяти, как это раньше он имел способность ходить. И взмолиться вдруг захотелось, точно в детстве: «Дяденька, мы больше не будем...» Но «дяденька» старшина развернулся и пошел впереди, а младший сержант, длинный и белообрый, от которого не убежишь, подстроился сзади. Хороша картинка!

Кто-то из горожан, проходя мимо, с негодованием сказал:

— Воруги. Поймали наконец!

Кто-то его поддержал, кто-то ругнулся и заспорил, но прислушиваться было некогда, да и услышанного хватило, чтобы на лбу появилась испарина.

Их посадили в «газик» с фургоном и синей надписью на боках, захлопнули дверь с зарешеченным окошком. Мелькнули в нем двухэтажные домики, невысокие, выветренные известкой, но такие вдруг дорогие и близкие, что захотелось зубами вцепиться в эту треклятую решетку, неожиданно перекрестившую привычный мир.

В отделении милиции царил порядок, чем-то напоминало оно армейское караульное помещение. У пульта с телефонами скучал молоденький младший лейтенант, моргал отяжелевшими веками (основная работа будет вечером), а перед ним у окошка стоял, ехидно улыбаясь, заведующий «железным» магазином.

— Доставили? — равнодушно спросил дежурный. Старшина доложил.

— Ну и ладно. — Он поднял карандашом козырек фуражки, наезжавший все на глаза, потом обратился к заведующему: — Эти?

— Эти, эти, — зачастил тот, — те самые. А он главный.

Измазанный в солидоле палец, будто дуло пистолета, направился в груде Семену, и он робко пожегил, как бы ожидая, что выплеснется сейчас смертоносная лава. Но плескалось пока другое.

— ...Мало того, что сам спекулянт, покупает, а потом перепродает, и спросите его: за сколько? Я ему и говорю, нету, мол, корыт, соврал, значит, потому как не мог содействовать спекуляции, а он и выкладывает полсотни рублей, потом еще четвертной набавил, когда я снова отказал...

— Ладно, — перебил его лейтенант, — разбираться с ними некому, отведи их, Криницын, по одиночкам, пусть подумают, а ты, Яков Леонтьевич, иди, понадобись — вызовем.

Не глядя на задержанных, заведующий прошмыгнул в дверь, и те даже не успели что-либо возразить. Правда, теперь у них, похоже, будет время, чтобы и помыслить, и отдохнуть, и наговориться затем. Первым это осознал Пшеничный.

— Товарищ начальник, — взмолился он, сложив руки на груди. — Мне же в гараж надо, товарищ начальник, не успею... как же это?..

Дежурный отвернулся. Видно, всякое такое ему не раз приходилось слышать. А у Семена и слов-то не находилось, язык словно в нёбу припаялся намертво, не сдвинуть его, — лежал куском тяжеленного свинца, так что челюсть от натуги задрожала. Макар распался.

— Товарищ начальник! Я-то тут при чем? Я и ни при чем вовсе, и не видел ничего, и не слышал, мне в гараж надо, а этак... этак вот, что натворил, пусть за то и отвечает, невиновного наказываете, отпустите, товарищ... гражданин начальник, ни при чем я совсем, мне в гараж надо... у меня...

Младший лейтенант недовольно на него посмотрел, нахмурил под козырьком брови и что-то там сказал проотягивающие обстоятельства. Макар примок, только глаза бегали от одного мундира к другому, потом наткнулись как бы случайно на Семена.

— У-у... — застонал он, не сказав ни слова, и, наконец, сдавшись, покорно ступил за старшиной по коридору, выкрашенному до потолка зеленой краской.

В камере было чисто, пахло все же караульным помещением, никак не мог извратиться от этого запаха Семен (опять Германию в памяти наворачивает, чтоб ее...), но только отгонит эти армейские воспоминания и поднимет голову к квадрату зарешеченного неба, так и заточит нутро неведомый червь, готовый напрочь сожрать совсем, только дай самому себе слабину.

Обхватив голову руками, Семен присел на нары. Он ничего не мог понять, но где-то смутно билась догадка, что дело, в которое он так по глупости вляпался, не шуточное, могут и срок припаять, и вообще черт-те что с тобой сотворить, потому как виноват... и будто добирался червяк до самого горла,

и не вздохнуть было, ни выдохнуть — точно и саму душу посадили в клетку, а ключик от дверки в толчок выбросили, даже запахом таким потянуло, будто в уборной сидишь. Семен нашел в себе силы рассмотреть одиночку. В углу действительно стояло ведро и, судя по пожелтевшей стене, это и была... как ее... Он вспомнил — параша!

И повалился на нары.

Ночь он не спал. Где-то все же теплилась надежда, что откроют сейчас дверь, попросят, объяснят: мол, недоразумение вышло, и даже извинятся, и он, так уж и быть, простит их, знамо, мол, дело, такая беспокойная у вас работа — жуликов ловить. Но точно водой холодной вымывались из головы детские мысли, и сон слетал, и страх подбирался, и жена всплывала перед глазами, которую так пока и не понял, и мать, и дед Евлампий, с кем не доспорил, и стыд застилал глаза, будто пот в жаркий день, представлялся суд, односельчане, сидящие в клубе, прокурор... Слово-то какое картавое — про-кур-р-рор...

Лишь только к утру забылся Семен в тревожном полусне-полубреде, глаза вроде и открыты были, решетка в них отпечатывалась, но и не видели больше ничего, растаяло все вокруг, поблекло, и он очнулся только от настойчивых встряхиваний за плечо. Вскочил, заметался, будто в дом непрошенные гости пожаловали, а угостить-то и нечем. Но «гости» сами пришли с угощением. Поставили на стол кружку бледного чая, алюминиевую миску с чем-то серым — то ли кашей, то ли ленивыми голубцами. Но не до еды тут стало, когда вспомнил, где находится, и снова подвернуло из голодного желудка ужасом — он только и заставил себя, что чай выпить.

Часам к десяти его повели на допрос. Так и сказал дежурный милиционер, приносивший еду: «Задержанный — на допрос», — отчего скатился по позвоночнику капелька пота до самого копчика или просто так показалось.

В комнате, куда его привели, сидели трое, один в штатском светло-сером костюме и при галстуке и двое в форме: вчерашний младший лейтенант с красными глазами, видно, задержали его после дежурства, и капитан усатый, похожий на грузина. Он-то и спросил штатского, как только Семен сел на указанный лейтенантом стул:

— Разрешите начинать, товарищ майор?

От этого «разрешите», от вида голой комнаты, где только столы и стулья, от пристальных взглядов трех пар глаз, направленных на него, Семена подташнивало, и выпитый утром чай стоял где-то посередине горла — ни сглотнуть, ни выплюнуть.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность... — спрашивал грузин, и Семен слабым голосом отвечал, не смея протестовать, но на слове «русский» запнулся: «Вот те и Европа...»

— ...Р-русский, женат...

Одни лишь формальности заняли с полчаса, если не больше, Семен взмок от напряжения и все поводил в сторону шеей, будто постыжился только и колются попавшие на воротник волосы.

— Сколько вы запросили в магазине корыт?

— Две сотни, — машинально ответил Семен, не успев подумать, как лучше было ответить.

— Зачем вам такое количество?

— Крышу крыть.

— Не понял. — Грузин дернул усом. — Заведующему магазином вы сказали, что покупаете для всей деревни, так?

— Так, — подтвердил Семен.

— Значит, вы занимаетесь спекуляцией корыт?

— Да я ж только так сказал...
— Как «так»?
— Чтобы не спрашивал, а они мне на крышу нужны.

Капитан-грузин начинал сердиться:

— Вы тут из нас дураков не стройте. Какую еще крышу?

— Дом в Осташкове строю.— Семен отвечал спокойно, даже обреченно, чувствуя, что не бывать ничему путному из этого разговора.

— При чем тут дом? — Грузин поправил форменный галстук на резинке.— Отвечайте на прямой вопрос, гражданин Переверзев! Кому вы думали сбить двести корыт?

— А куда же мне их сбывать, когда самому нужны были, да вот и купить не довелось.

— Отвечайте на прямой вопрос! Кому вы надеялись продать корыта и по какой цене?

Запутавшись, Семен замолчал. Разом все надоело, пусть что будет, то и будет, он вспомнил вдруг о Пшеничном и попросил гражданского — тот смотрел более человечно.

— Макара-то отпустите, он ведь ни при чем вовсе, я его попросил корыта привезти, а у него загваром Никодимов Петр Савельевич, крутой больно.

— Отвечайте по существу вопроса! — наседали грузин, потом, видя, что Семен снова замолчал, сказал в сторону, лейтенанту, что-то все писавшему быстро: — Зафиксируйте в протоколе, отвечать на вопрос отказался.

Гражданский тем временем встал, прошелся по комнате, потом не казенным совсем голосом неожиданно спросил Семена:

— А деньги-то зачем завмагу совал?

Семен только пожал плечами.

— Черт-те его знает. Сдуру, наверное.

Гражданский покачал головой.

— Это точно, что сдуру, и сам влип, понимаешь, и нам все дело испортил.— Он досадливо хлопнул себя по коленке.

Затем походил по комнате, поцокал языком, буд-то и не о Семене вовсе сожалел и не на него досадовал, а тот вдруг потянулся к нему, слозно почувствовал, что, может быть, в нем спасение, не такой он, как этот грузин, и заговорил торопливо:

— Дом, понимаете, задумал построить в деревне, и не такой, какие у нас всю жизнь строили,— в Германии служил, посмотрелся на ихние дома-то, вот и захотелось, уж и стены вывел и стропила стоят, а крыть-то неужто опять тесом, как наш председатель советовал? Вот и подумал, что можно корыта покрыть на листы, и чем не железо? Что ж тут поде-лаешь, если железа нигде не сыщешь, вот и поехал за корытами, будь они неладны, а заведующий — нету, говорит, хоть ты тресни, а потом, как это... вспомню сейчас, да, ждать, говорит, надо, а сколько ждать — не сказал. Тут мне Макара... то есть я вот и подумал... а потом как увидел, что у него этими корытами вся кладовая забита, ну и...

— Сколько? — оперативно встрял в разговор грузин.

— Четвертной.

— В заявлении Лисицкого сказано, что семьдесят пять предложили.

— Ого! — удивился Семен.— Значит, он обиделся, что я мало дал?

— Вы совершенно подкуп официального лица,— строгим голосом разъяснил ему капитан.

— Какой такой подкуп? — переспросил Семен и тут же сообразил, что называй теперь как хочешь, а ведь взятку он давал и отвечать придется.

— Виноват я во всем, граждане судьи, виноват.— Он опустил голову.

— Мы не судьи,— поправил капитан.

— Все равно виноват...

Ему дали подписать протокол, он не глядя поставил на исписанной мелким почерком бумаге свое «Переверзе» с хвостиком и снова отправился в камеру, машинально заложив руки за спину, хотя ему этого никто и не говорил,— нагляделся в кино «про бандитов». В камере чуть не завыл от тоски и отчаяния.

После обеда его повели по знакомому коридору, и он считал произвольно фонари над головой, после каждого закрывая глаза, будто надеясь, что когда откроет — все исчезнет, переменится... Раз... два... четыре... Они не пошли туда, направо, где проводил допрос капитан-грузин, и вдруг холодно стало и жарко одновременно. Может, это на суд ведут? А может, в тюрьму?! Он уже не закрывал глаза, когда мелькали фонари, глядел по сторонам и, казалось, дышать перестал, а когда дверь отворилась, он увидел комнату дежурного, похожую на караульное помещение, и в ней все было, как в первый раз, только за пультом сидел не молодой младший лейтенант, а капитан-грузин, от чего у Семена тут же пересохло во рту. Он даже попятился, но его мягко подтолкнул в спину сопровождающий милиционер.

— Заходи, заходи, генацвале,— поднялся навстречу капитан. Потом обитрался к кому-то в сторону: — Получайте своего героя.

У стенда по борьбе с пьянством и алкоголизмом, среди нарисованных синих рож, он узнал хоть и нахмуренное, но до того приятное, что даже слезы навернулись, лицо председателя колхоза Матвея Мокеевича.

— Цел и невредим, товарищ Гайворон.

— Спасибо, Сванадзе, спасибо, дорогой.

Не глядя на Семена, Матвей Мокеевич пожал руку капитану, а тот сиял белозубой улыбкой из-под черных усов.

— Приходите еще, если что.

— Нет уж, лучше вы к нам.

— Придем, придем. На свеклу пяток дебоширов подбросим.

— Во, это дело. У нас не разбегутся, мы их пить враз отучим. У нас — Европа!

Матвей Мокеевич был уже у двери и, видя, что Семен не сдвинулся с места, пробурчал:

— Ну, чего остолбенел, европеец? Квартира понравилась?

— Свободен, генацвале,— подошел к нему капитан.— Председатель и колхоз на поруки берут, а нам понадобится — свидетелем вызовем. И зла на нас не держи...— Он поглубже натянул фуражку.— Служба.

Не помня себя от нахлынувшей наконец радости, Семен горячо потряс протянутую капитаном руку, потом обе руки сопровождавшего милиционера, улыбался и не мог уже никого разглядеть.

— Век не забуду... спасибо за все...— Он не понимал, что говорит, и будто прощался, уходя из гостей.

— Ну-ну,— похлопал его по плечу капитан,— лучше забудь.

На улице солнце ударило в глаза, и он заслонился ладонью, до того ярким и теплым оно было; и небо такое голубое-голубое, и деревья шевелились под утренним ветерком, и у тополей подвора-чивалось серебро на листьях, будто подол женского платья, и снова стыдливо накрывалось зеленью, чуть тронутой осенней желтизной.

— Горе ты мое луковое,— прикоснулись шершавые ладони к лицу, уткнулась теплая, пахнущая попом голова в плечо, и он снова точно ослеп от увиденного,— горюшко ты мое, все глаза выплакала...

Пальцы провели по колючей стерне на подбородке, и он сказал невпопад, совсем не то, что хотелось сказать:

— Побриться бы...

Настя будто не слышала.

— ...Приехал Макар, рассказал, а на улице уже ночь, побежала что есть сил к Матвею Мокеевичу, а дома с матерью плохо стало... а тебя нет и нет...

Она тихо плакала, по-детски всхлипывая и не справляясь с дыханием, и волосы упали на вздрагивающие плечи, наспех, видно, собранные на затылке, и ничего дороже не было для Семена тех рассыпанных по спине волос, что шелком вились в пальцах, податливые и мягкие, как и все тело жены, чувствующее каждым мускулом его самое потаенное движение. Из окна, сквозь те же решетки, только выкрашенные серебряной краской, смотрел на них с лукавым прищуром капитан Сванадзе, навидавшийся за свое капитанство этих встреч-расставаний на пороге отделения милиции, но отвернулся деликатно, когда прикоснулись подбородки и губы слились надолго, впервые, наверное, не стесняясь ни прохожих, смотревших сочувственно, ни пятнадцатисоточников, подметавших первые опавшие листья на тротуаре перед отделением,— будто в жажде припали к освежающему источнику и не могли никак напиться друг из друга, пока не окликнул нетерпеливо председатель.

— Ну хватит вам, голубки.— Он запустил мотор, чирикнувший мягко, виновато.— Успеете еще.

По дороге домой они сидели обнявшись, и Настя не отнимала голову от взволнованной груди Семена, будто уснула, а тот осторожно и заботливо придерживал ее на ухабах, словно вез беременную в родильный дом. Глаза туманились, но он все глядел и не мог наглядеться на неубранные поля семенной кукурузы, на желтый клин люпина под еловой посадкой и на островок березовой рощи среди обширной луговины, и казалось ему, что ничего краше не видел он в своей жизни, а когда блеснула слева синяя излучина Увери, словно праздничная лента в пшеничных волосах, он еще сильнее прижал к себе жену. И не дошел сначала смысл сказанного председателем.

— Штраф ты все равно заплатишь,— поглядев на Семена в зеркало заднего вида, промолвил Матвей Мокеевич.

Какой штраф? И что ему любой штраф на земле, если за него получил так много в награду, больше, чем мог когда-нибудь надеяться.

— Повезло тебе, что Лисицкого давно уже подзревают в нечистых делах, вот только окончательно за руку схватить не могут. А он, мерзавец, лозко тебя, дурака, подставил, как вальта козырного.

Лисицкий, подозрения, козыри и прочие неприятности — какое ему теперь до этого дело? Вот бьет-ся грудью в грудь другая и не чужая жизнь, греет сквозь рубаху близкое горячее дыхание, и вздрагивают беспокойно шершавые пальцы, лежащие на его руке, будто успокаивая и подкрепляя силой. Вот до чего ему дело, и никаких других дел, корыт, строек.

Он вдруг вспомнил, что и поблагодарить-то не успел совсем за этими неожиданностями.

— Спасибо, Матвей Мокеевич...

— Ей скажи спасибо,— кивнул в зеркало председатель,— а от меня еще получишь на орехи, сполна за мое рабочее время заплатишь, ежели свое не

в счет. Я тебя сам, как на пилораме, на ремни распилю и ими же отстегую, чтоб знал, по какой земле ходишь. Я т-те такую теперь жизнь устрою, что Европе твоей и не снилось! Понял?

— Понял.— Семен впервые за эти дни открыто, облегченно улыбнулся, будто нес-нес тяжесть бессмысленную, а тут вдруг взял да и свалил в смут.

— То-то же! — Председатель закурил папиросу, не предложив Семену: видел, заняты руки у него, и губы вот-вот заняты найдут, Семен не обиделся.

Они поехали дорогой со стороны Елоховского Лога, спустились в болотистую низину со стадом пасшихся коров, потом медленно, так что догнала поднятая ветром пыль, поползли наверх, и когда забрались на гребень, то увидели над кустами ольховника все Осташково от края до края, беспорядок лиловых в зелени изб, плетней и огородов, наполовину серых, где убрали уже картошку, реку с тихой водой и у камышей лодку (видно, дед Евлампий выгреб на утреннюю поклевку), а слева, почти на краю деревни меж трех берез, заметен был высокий недостроенный дом, стропилами упершийся в небо.

— Надо будет шиферу все ж тебе выписать,— сказал неожиданно Матвей Мокеевич,— да пособить чем, может, бригаду Бондарева прислать, хорошие у него мастера, чтоб к зиме переехал в новый дом. Говорят, и ванну собираешься ставить?

— Собирался.

— Поставишь. А построишься, на новоселье не забудь пригласить. Мы твой опыт распространять будем. Только не с корытами.— Председатель звучно засмеялся, так что побагровела до затылка шея и «газик» закачался, будто на ухабах.

Его смех подхватил Семен, хохотал звонко, широко раскрыв рот, а на груди беззвучно, кусая губы, смеялась и плакала Настя.

ВЛАДИМИР
РЕЦЕПТЕР



☆☆☆

Этот вытертый плед довоенных времен
всю дорогу таскался за нами.
Как на карте, видны расстоянья на нем,
а бахромка сплелась с временами.
Подстилать, укрываться и гладить на нем,
а еще — заворачивать кашу,
чтобы вечером нас ожидала с теплом,
всю семью уцелевшую нашу.
Что еще унаследовал я у отца
и у матери!.. Только ли кровью
все исчерпано!.. Видишь, и эта пыльца
щиплет ноздри и пахнет любовью...
Вещи — вещего смысла живые гонцы,
переносчики честных заветов.
Было время, и бедность вела в гордецы,
а не переизбыток предметов.
То, что я навсегда перенял у родных,
не искало ни льгот, ни ранжира,
никаких не имело границ племенных,
но касалось страны или мира...

Отец

1.

Был отпуск отцовский короткий,
и вот он явился домой
в «бзу» от петлиц до обмоток,
что сделаешь — нестроевой.
Устал, но хватило запала
на улицу вывести нас.
И мама, как лучик, сияла,
и я, как фонарик, не гас.
По улице стоптанной шли мы
и к скверу хотели свернуть,
но рок, патрулем исполнимый,
прервал наш торжественный путь.
Надраен, начищен, наглажен
верховный его грамотей,
а папа совсем не прилажен
к изношенной форме своей.
Бумагу читает патрульный,
а руки по швам у отца.
А день, отпусковой и разгульный,
ужасного ищет конца.

Тот чистит его и разносит,
а папа стоит и молчит,
лишь глазом затравленным косит
туда, где семейство стоит...

2.

Что сказать о моем отце!
О его дорогом лице,
напряженном таком и ясном!
Мало спал он и плохо ел,
восемь лет тяжело болел:
мир казался ему опасным.
Он подкрадывался к окну,
слушал страшную тишину:
не за ним ли пришел вот этот!
Руки стискивал и стонал,
на кого же нас оставлял!..
«Это самый жестокий метод!..
А когда-то, а до войны
в кавалерии брал чины,
ждал, что кубики сменит шпалой...
Комучилища был непрост:
свой платочек — коню под хвост:
чисто ль чищен жеребчик шалый!
Жизнь катила, как на парад.
Мать — в редакцию, я — в детсад;
коммуналка на Коминтерна.
Море плещет в одесский мол,
а отец нас гулять повел,
все оглядывались, наверно...
Тут и просится слово «вдруг»,
И отбилась судьба от рук,
штормовая пришла погода
и приперла отца к стене,
мол, несчастье твоё — в жене,
откажись во имя народа.
Выше страха, кто так влюблен.
Он стоял поперек времен
и не продал ее, не предал.
Что карьера! Коню под хвост.
Но солдат не оставил пост
и смертельный озноб изведаль.
Скоро мама пришла домой...
И с тех пор за ее спиной
стало как-то отца не видно.
То ли сник он, то ли зачах.
Годен в нестроевых частях —
руки стискивает — как стыдно!..
Я его не ценил. А жаль.
Вышла все же ему медаль
драгоценная — «За Победу».
И еще — «За доблестный труд».
«Юбилейная» — тоже тут.
Достаю и иду по следу...
Что сказать о моем отце!
О его дорогом лице!..
Из больницы пришел, спасенный.
Каждой малости был он рад,
и сиял его честный взгляд,
вечно к матери устремленный.
Беды схлынули. Схлынул бред.
Тут и счастье на склоне лет:
пенсионный почет измерьте!..
Тут и сын, тут и внук подросток.
Сколько радости!.. Сколько слез!..
Так и жил до маминной смерти.

3.

Когда скончался мой отец,
улав о матери терзаться,
мне перешел седой венец:
стать им и так именоваться.
Теперь, оборотясь лицом
к судьбе, как будто на картине,
я становлюсь слепым отцом,
который мучится о сыне.

☆☆☆

Открыта дверь, но тьма угрюма,
как только выйдешь на порог
при всей космичности костюма,
которым ты не пренебрег.
Он защитил, благообразный,
тебя и друга твоего,
и так похож на водолазный,
что бездны чувствуют родство.
Подводный мир и мир межзвездный
на наш не посягают дом,
и встреча будет грандиозной,
в каком костюме ни войдем.
Какая невидаль витает
в необозримой вышине!
Что наблюдатель угадает,
с тобою встретишься, обо мне!
Я не спешу в большие споры
и заклинаний не твержу.
Но я держу твои опоры
и общим замыслом служу.
Следи за мной, мой брат известный,
мой современник, мой земляк!
Ты слышишь этот гром небесный!
Ты понял мой охранный знак!..

Коллаж

На медленных стихах пересекаю время,
пересекаю век на медленных крылах.
На бешеных губах звенит труба в Гарлеме,
и витебский скрипач ныряет в облаках.
Прижав горячий лоб к чужому полушарью,
тень «Дугласа» веду сквозь Тихий океан.
Там Бонапарт погиб
в борьбе с дрожащей тварью,
а здесь разносит джус унылый Тамерлан.
И золотится яд в непрошеном стакане,
и в золотом луче внизу скользит дельфин;
от двух материков летят слова прощаний,
и грешного отца не ищет блудный сын.
Просторное крыло нависло над простором,
и плещет в светофильтр кружной километраж.
А Питер и Ташкент — по борту, перед взором,
а скрипка и зурна — чтоб завершить коллаж.
На медленных крылах пересекаю время.
Наш век преодолим, как мир или война.
Погибну ли, как все, иль выживу со всеми —
на медленных стихах плыву сквозь времена...

Менестрели

Мы опять явились в замок, менестрели,
неоконченный продолжили турнир,
мы опять зарокотали и запели
и по-своему озвучили весь мир.

Мы — ремесленники. Рады ли, не рады,
но и радостью и ужасом дыша,
ищем правду, только правду, кроме правды,
мы у жизни не взыскуем ни гроша.

Соревнуясь, оглашаем нашу повесть:
кто — короткую, кто — длинную главу,
нашу музыку мы пробуем на совесть
и рифмуем с тем, что видим наяву.

Ну а если показалось нам, приснилось
то, чего встречать не довелось,
значит, будущее, словно божья милость,
нас избрало, к нам во сне подобралось.

Ну а если кто-нибудь из-за успеха
поступается и лютней и лицом,
то, от музыки отринутый и цеха,
он скитается изгоем и лжецом.

Мы ко времени пришли по бездорожью,
задыхаясь от любви и нелюбви.
Только ложью мы не пользуемся. Ложью
мы не пользуемся. Нет ее в крови.

☆☆☆

Поднимем занавес, пускай они войдут,
пускай осмотрят закулисы;
представят, может быть, как мы искали тут
медвежье, волчье, птичье, лисье;

как человеческого на все хватало нам,
и возраст не имел значенья;
как режиссер в угоду временам
менял свое благоволение;

пускай надышатся тем, что пьянило нас,
и вслушаются в пыльный шорох.
Никто не станет им навязывать рассказ
о наших черных коридорах...

А мы под занавес уйдем в последний ряд
и там застрянем до финала.
Пусть наши зрители о нас поговорят,
как будто нас уже не стало...

☆☆☆

Мы, актеры, — что кони:
повезет — повезет!
А заменят в прогоне, —
мы железку грызем.
Ждем забега, как манны,
и — покуда без дел —
наши взоры туманны,
словно жизни предел.

Что набитое брюхо,
раз недвижна земля!
Там и празднество духа,
где берут в шенкеля!
Пусть наездникам прибыль,
нам — цветочный венец!..
Застоявшимся — гибель.
Запаленным — конец.

Ваша правда, коллега,
мы живем в табуне.
Вся любовь — для забега
при хлысте и ремне!
Мы, актеры, — что кони, —
грузовым не чета!..
Сахарок на ладони
и аллюр три креста!..

г. Ленинград.



АРКАДИЙ
АРКАНОВ

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НЕ НАУЧНАЯ
ФАНТАСТИКА



помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом.

Редакция размещалась в бывшей людской особняка графа Ефтимьева. Сразу после революции сюда завезли двадцать кроватей и организовали госпиталь для раненых. Когда окончилась гражданская война и раненых стало значительно меньше, кровати вывезли.

Несколько лет помещение пустовало, находясь в опечатанном состоянии, после чего превратилось в детский сад, тем более что население города Мухославска к тому времени заметно увеличилось. Тогда-то в подсобке была установлена обыкновенная плита, которую после ввода в эксплуатацию знаменитого газопровода «Саратов — Москва» заменили на газовую, что в конце концов и сыграло роковую роль в жизни редакции журнала «Поле-полюшко». Но об этом позже.

Причина, по которой в помещении редакции частенько пахло газом, была экономически объективной. Город Мухославск славился на всю страну своей спичечной фабрикой. В Оймяконе, в Благовещенске, в Термезе, в Мукачево, в Сингапуре, на Островах Зеленого Мыса, в освобожденной Анголе и даже в спецмагазине для сотрудников советского посольства в Вашингтоне можно было встретить знаменитые мухославские спички. Поэтому в самом Мухославске они являлись предметом повышенного спроса, или, в новейшем определении, дефицитом. Кроме того, химзавод имени Таблицы Менделеева выпускал яды-пшикалки против тараканов, клопов, муравьев, мышей, крыс, волков и экспортировал их в Австралию, где ими травил неумоно размножавшихся кроликов. Яды-пшикалки обладали резко специфическим запахом, что делало их пригодными в качестве дезодорантов. По известным причинам яды-пшикалки-дезодоранты тоже являлись предметом повышенного спроса, и достать их не было никакой возможности.

Казалось бы, что общего между запахом газа в редакции журнала «Поле-полюшко», спичками и ядами-пшикалками-дезодорантами? А вот что. Журнал «Поле-полюшко», как и любой уважающий себя журнал, имел туалет, в котором, естественно, отсутствовал дезодорант. Дезодорирующий эффект производил едкий дым от зажженного факела из неподошедших рукописей. Но дело в том, что в силу спичечного дефицита редакционная

Рисунки
А. Сальникова

Журнальный вариант.

коробка хранилась у вахтерши Ани, которая, чтобы ее всякий раз не тревожили сотрудники, каждый день в десять часов утра зажигала газовую горелку. И стоило войти в помещение редакции какому-нибудь сотруднику или просто, не дай бог, автору, как возникавший сию же минуту сквозняк задувал пламя горелки, после чего вахтерша Аня, чужа запах газа, шла в подсобку и снова зажигала горелку, ворча при этом по обыкновению: «Вот ужэ взорвемся в од-ночасье».

II

Алеко Никитич сидит в своем кресле, откинувшись на спинку, заложив левую руку за голову, вытянув ноги, и делает сквозь зубы «с-с-с», что означает: ничего, все нормально. Все так, как и должно быть. Журнал выходит, тираж растет, нареканий нет. Индей Гордеевич на месте. Дамменлибен услужлив. Внучке третий годик. Хорошая девочка. Машенька. Рыженькая. Стоит дедушке прийти с работы, как она забирается к нему на колени и щекочет нежными ручонками его лысую голову. С-с-с. Алеко Никитич проводит правой рукой по своей лысой голове. Зря только Поля вышла за скрипача. Он, конечно, парень нормальный, но что это за профессия? Ведь не Ойстрах же. Не Ойстрах. Хотя внучка прелестная. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Алеко Никитич снимает телефонную трубку.

— Рапсод Мургабович? Здравствуй, дорогой! Тут к тебе дама одна подойдет. Дочь бывшего однополчанина. От меня. Пару баночек икорки сделай. Спасибо, дорогой. Что там у тебя интересного есть? Финский? Оставь пару батончиков. Глория моя обожает. Спасибо, дорогой. Слушай, Рапсод Мургабович, может, с очерком у нас выступишь, а? Воспеть работника прилавка. По-моему, самое время. Поможем. Я к тебе Сверщевского пришлю.

Алеко Никитич кладет трубку. С-с-с. Дочь однополчанина. Рапсод Мургабович прекрасно знает, что Поля — моя дочь. Соблюдение норм. Но Машеньке необходимы витамины. Алеко Никитич смотрит в окно. Жаркий будет день. Жаркий. Он видит, как люди перебегают с одной стороны улицы на другую под самым носом машин. И он думает: они так торопятся на ту сторону, словно на той стороне их ждет совершенно другая жизнь. С-с-с. Что тебе, Теодор? Это художник Дамменлибен позаязляется в кабинете. Без стука могут сюда входить только заместитель Индей Гордеевич и Дамменлибен. Дамменлибен во время войны был интендантом, и с тех пор страдает категоричностью своих суждений.

— П-п-п-п-при... при... — пытается высказаться Дамменлибен.

— Приветствую, Теодор! Что случилось?

Дамменлибен вдруг перестает заикаться и выпаливает на одном дыхании:

— Слушайте Никитич! Моя жена Нелли прекрасная умная женщина у тещи тромбофлебит отвез ее в больницу Петеньке в классе кто-то наделал в портфель я говорю я ветеран войны по-моему это тема для нашего журнала щенков всюду гадит как вам нравится в римского папу стреляли я не верю что он турок отдохнуть вам надо Никитич вы подписались на «Америку» слушайте одолжите пятерку в кулинарии антрекоты дают бардак вы помните до войны...

Алеко Никитич любит, когда его называют Никитичем.

— Пятерку я вам одолжу, Теодор, но что вы там нарисовали к рассказу Гайского? Почему у лесорубов такие длинные носы?

— Слушайте Никитич! Моя Нелли умная женщина со вкусом вспомните Сойфертиса у меня был командир хохол и ничего мы с ним вчера выпили три пули вынули из папы бардак у нашей Ани по-моему появился мужик что мне трудно укоротить носы слушайте Никитич дайте еще трешку и я вам буду должен девяносто шесть щенков всюду гадит бардак сп-сп-сп-сп... сп-сп-сп-сп...

— Не стоит, Теодор. А носы сократите.

Дамменлибен исчезает. Алеко Никитич слышит за дверью знакомый короткий смешок и томительное шуршание колготок. Это проходит по коридору машинистка Оля. Олечка. Олюшка. Олюля. Входите, Ольга Владимировна. Садитесь. Она садится. Нога на ногу. Вызывающе. Алеко Никитич смотрит в угол кабинета, чтобы не видеть Олиных колготок. Ух, Оля! Как дела, Ольга Владимировна? Алеко Никитич закрывает дверь кабинета на ключ. Как дела, Ольга Владимировна? Она очень похожа на его первую жену Симу. Как он любил Симу! У нее были такие же прямые волосы, такие же мягкие.

Но не входит в кабинет Оля, Олечка, Олюша, так напоминающая Симу, Симочку, Симулю. Это все грезится Алеко Никитичу, все мечтается. И он стучит кулаком по своей лысой голозе, пытаясь отогнать охватившие его воспоминания... Ах, Сима, Симочка!.. Лань моя трепетная! Женщина моя единственная! Где твои губы терпкие, рябина-ракита моя стройная!.. Угроздило же отца ее, врача, в свое время сделаться «убийцей в белом халате»... Тогда-то и посоветовали Алеко Никитичу серьезные люди порвать с Симой, Симочкой, потому как не к лицу ему, человеку нужному и полезному, добровольно себя компрометировать... И не поняла она, что не предал, не бросил ее Алеко, а поступил по разумной необходимости. А напрасно не поняла...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, и воспоминания понемногу отпускают его. Он опять снимает телефонную трубку. Глория? Обедать сегодня со всеми не пойду. Жди дома. Он вешает трубку. Хорошо, что Глория все понимает. Мудрая женщина. С-с-с.

...Стрелка часов медленно подбирается к часу дня.

С-с-с. Глория уже все приготовила. С-с-с. Машенька с няней гуляет. С-с-с... Пора идти...

И в этот момент открывается дверь и входит незнакомец. Молодой человек, коротко стриженный, с голубыми навывкате глазами, непонятного для Алеко Никитича социального происхождения. Не то рабочий, не то футболист, не то учитель. И держит в руках тетрадь в черной кожаной обложке. И Алеко Никитичу беспричинно становится неприятно, будто в его жизнь, в его тело вползает что-то чуждое, неудобное и холодное. Почему этот тип вошел без стука? И что это за тетрадь держит он в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Есть Зверцев, есть консультанты.

— Кто вы? — спрашивает Алеко Никитич как можно строже. — Почему без стука? Что у вас в руках? Рукопись? Я рукописи не читаю. Для этого есть отдел прозы. Вы у Зверцева были?

— Зверцев правит Сартра, — бесстрастно произносит незнакомец автор и, сделав два шага, кладет рукопись на стол. А потом добавляет многозначительно: — Вам должно подойти.

Алеко Никитич повидал много авторов. Присылали по почте с большими сопроводительными письмами, с подробным описанием жизни, с перечисле-

нием наград, прежних публикаций и, главное, увечий. Передавали через жен и знакомых с просьбами отнестись повнимательной, намекали на ответные услуги в случае публикации, наконец, впрямую пытались всучить взятки — от трехзвездочного армянского коньяка до очереди на мебельный гарнитур. Беспощадный сатирик Гайский даже соблазнял девочками, которых у него, по его же словам, больше, чем у американского певца Джексона. Но такую безапелляционность Алеко Никитич встречал впервые.

— Минуточку, — говорит он, — но вы хоть зарегистрировали вашу рукопись у Зверцева?

— Зверцев правит Сартра, — по-прежнему бесстрастно отвечает автор.

Алеко Никитич звонит Зверцеву.

— Я правлю Сартра, — заявляет тот. — Хочу сегодня вечером отдать на машинку Оле.

Алеко Никитич думает про диалектику и про Сартра, прошедшего славный путь от служителя сомнительного течения, именуемого экзистенциализмом, до выдающегося деятеля французской и мировой культуры, которого сегодня правит Зверцев — заведующий отделом прозы мухославского журнала «Поле-полюшко». Время движется, безусловно, движется. Только куда? Алеко Никитич хочет сказать автору, что «Поле-полюшко» — серьезный журнал, а не мусорная яма, и что автор еще слишком молод и зелен, и что надо вести себя поскромнее... Но, к удивлению Алеко Никитича, автора уже нет. Он исчез, и Алеко Никитич не заметил как... Алеко Никитич машинально раскрывает тетрадь в черном кожаном переплете и читает на первой странице:

«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом. Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударило в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в покоях мадранта иллюзия разговаривающего по ту сторону вишневых штор кровазого зарева...»

— Не про производство, — вслух произносит Алеко Никитич и бросает тетрадь в портфель.

Он закрывает форточку, надевает макинтош, запирает дверь, отдает ключ от кабинета вахтерше Ане и направляется в сторону дома.

III

Беспощадный сатирик Аркан Гайский катастрофически начал лысеть еще в седьмом классе средней школы, что явилось предметом насмешек и колкостей со стороны соучеников и соучениц. Шушукались, поговаривали о причинах столь прогрессирующего облысения, но конкретно никто ничего не знал. Параллельно у Гайского стал уменьшаться нос, и это тоже подбавило дров в костер предположений и догадок. Развившийся комплекс неполноценности предопределил дальнейшее вступление на стезю беспощадной сатиры, к чему уже тогда имелись выраженные способности.

— Лысый! Лысый! Живет с крысой! — говорили ему друзья.

— На себя посмотри! — парировал беспощадный сатирик.

— На экскурсию — по два рубля с носа! — объявлял староста. — С Гайского — полтинник.

— На себя посмотри! — приговождал Гайский.

Постепенно он пришел к выводу, что окружающие его не очень любят. Надо сказать, это не было ошибочным выводом. Но жить в таких условиях не столь уж приятно, и вскоре Аркан Гайский вывел для себя удобную формулу: не любят, потому что завидуют.

Беспощадным его прозвали за то, что в своем творчестве он не щадил никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. Особенно он ненавидел недостатки и пережитки. Когда в Мухославске повысились цены на кофе, он на одном из вечеров позволил себе рискованную шутку, рассказав такую байку: «У попа была собака, он ее любил. Она съела банку кофе — он ее убил».

Забредший после длительного заседания на его вечер председатель мухославского исполкома спросил у своего заместителя: «Откуда взялось это чуело?» Заместитель пожал плечами, но фраза, произнесенная председателем, не прошла для Гайского бесследно. До конца жизни он так и не смог стать членом мухославского отделения Союза писателей, хотя кого туда только не приняли: и Бестиева, и публициста Вовца, и поэта Колбаско.

«Завидуют, — повторял Гайский. — Все завидуют!»

— Написать «Войну и мир» просто, — говорил он публицисту Вовцу, который за сто пятьдесят граммов мог слушать Гайского часами, а еще за сто пятьдесят граммов во всем был с ним согласен. — А ты попробуй вскрой, когда тебя душат...

Гайский был многогранен. Он не только читал свои рассказы и фельетоны, но и, приплясывая, пел частушки собственного приготовления.

Его ценили мухославцы и ходили на него, как на женщину с бородой. По-настоящему дружил с ним художник Дамменлибен, которому Гайский всегда одалживал деньги, со вздохом, но одалживал, а Дамменлибен за это охотно иллюстрировал сатирические рассказы Гайского, которые тот килограммами приносил в журнал «Поле-полюшко». Дело было вот в чем: если Дамменлибен брался иллюстрировать чей-нибудь рассказ, то, что бы ни происходило, рассказ всегда появлялся. Порой наполовину сокращенный, порой оставались две строчки, порой выходила одна только иллюстрация Дамменлибена, но все-таки выходила, потому что Дамменлибен пользовался у Алеко Никитича любовью и заслуженным авторитетом талантливого художника, так как интересовался здоровьем Глории и согласен был с Алеко Никитичем, что Поля могла найти себе человека поинтереснее, чем скрипач из мухославского драмтеатра.

Была у беспощадного сатирика Гайского еще одна уже упомянутая страсть — девочки. Так он называл всех особ противоположного пола независимо от возраста. Период активной ловли девочек делился у Аркана Гайского на два больших отрезка: ловля на купальник и ловля на совместную жизнь.

Ловля на купальник началась в тот золотой для предприимчивых людей период, когда наша легкая промышленность, освоив производство черных семейных трусов, еще не предполагала, что такое купальник. Собственно говоря, этот золотой период по-настоящему не кончился и сегодня. С вводом же в эксплуатацию мухославского водохранилища вопрос купальников для местных женщин встал ребром. Тогда-то, будучи в Москве на экскурсии, Аркан Гайский и отхватил в магазине «Ванда» польский купальник с бабочками за 18 рублей 50 копеек. Изначально купальник предназначался незамужней тогда дочери Алеко Никитича, за которой Гайский в то время ухаживал, но когда, возвратив-

шись из Москвы, беспощадный поклонник узнал, что Поля предпочла гневному перу сатирика смывок скрипача, вопрос с подношением отпал, и купальник с бабочками стал дожидаться лучших времен. Однажды, пригласив в гости к себе под видом чтения бессмертных произведений доверчивую лаборантку с химзавода, Гайский начал ее бессовестно домогаться, пытаясь поцеловать в ушко. В ответ на это доверчивая, но гордая лаборантка, читавшая известное изречение из «Мудрых мыслей»: «Умри, но не давай поцелуя без любви», заявила сатирику, что за поцелуй без спроса полагается «подщечина». Тут потерявший, видимо, рассудок Гайский и выложил перед ней купальник с бабочками, высказав предположение, что эта вещь должна быть лаборантке к лицу. Доверчивая, но по-прежнему гордая девушка попросила мужчину удалиться и начала примерку. Последователь Гоголя удалился в соседнюю комнату, но в течение всего процесса примерки кричал сквозь неплотно закрытую дверь: «К лицу! К лицу! Ой, как к лицу!» Гордой, но доверчивой девушке купальник понравился настолько, что она даже не стала его снимать, а, наоборот, надев платье, принялась собираться домой, мотивируя свой уход поздним временем и ранним вставанием на работу. Но здесь разгоряченный щедринец проявил твердость и потребовал немедленно снять купальник, так как делать подарки без взаимности он не намерен, потому что вещь дорогая, итаलो-французская и стоит двести рублей. Лаборантка вспыхнула, сорвала с себя купальник и, перейдя на «вы», желчно сказала перед уходом: «Эх, вы! Правильно про вас говорят!»

И тут Гайскому пришла счастливая мысль. С этого момента каждой девочке, которую он приглашал в гости, после чтения рассказов и рассуждений о тяжелой доле сатирика предлагался купальник. Во время примерки, как бы невзначай, в комнате появлялся пылкий ученик Зоценко в плавках с золотой рыбкой и предлагал свои отношения. В случае, если купальник подходил — а он подходил всем, так как был безразмерным, — у любительницы сатирической литературы имелись два выхода: либо забрать подарок себе, поверив в любовь с первого взгляда, либо заплатить двести рублей. Но фатально, что оба выхода оказывались неприемлемыми, и купальник с бабочками оставался у хозяина, а хозяин после этого час остывал под холодным душем, повторяя в сердцах: «Завидуют! Все завидуют!»

И вот однажды Аркан Гайский уговорил на литературный вечер вполне интеллигентную тразести из детского театра и с шестым номером бюста. Убедив ее в безысходной доле сатирика и угостив рюмкой портвейна с конфетой «Южная ночь» в синей обертке, Гайский разложил перед ней купальник.

— Бери! — немедленно сказала интеллигентная тразести и бросила купальник в сумочку.

Гайский, непонятно каким образом оказавшись в плавках с золотой рыбкой, сразу же стал прыгать на нее, пытаясь достать заветное ушко. Но интеллигентная тразести оттолкнула его в солнечное сплетение со словами: «Не сегодня, дурашка!»

— Берете или не берете? — спросил Гайский, поднимаясь с пола.

— Бери! — ответила Гавроси.

— Двести! — сухо произнес писатель.

— Бери! — повторила Красная Шапочка.

— Чеками! — уточнил сатирик. — Это память от мамы.

Выложив четыреста рублей своими деньгами из расчета один к двум за чек, обладательница ку-

пальника предложила корбейкину посетить мухославский вечерний ресторан, обмыть покупку, воскресив тем самым угасшую было в Гайском надежду на продолжение. Но в ресторане выяснилось, что Дюймовочка пьет, как лошадь, да вдобавок к ним за столик подседа ватерпольная команда спичечной фабрики, семеро из которой оказались друзьями девочки. Гайскому это суаре обошлось в четыреста семьдесят шесть рублей, не считая битой посуды и оскорблений в его адрес. Так закончился для него период ловли на купальник, который плавно перешел в период ловли на совместную жизнь. Но этот период остался для беспощадного сатирика незавершенным, чему тоже были соответствующие причины.

IV

Вечером того дня, когда незнакомый автор всучил Алеко Никитичу тетрадь в черном кожаном переплете, Аркан Гайский ужинал с машинисткой Олей, ловя ее на совместную жизнь. Ужин происходил в недорогом, а потому любимом Гайским кафе неподалеку от редакции. Неожиданно за столом возник художник Дамменлибен.

— Зд-д-д-о... — начал здороваться Дамменлибен.

— Здравствуй, Теодор, — скучно сказал Гайский, прекрасно понимая, чем все кончится.

— Бардак, — преодолел робость Дамменлибен, — ты Нелли знаешь она умная женщина тещу перевез на дачу бардак здорово Олюха дома все нормально? Аркуля как тебе нравится с работой зашиваюсь дай мне еще пятерку и я тебе буду должен шестьдесят девять для ровного счета щенок всюду гадит бардак здорово Олюха...

— Теодор, ты мой рассказ проиллюстрировал?

Дамменлибен сунул пятерку в карман:

— Мебель подорожала бардак ты мою Нелли знаешь тебе надо жениться здорово Олюха от тебя тот альфонс отстал? Пе-пе-пе-пе-редвигается твой рассказ Алеко звонил юбилейный номер готовится бардак щенок всюду гадит у него рукопись лежит из самотека пацан какой-то принес с голубыми глазами Глории нравится здорово Олюха к тебе этот автор не заходил?

— Нет, — ответила Оля, — я весь день печатала очерк Свершценского об истории Мухославска. В юбилейный номер.

— Молодой с голубыми глазами, — продолжал Дамменлибен, — ни фамилии ни адреса турки совсем обнаглели в папу стреляют бардак я у тебя пятерку взял? Петеньке в портфель наложили здорово Олюха мистика про какого-то мад-д-д-д-ранта...

— Про мадранта? — оживился Гайский. — Если это тот парень, с которым меня хотели познакомить в Москве, то он сын очень крупного человека... Мне давали читать... Я сказал тогда, что гениально, но на самом деле муть. Скуища и никакой сатиры... Бред под Маркеса... Но чей-то сынок... Скажи Алеко Никитичу.

— Если пойдет буду иллюстрировать а чей сын помнишь уж ты мою Нелли знаешь...

— Чей не сказали, но кого-то оттуда... Чувь собачья. Прозу любой может писать, а ты попробуй вскрой, когда душат!..

— Расскажите лучше анекдот, Аркан Гарьевич, — попросила Оля и погладила Гайского по плечу.

Гайский расценил этот жест как аванс, количество адреналина в его крови резко возросло, и он

заверещал голосом кукольного Петрушки, входя в образ героев анекдота:

— Однажды один англичанин решил показать другому англичанину свой замок. «Вот здесь,— говорит,— живет моя прислуга. Здесь я принимаю гостей. Это моя столовая, это мой кабинет, это моя спальня...» Открывает он дверь в спальню и видит, что рядом с его женой спит незнакомый мужчина... «А это,— говорит,— моя жена». «А рядом кто?» — спрашивает другой англичанин. «А рядом — я».

Оля дробно захохотала, и Гайский, воспользовавшись этим, поцеловал ей руку.

Теодор Дамменлибен мутно посмотрел на Гайского, пытаясь осмыслить услышанное. Затем, бросив это бесполезное занятие, обратился к сатирику:

— Я у тебя пятерку взял? Бардак здорово Олюха смешно слушай Аркуля возьми мне сто грамм ка-ка-ка-ка...

— Имей совесть, Теодор,— почти вышел из себя Гайский.— Я тебе дал пятерку.

— А т-т-т-ы-ы мне ее дал? — искренне удивился Дамменлибен.— Бардак щенок всюду гадит пойдут Никитичу позвоню здорово Оля ах да я с тобой здоровался...

И Дамменлибен оставил их в покое.

— Не хотите прогуляться по воздуху, Ольга Владимировна? — сказал Гайский.— Могу пригласить к себе. Я написал новый рассказ «Архимед и зана». О недостатках водоснабжения. Если напечатать, кому-то не поздоровится.

— Мне завтра к девяти в редакцию, Аркан Гарьевич,— мягко отказала Оля.— В другой раз, хорошо?

Аркан Гарьевич потупился:

— У меня к вам серьезные намерения, Ольга Владимировна. Мы с вами две половинки одного сосуда, именуемого счастьем. Нас бросает в океане пошлости и некоммуникабельности и прибывает совсем не к тем берегам, к которым бы нам хотелось. Пойдемте ко мне, Ольга Владимировна, я вам почитаю. У меня дома есть портвейн и кое-что сладенькое. Вы не представляете, как трудно заниматься сатирой. Все завидуют. Все...

Ольга Владимировна вздохнула.

— Вы знаете, кто такой зануда? Это человек, которому легче уступить, чем отказать...

V

Алеко Никитич входит в лифт в восьмом часу вечера и нажимает кнопку шестого этажа. В портфеле у него материал Сверхценского об истории города Мухославска, который сегодня вечером он должен прочитать и внести необходимую правку, а в голове — мысли о юбилейном номере. Уж так нехоти накладывается одно на другое: и семь лет со дня основания журнала, и тысяча двести лет Мухославска, и годовщина с того знаменательного дня, когда Мухославск стал побратимом австралийского города Фанберры. Да еще в порядке того же панибратства и культурного обмена приезжает редактор фанберрского журнала «Диалог» господин Бедейкер, которого надо будет принять и носиться с ним на высоком уровне. В общем, дел невпроворот.

Он входит в квартиру и застаёт Глорию за своим рабочим столом. Включена настольная лампа. На Глории очки, и это свидетельствует о том, что она читает. На ее коленях дремлет палевый коккер-спаниель Дантон. Алеко Никитич снимает макинтош, влезает в домашние тапочки и подходит

к Глории. Она предостерегающе поднимает правую руку: мол, не мешай, подожди минутку, я занята. Алеко Никитич наносит ей поцелуй в затылок и видит, что Глория читает ту самую тетрадку в черном кожаном переплете, которую еще днем он вынул из портфеля и оставил дома.

— Это поразительно интересно,— говорит она, продолжая чтение,— так неожиданно, так свежо, так необычно...

Глория уже несколько лет не работает, но зато занимается активной общественной деятельностью в городском Клубе любителей друзей человека, являясь вице-президентом.

— Где Машенька? — спрашивает Алеко Никитич. — Машеньку Полина купает,— отвечает Глория,— а у Леонида спектакль.

Чувство неприязни к Леониду возникает под ложечкой Алеко Никитича, но он давит это чувство.

— Мне нужен стол,— говорит он.

— Алик, кто этот человек? — спрашивает Глория.

— А черт его знает. Ворвался в кабинет, минуя Зверцева. Положил передо мной тетрадку и заявил, что Зверцев правит Сартра... Вообще производит впечатление не совсем нормального. Глаза странные какие-то. Но самое интересное, что, когда я позвонил Зверцеву, оказалось, никто к нему не обращался, но он действительно в этот момент правил Сартра.

— У вас идет Сартр? — удивляется Глория.

— Да ни слухом, ни духом! Вам что, говорю, Зверцев, делать нечего, как только Сартра править? И знаешь, что он ответил? Что ему сегодня принесли перевод неизвестной работы Сартра, и он решил его немного поправить и предложить в журнал. Глупость какая-то.

— Сартр — это, разумеется, ваше внутреннее дело,— говорит Глория,— но этот парень,— она указывает на тетрадь,— достоин внимания. Ты только послушай! — Она начинает читать с выражением:

«Мадрант похрапывал, распластавшись под пурпурным покрывалом...»

— Да, я просматривал,— пытается отмахнуться Алеко Никитич.

— Нет, ты послушай внимательно! — настаивает Глория.— Какая аллитерация! В одном только первом абзаце двадцать пять «р». Это создает напряжение и внушает власть! — И Глория продолжает:

«Поднявшееся над морем солнце бледно-шафрановыми лучами ударило в плотные вишневые шторы, скрывавшие мадранта от окружающего мира и охранявшие его ночной сон. И чем выше отрывалось от моря светило, тем ярче возникала в полях мадранта иллюзия разговаривающего по ту сторону вишневых штор кровавого зарева.

Четыре фиолетовых арбака методично и плавно обмахивали мадранта благовонными опахалами. И когда мадрант ощущал кожей лба или щек легкое приятное дуновение воздуха, он понимал, что проснулся и что наступило утро. Очередное утро мадранта, утро ревзодов, утро этих фиолетовых арбаков, утро его народа и всей данной ему небом страны.

Иногда мадрант просыпался ночью. То ли от чрескур назойливой мухи, что было явным упущением со стороны арбаков, то ли от слишком сильного дуновения, вызванного опахалами, что тоже

являлось оплошностью арбаков, то ли от тяжелого сновидения... Но, независимо от причины, сам факт ночного пробуждения мадранта означал смертный приговор всем четырем арбакам, которых утром наступившего дня бросали на съедение священным куймонам, чтобы не тратить на эту фиолетовую пададь драгоценный свинец, не тупить о них топоры и сабли, не осквернять их вонючими телами благородные морские воды и не отравлять землю погребением их мерзких останков.

Если ночь проходила спокойно, утром арбаков вводили в темные казематы, обильно кормили пищей, приправленной вкусными, но снотворными специями, после чего они спали до наступления ночи...

Мадрант открыл глаза и сразу почувствовал на себе ненавидящие взгляды четырех пар арбачьих глаз. Он усмехнулся. Он не испытывал к арбакам ответной ненависти. Он их просто презирал.

Мадрант презирал пленных и рабов. Рабов — за их молчаливую, беспрекословную покорность, пленных — за то, что они предпочли рабство ради спасения жизни, потому что цепляться за ту жизнь, которая им предоставлялась, даже не за жизнь, а за существование, могли только животные. Но животные цеплялись за существование неосмысленно, а эти — сознательно. Значит, они хуже животных...

В последний миг перед пленением еще можно было использовать свое оружие против себя.

Но ведь они почему-то не сделали этого...

Можно затем отказаться от пищи и воды...

Но ведь они не отказываются...

Наконец, можно ударить стражника или плюнуть в лицо какому-нибудь ревзоду...

Но ведь они не ударяют и не плюют.

Значит, они цепляются за то, что никак нельзя назвать жизнью, и надеются на то, на что уже нет и не может быть никакой надежды...

С того момента, как он стал мадрантом, были, правда, выплески... И никогда он не расправлялся с храбрецом, проявившим человеческое начало. Наоборот, и так было всякий раз в случае неповиновения, он собирал на площади эту жалкую толпу, это тупое быдло и возносил до небес непокорного, отдавая дань его смелости и ставя в пример остальному порченому семени.

А потом бунтовщика доставляли на край высоченного обрыва, обрыва Свободы, как нарек его мадрант, и дарили ему последний шанс: он должен был прыгнуть с этой страшной высоты в сверкающее где-то внизу море и либо разбиться о прибрежные камни, либо утонуть, либо стать жертвой акул, которые непонятно почему собирались, как на праздник, под обрывом Свободы в дни подобных экзекуций.

Невелик был последний шанс, но все-таки это был шанс.

И после всего мадрант направлялся к водоему со священными куймонами, и никто не мог слышать, как он просил небо о спасении несчастного гордого одиночки.

Он надеялся, что его молитвы будут услышаны, и это успокаивало его.

Он один хотел, и было только в его власти дать свободу заслужившему ее, но мадрант не мог этого сделать, потому что его бы не поняли, потому что иначе он не был бы мадрантом...

Случались, правда, и раскаяния. Тогда мадрант делал знак рукой, и раскаявшегося отдавали обратно в толпу, после чего до конца дней своих он

оставался самым отвратительным рабом даже среди рабов, и это было закономерной расплатой за раскаяние.

В такие дни мадрант находился в прескверном настроении...

...Мадрант трижды встряхнул колокольчик. Глаза арбаков приняли тревожно-вопросительное выражение, но четвертого звонка не последовало, и это означало, что ночь прошла спокойно и что никаких претензий на сегодня к арбакам нет.

Появились стражники и вывели арбаков из покоев. Тогда мадрант встал и подошел к зеркалу.

Ему шел сорок второй год. Кожа лица и тела была упругой и смуглой, даже первые признаки старения еще не проглядывались.

Он сделал десяток дыхательных упражнений, поиграл немного мускулатурой и, довольный самочувствием, раздернул плотные вишневые шторы, и, когда солнце ударило его по глазам и он чихнул, мадрант окончательно убедился, что наступил новый день.

Два массажиста (не из рабов) тщательнейшим образом довели его тело до нужной кондиции и передали медику, который после соответствующего осмотра и нескольких манипуляций высказал полнейшее удовлетворение состоянием здоровья мадранта, на что мадрант, в свою очередь, выразил озабоченность неудовлетворительным цветом лица медика.

Медик виновато улыбнулся, потом рухнул на колени и, лоя губами руку мадранта, начал заверять его, что он, медик, неизменно себя чувствует и это могут подтвердить все три его жены (ранг приближенного медика позволял ему иметь трех жен), а цвет лица, показавшийся высочайшему мадранту неудовлетворительным, объясняется исключительно образом переупотреблением клубники.

Мадрант вяло выслушал объяснения медика и брезгливо погладил его по лысеющей голове. У него сегодня не было в мыслях отстранять медика, чего тот больше всего и опасался, потому что отстранение от особы мадранта означало изменение ранга и лишало отстраненного многих, если не всех, привилегий.

По сути дела, приближенные мадранта, как более, так и менее, тоже были рабами, но в отличие от подлинных рабов, которые знали, что они рабы, эти считали себя свободными, и мадрант играл с ними в сложившуюся веками игру, иначе он не был бы мадрантом.

Глория смотрит из-под очков на мужа. Алеко Никитич дремлет, сидя на диване, посапывая и причмокивая.

— Ты не спи,— говорит Глория.— Ты слушай!

— Я все слышу,— встряхивается Алеко Никитич.— «Иначе он не был бы мадрантом...»

— Это очень здорово!— восклицает Глория.— «Иначе он не был бы мадрантом!» Там дальше есть длинноты и ряд фривольностей, от которых, конечно же, следует избавиться, но в целом... Ты знаешь, звонил Дамменлибен, я ему выразила свой восторг, он бы мог прекрасно проиллюстрировать...

Алеко Никитич, конечно, доверяет безупречному вкусу Глории, но не любит, когда она открыто вмешивается во внутриредакционные дела.

— А вот это уже лишнее,— замечает он, поднимаясь с дивана.— Ни один человек из редакции, не

говоря уже обо мне, не читал, а ты предлагаешь Дамменлибену...

— Я не предлагаю, Алик. Я просто высказала ему свое мнение...

Из ванной выходит Поля, держа на руках закутанную в махровое полотенце Машеньку.

— А вот и дедушка пришел,— напевает Полина и вручает внучку деду.

Машенька сразу же хватается Алеко Никитича за нос.

— Ты была у Рапсода Мургабовича? — спрашивает он.

— Все взяла. Он тебе кланяется и сказал, что

заглянет в понедельник по поводу статьи... Представляю, что он тебе напишет.

Алеко Никитич любит дочку, но и ей не позволяет влезать во внутриредакционные дела.

— Что надо, то и напишет! — строго произносит он, пытаясь вырвать свой нос из Машенькиной ручки.

Глория несет Машеньку в другую комнату, и они вместе с Полей приступают к укладыванию.

Алеко Никитич садится за стол и располагает перед собой материал Сверхшенского, по которому уже успел пройти рукой мастера Индей Гордеевич.

Статья Сверхшенского «Мы — мухославичи», написанная для журнала «Поле-полюшко» к 1200-летию со дня основания родного города, с правкой и замечаниями Индея Гордеевича с левой стороны и соображениями Алеко Никитича — с правой стороны.

Невелика птица, чтобы начинать с себя!

И. Г.

Опять «Я»!

И. Г.

При чем тут «боли в сердце»?

И. Г.

Почему «мне»? Я тоже был в Фанберре.

И. Г.

М. б., это лишнее? И так в городе много мух!

И. Г.

Не «пришествием», а «рождением»! Мы — атеисты!

И. Г.

Я иду по моему старому, но вечно молодому городу. Неспешно катит свои волны величавая седовласая красавица Славка, что в районе Сокрестья (ныне мухославские Черемушки) принимает в гостеприимные объятия младшую сестру свою — своенравную Муху. Вековые дубы, которые помнят еще и Чингисхана, приветливо шепчут мне: «Здравствуй, человек! Здравствуй, строитель нового!»

А по широкому светлому проспекту Холмогорова спешат к своим рабочим местам улыбчивые и до боли в сердце родные мне мухославичи: люди-труженики, люди-романтики, люди-открыватели. Я иду и думаю: воскресни сейчас, через 1200 лет, кто-нибудь из жителей того древнего Мухославска, он бы не узнал родные места. Неузнаваемо изменился облик города за это время! Гордо раскинула свои корпуса спичечная фабрика — гордость мухославичей! Далеко за пределами страны гремит слава нашего химзавода. В прошлом году мне довелось побывать в далекой Фанберре — городе контрастов. И приятная гордость наполнила сердце, когда на столе мэра Фанберры я увидел знакомый баллон с клеймом родного завода. Простые фанберрцы, узнав, что я из Мухославска, широко улыбались мне и говорили: «Спасибо!»

А от главного проспекта во все стороны, словно молодые побеги от могучего ствола, тянутся старенькие улочки и переулки, названиями своими охраняя память недавнего и далекого прошлого... Давно прошли те времена, многое изменилось... Неизменным остался дух родного города, первые упоминания о котором относятся ко второй половине VIII века. Неизвестный летописец печенегского предводителя Чернилы пишет: «А шатрами стать в той провалине не сподобились, бо комарья да мух славно». «Мух славно»... Быть может, отсюда и пошел Мухославск. Наш земляк — историк Шехтман М. И. считает иначе. В своей монографии «Предвкусная прошлое» он пишет: «Место, на котором стоит Мухославск, до XII века называлось Сучье болото. В XII веке жители занялись пушным-меховым промыслом и разведением сливовых деревьев, и город постепенно стал называться Мехосливском. С течением же времени фонетическая подвижность, свойственная нашему языку, привела к тому, что «е» заменилось на «у», а «и» — на «а»...»

Много испытаний выпало на долю родного города. В XIII веке во время татаро-монгольского нашествия он был сровнен с землей. В смутное время поляки сожгли город дотла. В 1782 году, когда вольнолюбивая Славка вышла из берегов, город был полностью затоплен. Своим третьим и окончательным пришествием мы обязаны русскому купцу Никите Евстафьевичу Холмогорову, который в 1863 году основал здесь железоделательные мастерские (ныне спичечная фабрика).

Сейчас в нашем городе — красавец стадион на 150 000 посадочных мест с сауной и современным реабилитацион-

Согласен с И. Г.
А. Н.

Точнее — «помнят бегство Чингисхана»...
А. Н.

Очень хорошо.
А. Н.

Лучше — «нам довелось». И я был в Фанберре.
А. Н.

Уточнить, за что «спасибо»!
А. Н.

Уточнить век.
А. Н.

Уточнить века и годы.
А. Н.

Правильно — «монголо-татарского», если речь идет об иге.
А. Н.

Согласен.
А. Н.

Вот на таком бы уровне!
А. Н.

ным центром. Каждый восьмой мухославич имеет возможность заниматься любимым спортом, каждый шестой ходит в городской театр музкомедии, каждый пятый пользуется публичной библиотекой им. Глинки, который тоже бывал в нашем городе.

Каждые 12 секунд с конвейера нашей фабрики сходит новенькая спичечная коробка, каждые 10 минут от наших химиков в далекой Австралии гибнет кролик, каждый второй мухославич регистрируется в городском ЗАГСе, а для каждого третьего гостеприимно распахнуты двери больницы, где скромные врачи в белых халатах творят чудеса. В зоне отдыха, что на Мухе, прямо под открытым небом, любят проводить уикэнды мухославичи. Богаты рыбой воды Мухи и Славки. И плотвичка идет на донку, и ершишко нет-нет, да и побалует сердце рыбака. Бежит по проводам электричество — светлый заряд будущего. Я люблю бродить по городу теплым июльским вечером и вдыхать пряный запах аммиака с химзавода, люблю, затаив дыхание, лежать в кустах, любясь влюбленными, когда в памяти сами собой возникают пахучие строки мухославского поэта Колбаско: «Я себя мухославичем числю. Будто связаны пайкой одной. Если ж вдруг я сбежать замыслю, ты держи меня, город родной!»

И в эти славные дни мы рады приветствовать прибывших к нам товарищей; из города-побратима Фанберры во главе с господином Бедейкером и сказать им: «You are welcome to Mukhoslavsk!» Мы рады гостям, у которых добрая воля, но тем, кто приезжает к нам, чтобы выведать, вынюхать, опорочить, мы в любой момент можем сказать: «Go home!» Дубина народного гнева умеет костить, когда понадобится!

И вот я иду по родному городу, затерявшись среди тысяч таких же, как я, влюбленных в свой город, и у всех у нас на лицах светится сегодня одна гордая, счастливая мысль: «Мы — мухославичи!» Впрочем, почему только сегодня! И завтра, и послезавтра, и на века!..

Уточнить цифры!

А. Н.

*Не «врачи»,
а «люди».*

И. Г.

*«Выходные дни».
Американизмы
ни к чему.*

И. Г.

*«Господ»,
а не «товарищей»!*

И. Г.

*Тов. Сверхщеский!
Не надо
отождествлять себя
со всем народом!*

И. Г.

*У Колбаско можно
найти стихи и
посочнее.*

А. Н.

*Лучше — «делегацию».
Приветствовать
«господ» — идеологически неверно.*

А. Н.

Не надо пугать!

А. Н.

В одиннадцатом часу Алеко Никитичу звонит Дамменлибен. После этого Алеко Никитич минут пятнадцать барабанит по столу пальцами С-с-с. Вертит тетрадь в черном переплете, словно определяя ее вес, и набирает номер телефона:

— Индей Гордеевич? Привет, дорогой. Не разбудишь?.. Тут, понимаешь, рукопись принесли... Мне стало известно, что автор — сын кого-то из Москвы... Вот именно... Вообще ничего... славно написано... Есть аллитерации... Время не наше... С таким, знаешь, восточным колоритом... Нет, к Ближнему Востоку отношения не имеет... Сегодня дочитаю... Я думаю, надо позвонить Н. Р. и посоветоваться... Не сейчас, конечно... Завтра отдам Оле распечатать... Думаю, пока ознакомим Зверцева и Сверхщеского... Вот именно... Ну, привет супруге...

Алеко Никитич стучит кулаком по своей лысой голове, пытается прогнать сонного зверька, уже усевшегося на затылке и ласково поглаживающего уши Алеко Никитичу, а потом зовет Глорию. Глория появляется в розовом ночном халате, который Алеко Никитич привез ей из Фанберры, берет тетрадь в черном кожаном переплете и усаживается на диван, закинув ногу на ногу и обнажив еще достаточно стройные и упругие не по возрасту ноги. Дантон устраивается рядом, положив голову на бедро Глории. Одним движением головы она откидывает назад влажные волосы, располагая их на спинке дивана, и начинает читать с того места, на котором остановилась несколько часов назад...

«...иначе он не был бы мадрантом...»

Приняв завтрак, который состоял сегодня из приготовленного на углях куска баранины и чашки то-

низирующего оранжевого миндаго, мадрант проследовал в черный зал, куда обычно вызывал для доклада Первого ревзода.

Первый ревзод никогда не заставлял себя ждать. Небольшого роста, сутуловатый, с маленькими, стреляющими во все стороны глазками ревзод вошел в черный зал, низко склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи (он один имел право не становиться перед мадрантом на колени), и произнес, придавая своему голосу убедительность и искренность, ежеутреннее приветствие, сводившееся к тому, что новый день принес новую толику величия и могущества мадранту и его стране, хотя еще вчера казалось невозможным представить себе более могущественное величие и более величественное могущество.

И хотя за много лет мадрант привык к этому, ставшему ритуальным словесному набору и знал ему истинную цену, он ловил себя на том, что введенное в правило Первым ревзодом приветствие порой доставляет ему, мадранту, определенное удовольствие.

Первый ревзод был мудрым человеком и считал мадранта чистым ребенком, которому вовсе ни к чему углубляться своим высочайшим небесным существом в вонь и грязь внутригосударственной свалки. Мадрант рожден мадрантом и должен оставаться мадрантом,

ревзод — ревзодом,
горожанин — горожанином,
раб — рабом.

Государство существует для мадранта.

Рабы — для того, чтобы мадрант их ненавидел.

Женщины — для того, чтобы мадрант их любил.

Горожане — чтобы размножаться и дарить мадранту новых подданных

Победы — для того, чтобы мадрант стал победителем.

Поражения — для того, чтобы означать начало будущих побед.

Мадрант должен знать то, что делается в стране, а как делается, этим занимается Первый ревзод.

Мадрант должен утверждать то, что ревзод приносит ему на утверждение, и не утверждать то, что, с точки зрения ревзода, утверждению не подлежит. В этом — трудность и мудрость Первого ревзода.

И грош ему цена, если между ним и мадрантом возникает несогласие.

И место тогда Первому ревзоду в водоеме со священными куймонами.

Мадрант приподнял правую бровь, и на лице его возникла еле заметная улыбка, когда Первый ревзод убедительно и доказательно изложил мадранту всю необходимость постройки новой тюрьмы в скале, что возле обрыва Свободы...

Разве увеличилось настолько количество не преданных мадранту горожан, что им стало тесно в старой тюрьме? Разве не лучше использовать усилия и средства, направленные на обеспечение не преданных, для создания заповедной рощи, в которой просторно и приятно могли бы себя чувствовать преданные?

Первый ревзод выдержал паузу, а потом слегка улыбнулся мадранту. («Я понимаю, высочайший мадрант, твои сомнения».) Но разве может увеличиться количество того, чего вообще нет? Преданность горожан, временно или постоянно живущих в старой тюрьме, не вызывает никакого сомнения. Более того, согласно данным опроса вышедших из тюрьмы, приведенным в «Альманахе» Чикиннита Каело, преданность мадранту возросла в два, в три раза, а в отдельных случаях — неимоверно. Этим лишь доказывается известное философское определение, что преданность, как песня, не имеет границ. Сегодня она больше, чем вчера, а завтра будет больше, чем сегодня. Таким образом, приглашая в тюрьмы как можно большее количество безусловно преданных горожан, мы стимулируем дальнейший рост их безграничной преданности, превращая тюрьму, по меткому высказыванию того же Чикиннита Каело, в парники преданности.

Мадрант опустил правую бровь, и улыбка сомнения испарилась.

Первый ревзод вновь склонил голову, предварительно втянув ее в покатые плечи, давая понять всем своим видом, что на сегодня нет больше ничего такого, чем стоило бы обременять драгоценный мозг мадранта.

Но мадрант не торопился отсылать Первого ревзода, а Первый ревзод не сомневался в том, что сейчас последует крайне неприятный для него вопрос, на который ему мучительно не хотелось отвечать, ибо считал он, что сам вопрос не достоин того, чтобы его задавал мадрант, ненормален он для мадранта, а раз так, то содержится в этом вопросе какая-то опасность для мадранта. Не должен он интересоваться этой белокурой тварью с потопленного две недели назад чужеземного судна... Конечно, любого капитана любого фрегата есть за что четвертовать, но уж никак не за то, что он немного позабавился с белокурой тварью, прежде чем доставил ее в город. Не предполагал же он, в самом деле, что на нее засмотрится сам мадрант. И что за проблема? Ну, вспыхнул у мадранта фа-

кел. Это понять можно. Почему бы и нет. Ну, держи ее где-нибудь в клетке на пожарный случай. Конечно, не в женариуме — законные супруги растерзали бы чужеземку. Но не помещать же ее в розовый дворец! И для чего? Чтобы в течение двух недель даже пальцем до нее не дотронуться? А только каждый день спрашивать у Первого ревзода: как она и что она?.. Тогда отдай приказ, высочайший мадрант! Кастрируй Первого ревзода, приставь его евнухом к белокурой. Твоя воля! И дурак четвертованный капитан фрегата! Зачем было тащить ее с собой? Ненормальность. Определенная ненормальность со стороны мадранта. И опасность для него...

И Первый ревзод ответил ему на уровне своей осведомленности и с той почитательностью, с какой положено отвечать мадранту даже на самый неприятный вопрос: вчера вечером Олвис успокоилась, плавала в бассейне, не отказывалась от еды и к вечеру привела себя в порядок, что сделало ее еще более привлекательной. («Мерзкая личинка!») Что еще? Еще она пела что-то на своем языке приятным голосом. («Гадко квакала!») О чем пела? Все предусмотрено, высочайший мадрант. Специально вызванный Чикиннит Каело перевел ее песню, и вот она...

Первый ревзод развернул перед собой лист бумаги...

Лети, моя песня, через океан и разыщи мою прохладную землю... Расскажи, как вонючий туземец насильно сделал со мной то, что невозможно выразить словами...

(«Да, мадрант, я уже издал указ, предписывающий твоим морякам мыться три раза в день...»)

Но пещера моя заколдована, и каждый, кто проникнет в нее, непременно погибнет... Негодяя велел четвертовать его хозяин...

Что дальше? Дальше ряд специфических обращений:

Лети, моя тихая песня, моя серебристая птичка, моя последняя надежда. Я жду...

Это все, мадрант. Я отдал приказ всем службам молчаливого наблюдения выяснить, о какой заколдованной пещере идет речь. Смею думать, мадрант, что изменившееся поведение чужеземной красавицы («Бледнобрюхая акула!») и ее последние слова говорят о том, что она ждет тебя. Больше ей ждать некого...

Мадрант жестом дал понять ревзоду, что беседа окончена, и закрыл глаза...

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн. Ее длинные, соломенного цвета волосы касались воды и при каждом, даже едва уловимом дуновении воздуха приходили в ленивое движение, словно водоросли.

Потрясенная, потерявшаяся в невероятном калейдоскопе последних событий, она постепенно возвращалась к жизни. Не будучи от природы чересчур экзальтированной, воспитанная не в традициях излишнего романтизма, она умела адаптироваться в самых неожиданных ситуациях, когда чувствовала, что это не временная случайность, что это надолго, если не навсегда, что надо принимать окружающее, чтобы продолжать жить, принимать, по возможности, не растворяясь в окружающем, а, наоборот, пытаясь заставить принять это окружающее удобные для нее, для Олвис, формы.

Отправленная с двумя десятками закоренелых убийц на необитаемый остров за потерявший вся-

кое приличие обмен сладкого товара, доставшегося ей при рождении, на деньги, которых она с того же самого рождения была хронически лишена, Олвис очень скоро поняла, что захватившие ее туземцы думают, будто она какая-то чистопородная принцесса и что в ее интересах поддерживать и развивать эту версию. В противном случае она будет перепробована всем мужским населением этого дурацкого острова (или полуострова?), а потом все женское население разорвет ее на части при полном одобрении того же мужского населения. Поэтому она не отвернулась, а с презрением пронаблюдала, как был четвертован тут же, на палубе, этот вонючий, неотесанный капитан, и даже не поблагодарила, как и подобает гордой чистопородной принцессе, туземного вождя за его естественный, с точки зрения принцессы, акт возмездия.

Олвис дремала на низеньком мраморном парапете, окаймлявшем абсолютно изумрудный бассейн, когда неслышно появился мадрант. Он скрестил руки на груди и не мигая смотрел на распластавшееся на парапете, обжигавшее его глаза тело, прикрытое легкой желтой тканью, смотрел и не мог оторваться.

Расслабленные в дреме женские контуры, словно затуманенные также дремавшей желтой легкой тканью, вызвали головокружение своей манящей неконкретностью.

И женариум с полусотней любящих его и воспитанных в духе поклонения красивейших женщин всех пород и мастей утратил привычный смысл, превратился в предмет надоевшей, обременительной ненужности.

Олвис открыла глаза, ощутив почти физическое прикосновение очень властного взгляда, и увидела стоявшего на расстоянии нескольких шагов от нее вождя.

С момента, как она была помещена в этот розовый дворец, вождь навещался ежедневно. Он появлялся неслышно и молча, стоя на почтительном расстоянии, смотрел на нее своими темными, широко расставленными (это, кстати, ей нравилось) глазами. Странная, зеленого цвета, свободная одежда (это ей не нравилось) плохо скрывала атлетическую, с могучими плечами (это ей очень нравилось) фигуру. И каждый раз при его появлении Олвис съеживалась, пытаясь прикрыть чем попало обнаженные участки тела, и начинала пятиться к глубокой нише, где находилось ее ложе, награждая вождя взглядом ненависти и брезгливости, заготовив в груди истерический крик гордой принцессы, если вождь сделает по направлению к ней хотя бы один шаг. Но тот, неподвижно простояв некоторое время, ухмылялся, не проронив слова, не проявляя ни раздражительности, ни удивления, ни злости.

Понимая, что такое однообразие может стать утомительным и вызывать со стороны вождя самую неожиданную и опасную для нее реакцию, Олвис еще накануне решила изменить тактику. Это было довольно рискованно, но известный опыт общения с мужчинами и профессиональное чутье убеждали ее в правильности выбранного решения. Вот почему, когда сегодня, открыв глаза, Олвис увидела стоявшего перед ней в стандартной позе мадранта, она медленно поднялась на ноги и посмотрела прямо в глаза вождю. Лицо ее, оставаясь холодным и безразличным, выражало вместе с тем усталость и полнейший отказ от дальнейшего, совершенно бесполезного сопротивления. Легкая желтая ткань медленно сползала с плеч, обнажая грудь, и Олвис вяло, как бы инстинктивно, сделала попытку удерживать левой рукой ниспадающую материю.

Мадрант не пошевелился.

Что ты хочешь от несчастной, но гордой женщины, вождь, или, как тебя здесь называют,— мадрат?

Не мадрат, а мадрант? Понял...

Что ты хочешь, мадрант, от несчастной, но гордой женщины? Ты захватил ее и держишь в клетке, как птичку. Ты хочешь, чтобы птичка спела тебе любовную песенку и ласкала тебя своими ранеными крылышками? Нет, мадрант! Хотя птичка и в твоей власти и ты можешь делать с ней все, что пожелаешь, ты не услышишь любовные трели, когда прикоснешься к ней своими грубыми руками. Ты услышишь одни хрипы ненависти и стоны боли. Птичка бессильна, но она горда и свободна. Она поет тогда, когда хочет, и ласкает своими крылышками лишь того, кого любит!.. («И за что только меня выслали?»)

Мадрант желает утолить свой звериный голод? Мадранту приелась местная пища? Он хочет сделать это сейчас, при солнце?.. Изволь!..

Что же ты стоишь, мадрант? Чего же ты ждешь?..

Желтая легкая ткань окончательно упала на мраморный парапет и соскользнула в изумрудную воду бассейна, став похожей на большую бесплотную медузу.

Мадрант скорее угадал, чем понял смысл надрывной речи Олвис. Он передернулся и, шагнув к ней, ударил по щеке.

Потому что я — мадрант, а не вонючий четвертованный раб!

Потому что не мне, а судьбе было угодно, чтобы ты оказалась здесь!

Потому что мадрант устал от покорности и раблепия!

Потому что мадрант может полюбить только такое же свободное существо, как и сам мадрант!

Он заметил слезу на горящей щеке Олвис.

Будь проклята рука, которая прикоснулась к тебе и принесла боль!

Будь проклят тот, кто на горе свое увидел, как мадрант поднял руку на беззащитную свободную женщину!

И мадрант вышел из розового дворца.

Через час четверо стражников, охранявших розовый дворец, и два личных телохранителя мадранта, которые могли случайно или не случайно стать свидетелями происшедшей во дворце сцены, были обезглавлены по приказу мадранта без всяких на то объяснений с его стороны.

А на исходе того же дня дворцовый палач Бастии под угрозой быть самому обезглавленным выполнил приказ мадранта и отсек ему правую руку по локоть...

Да, да! Прав Первый ревзод: что-то непонятное происходило с мадрантом, что-то опасное для него. И, видимо, не только для него. Нечто неприятное и холодное возникло где-то глубоко под пеньюю Первого ревзода. А когда перед закатом взглянул он на Священную гору Карраско, которая, по легендам, разгневавшись тысячу лет назад, подвергла пеплу и огню все живое, когда увидел он над ее вершиной причудливо извивавшуюся струйку сероватого дыма, это неприятное и холодное чувство переросло у Первого ревзода в тревогу...

Несколько раз во время чтения Алеко Никитич начинает дремать, и в сознании его возникает путаница, но путаница реальная и какая-то тревожная...

Его настораживает неприятное звуко сочетание «Чикиннит Каело», его пугает однорукий мадрант, его страшит дымящаяся Карраско, а Олвис становится похожей на машинистку Олю... Но каждый раз Алеко Никитич приходит в себя и напряженно слушает голос Глории... Она заканчивает чтение в третьем часу ночи... За это время успел прийти из театра Леонид, и Поля кормила его на кухне ужином, просыпалась Машенька, и Глория высаживала ее на горшок... Глория несколько минут продолжает оставаться на диване под впечатлением прочитанного. Она считает, что журналу нужна такая публикация. Именно такая — небесспорная, притчеобразная... Конечно, кое у кого будут нарекания, но журналу необходима сенсация. Зато Алеко Никитичу сенсация не нужна. Он уже видит холодные глаза Н. Р. Он уже слышит назидательный голос Н. Р.: «Что ж это вы, Алеко Никитич, так оскандалились?» И он понимает, что и ответит на этот вопрос сам Н. Р.... И уже навсегда тает в тумане Фанберра и другие отдаленные специализированные города и поездки, и уже не откликнется на его звонок Рапсод Мургабович, и тяжелым камнем на шею повиснет пенсия, и кто-то другой, может быть, даже Индей Гордеевич, займет его кабинет, а Алеко Никитичу только и останется, что выгуливать Машеньку да измерять себе кровяное давление после каждого похода в магазин. Нет, не нужен скандал Алеко Никитичу... Но, с другой стороны, если автор действительно сын кого-то оттуда? И снова слышит Алеко Никитич иезуитский вопрос Н. Р.: «Что же это вы, Алеко Никитич, совсем в штаны наложили?.. Зарубили талантливое произведение молодого автора, а?» И опять уплывает навсегда туманная Фанберра, и делает вид, что вовсе не знаком с ним Рапсод Мургабович, и Машенька отрывает его пенсионный нос, и в обычной аптеке нет необычного лекарства против высокого кровяного давления... И откуда свалился только на голову Алеко Никитича голубоглазый сегодняшний блондин?

— Посмотрим, Глория, посмотрим, — зевая, проносит он и направляется в ванную комнату...

VI

Когда рано утром Алеко Никитич и Индей Гордеевич запирались в кабинете, предварительно вызвав туда же Зверцева или критика Сверхщевского или Свища из отдела Пегаса, остальные сотрудники журнала «Поле-полюшко», перемигиваясь, сообщали друг другу полушепотом: «Пугают друг друга». И если кого-то очень интересовало, что именно происходило в кабинете, то, приложив ухо к двери, он мог услышать следующее:

АЛЕКО НИКИТИЧ (таинственно). А не кажется вам, Индей Гордеевич, что этот автор...

ИНДЕЙ ГОРДЕЕВИЧ (вникая). Кажется, Алеко Никитич, кажется. Еще как кажется. Мне и раньше казалось.

ЗВЕРЦЕВ. Мне вообще-то так не казалось, но если вам кажется, Алеко Никитич...

АЛЕКО НИКИТИЧ (демократично). Не только мне. Индею Гордеевичу тоже кажется.

ИНДЕЙ ГОРДЕЕВИЧ (поспешно и не сомневаясь). Безусловно кажется.

СВЕРХЩЕНСКИЙ (многозначительно). История, между прочим, помнит случаи, когда аналогичным образом хоронились гениальные творения.

СВИЩ (торопливо, испуганно). Счастье-то какое, Алеко Никитич, что вам вовремя показалось. А мне, каюсь, и в голову не могло прийти... Молодой еще, молодой... Вот урок-то всем нам... Счастье-то какое...

АЛЕКО НИКИТИЧ (удовлетворенно). Я, честно говоря, сначала думал, что мне показалось... Но вот и Индею Гордеевичу тоже кажется.

СВИЩ (не без самобичевания). Ой, и глупый же я! Учить, учить меня надо! Просто не понимаю, как это мне сразу не могло показаться?!

АЛЕКО НИКИТИЧ (предостерегающе). Того и гляди угодили бы в какую-нибудь белогвардейскую газетенку... (Озорно). А вот мы сейчас перезвоним Н. Р. да себя и перепроверим... (Набирает номер, в трубку). Ариадна Викторовна, Н. Р. у себя?.. Соедините, милая!.. Добрый день!.. Как здоровье?.. Супруга как? Ну и отлично! Привет ей... Хочу вам тут один абзац прочитать... (Читает абзац). Ну, что скажете? Нравится? Нам тут тоже нравится... А не кажется ли вам, что... Кажется? Вот и мне кажется...

ИНДЕЙ ГОРДЕЕВИЧ (громко). Мне тоже кажется!

АЛЕКО НИКИТИЧ (снисходительно). И Индею Гордеевичу кажется...

СВИЩ (на очень высокой ноте). Ох, урок нам всем! Подлинный урок!

АЛЕКО НИКИТИЧ (предлагая). Так мы, пожалуй, этот абзац снимем?... Так и сделаем... Извините, дорогая, за беспокойство...

В это утро, попугав друг друга некоторыми строчками и абзацами, Алеко Никитич, Индей Гордеевич, Зверцев, Свищ и Сверхщенский приступили к более глобальной проблеме.

Позиция Алеко Никитича была твердой.

— Мы должны решить для себя главный вопрос, — сказал он. — Печатать или не печатать.

— Вам и решать, — заметил Сверхщенский. — Вы один и читали.

— Ольга Владимировна закончит работу к четырем часам, — сказал Алеко Никитич, — и все сможете прочесть. Но поверьте мне — дело не в содержании. Дело в принципе. Выяснилось, что автор — человек не с улицы. Отказав ему, мы можем иметь неприятности.

— Ой, зачем нам неприятности! — залопотал Свищ и заморгал веками. — Неприятности-то нам зачем? Печатать, печатать...

— А если это бред сивой кобылы? — возразил Сверхщенский.

Встрял Индей Гордеевич, который не очень любил Сверхщевского за его эрудицию.

— Выбирайте выражения, Сверхщенский! Алеко Никитич не ставил бы вопрос о публикации заведомо слабого произведения!

— Безусловно, — кивнул Алеко Никитич, — повесть неординарная, хотя и небесспорная.

— А точно известно, что автор не с улицы? — спросил Зверцев.

— Есть такое мнение, — ответил Алеко Никитич. — Но, конечно, проверить бы не мешало... Главное, он исчез. Никто его не видел, не знает... Фамилия на рукописи отсутствует...

— Фамилия, даже когда она есть, может всегда оказаться псевдонимом, — заметил Индей Гордеевич.

— Я бы вообще псевдонимы запретил, — вставил Свищ, который свои стихи в журнале печатал под фамилией Улин. — Фамилия — как родители: не вытирают...

— А с тобой как быть? — поинтересовался Зверцев.

— У меня жена Уля,— обиделся Свищ.— Это родной человек. Сибиряк, например, был Мамин. В честь мамы. Совсем другое дело.

— Слушайте, что вы ерундой занимаетесь! — повысил голос Индей Гордеевич.— Здесь серьезная проблема. За автором стоит ответственная, может быть, даже слишком ответственная личность.

— В конце концов у нас журнал или пансион для детей ответственных личностей? — выпалил Сверщеский.

Это уже было чересчур, и Индей Гордеевич сказал строгим, хорошо поставленным голосом:

— Покиньте кабинет, Сверщеский! Пойдите и подумайте, почему у вас в очерке о Мухославске сплошное ячество и американизмы!

Сверщеский вспыхнул и выскочил из кабинета, так хлопнув дверью, что с потолка посыпалась штукатурка, запачкав пиджак Алеко Никитича.

— Ой, горячий! — запричитал Свищ.— Честный, но горячий! Учиться сдерживать себя надо! Ой, как надо!..

— Гнать его пора,— буркнул Индей Гордеевич.

— Если мы, старина, всех разгоним,— улыбнулся Алеко Никитич, стряхивая с плеча штукатурку,— так мы с вами в лавке вдвоем останемся...

— И, уверяю вас, больше будет толку,— подытожил Индей Гордеевич.

— Ну, вот что.— Алеко Никитич принял решение.— Поскольку мы здесь все ни к какому мужскому выводу не пришли, ступайте и работайте, а я еще посоветуюсь с Н. Р. Только не болтайте до поры до времени каждому встречному.

— Да я язык себе вырву,— начал пятиться к двери Свищ,— да под пытками смолчу...

Оставшись наедине с Индеем Гордеевичем, Алеко Никитич набрал номер телефона:

— Ариадна Викторовна?.. День добрый! Как здоровычко?.. Ну и отлично... Супругу кланяйтесь... Сам у себя?.. Соедините, милая... День добрый!.. Как здоровье?.. Супруга как?.. Ну и отлично... Тут вот какое дело. Посоветоваться надо... Лучше бы не по телефону... Завтра? Записал... В десять пятнадцать?.. Записал... Не опаздывать? Записал... Извините, что оторвал, но дело уж больно щекотливое... Супруге кланяйтесь.

— И от меня супруге привет,— придвинулся Индей Гордеевич, но Алеко Никитич уже повесил трубку.

— Зачем быть умнее кондуктора? — сказал Алеко Никитич.— Как решит, так и сделаем.

И Индей Гордеевич покинул его кабинет. Он отправился к себе, заперся на ключ и стал петь «Пролог» из оперы Леонкавалло «Паяцы». Он любил попеть наедине арии из опер, снимая таким образом нервное напряжение. И все в редакции знали: упаси боже в такую минуту заглянуть к нему в кабинет...

С-с-с... Алеко Никитич идет по редакционному коридору в сторону комнатки, где сидит Ольга Владимировна. Он входит к ней и застаёт ее печатающей. Она сидит на высоком стульчике, подложив красненькую подушечку, и сдувает спадающие на глаза волосы, так напоминающие Симины, Симулины. Алеко Никитич запирает дверь изнутри, подходит к Оле, Оленьке, к ласточке... «Да что это вы, Алеко Никитич?» — шепчет Оля, подставляя ему свои губы.

Только все это грезится Алеко Никитичу, все это ему представляется, пока идет он по редакционному коридору в направлении комнатки, где сидит

и печатает машинистка Ольга Владимировна. С-с-с.

А она сидела в своей маленькой комнатке в конце коридора, подложив на стул, как всегда, красную подушечку, и гнала к четырем часам принесенную ей утром новую рукопись из тетрадки в черном кожаном переплете. Почерк был незнакомый, не очень разборчивый, так что время от времени ей приходилось склоняться над тетрадкой, и тогда вымытые с ночи волосы спадали на глаза, и она сдувала их, выпятив искусанную нижнюю губу. И по мере того, как она все больше и больше углублялась в содержание, чувство безграничной жалости помимо ее воли заполняло каждую клеточку тела. В горле сформировался затруднявший дыхание комок, и в конце концов она даже вынуждена была оторваться от работы и выпить валериановых капель, которые всегда держала при себе вахтерша Аня. Ольга Владимировна ясно представляла себя на странном и знойном заброшенном острове, запертой в роскошном дворце, без малейших шансов обрести свободу. Она находила много общего в Олвис с собой и со всеми женщинами, с которыми когда-либо была знакома, о которых когда-либо что-либо читала или слышала, переживая даже за тех женщин, о существовании которых ей было абсолютно неизвестно. И сколько ни пыталась Ольга Владимировна отделяться от навязчивых ощущений, ничего у нее не получалось. Она решила, что заболела, причем могла сказать, когда заболела: сегодня утром, едва раскрыв тетрадку в черном кожаном переплете.

Без стука вошел Алеко Никитич и спросил, как дела.

— Успею,— сказала Ольга Владимировна и шмыгнула носом.— К четырем успею.

— Что с вами? — наклонился к ней Алеко Никитич.— У вас что-то случилось?

— Ничего, Алеко Никитич. Так. Нашло.

— Вас обидели?

— Кто меня может обидеть, Алеко Никитич...

— Вас никто не посмеет обидеть, Ольга Владимировна.— Алеко Никитич произнес это с какой-то новой для себя и для Ольги Владимировны интонацией. Ей даже показалось, что она не машинистка, а он не хозяин журнала... А так... Встретились просто два человека, и один интересуется, как живет другой. Ольга Владимировна с некоторым удивлением взглянула на Алеко Никитича.

— Да я и необидчивая, Алеко Никитич...

— Вы все в той же коммуналке в Рыбном переулке?

— А где же?

— С мужем не сошлись?

— Еще чего.

— Завтра я буду по делам в одном месте и поставлю вопрос о предоставлении вам отдельной квартиры.

— Не беспокойтесь, Алеко Никитич. У вас и так столько забот...

Алеко Никитич пометил что-то в своей записной книжечке и сказал:

— Постарайтесь к четырем успеть, Ольга Владимировна... Кстати, вам нравится?

— Какая разница? — вздохнула Ольга Владимировна.— Вы же все равно не опубликуете...

— Почему вы в этом уверены?

— Мне так кажется.

— А вот и неизвестно, Ольга Владимировна,— загадочно произнес Алеко Никитич и вышел.

И Ольга Владимировна заработала дальше...

«Двадцать девять дней мадрант не выходил из покоев, не принимал Первого ревзода, не интересовался государственными делами, и о его существовании можно было судить лишь по тому, что за это время в водоем со священными куймонами были брошены двенадцать арбаков, так как ночи мадрант проводил беспокойно. Правая рука — если можно было назвать правой рукой то, что осталось, — время от времени давала себя знать. Иногда мадрант просыпался среди ночи оттого, что явственно чувствовал, как горит его правая ладонь. Перед глазами возникало лицо Олвис, ее пылающая щека, ее не столько испуганные, сколько удивленные, наполнившиеся слезами глаза. И однажды мадрант среди ночи даже потребовал, чтобы немедленно доставили к нему дворцового палача Басстио. И когда заспанный Басстио появился в покоех мадранта, то был совершенно обескуражен приказом сей же момент отсечь повелителю правую руку по локоть. Тогда Басстио пролепетал, что не может исполнить высочайший приказ по причине того, что уже однажды со свойственной ему, дворцовому палачу и наипреданнейшему слуге, точностью и аккуратностью он аналогичный приказ выполнил. Мадрант пришел в себя, отпустил Басстио, пригрозив выдрать ему язык, если хоть одна душа узнает об этом ночном недоразумении, и долго еще сидел на своем ложе, шепча молитвы и внимательно разглядывая обрубок, как бы убеждаясь в истинном отсутствии своей правой ладони.

Неоднократно вспыхивало в нем желание явиться к Олвис, но гордость и опасение, что она может уступить ему только из покорности и страха, останавливали мадранта, и он лишь глухо рычал, не имея внутренних сил ни проследовать в розовый дворец, ни обуздать желание.

На исходе тридцатого дня, когда последние рыбаки уже возвращались на берег и отзвучали вечерние молитвы, когда город опустел и уснул, оставив бодрствовать только ночную стражу, когда окончательно погрузился он в липкий, не давший облегчения после дневного зноя мрак, мадрант в сопровождении двух телохранителей покинул дворец и отправился на окраину к проклятым зловонным болотам, где стояла старая, ободранная лачуга, известная горожанам как «логово Герринды». Шедший впереди телохранитель резко раздернул бамбуковый занавес у входа и ворвался в лачугу. Убедившись в том, что никакая опасность не угрожает мадранту, он знаком пригласил его войти, а сам вместе с напарником остался у входа.

Сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими мертвыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то. Ее несколько не удивил ночной визит мадранта.

«Я знала, мадрант, что ты придешь именно сегодня, я знала это уже тридцать дней назад, когда почувствовала жестокую боль в правой руке, будто палач Басстио отсек мне ее по локоть. Когда шел тебе только второй год, мадрант, и отец твой уходил в Великий Морской Поход, я знала, что вернется он из похода опозоренный, потерявший все свое воинство, спасшийся лишь моими молитвами. Я знала, что ворвется он в мои покои (а ведь я тогда жила во дворце, мой мадрант!) глубокой ночью, такой же душной, как эта ночь, в бессильной ярости выместит на мне всю горечь и весь позор своего поражения и прикажет выжечь мои глаза, в которые накануне Великого Морского Похода взглянула кровавая звезда Арристо и предска-

зала скорый и неминуемый позор. Твой отец назвал меня виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на него и его страну, и прогнал на эти проклятые ядовитые болота, под страхом смерти запретив людям не только общаться со мной и помогать чем-либо, но и велел обходить мою хижину дальней дорогой как страшное место, в котором поселилась смерть. Твой отец не мог умертвить меня, может быть, побоявшись навлечь на себя еще более тяжкие напасти, а может быть, потому, что любил меня. Вот почему, когда тридцать дней назад я почувствовала, будто не тебе, а мне палач Басстио отсекает правую руку, я знала, что сегодня ночью ты появишься здесь».

Вот почему, когда мадрант вошел в хижину, сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими пустыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то.

Мадрант опустился перед Герриндой на колени, и она погладила его волосы своей морщинистой рукой так, как гладит мать сына, который неожиданно вдруг задает ей совсем не детский вопрос.

«Ты стал взрослым, мадрант. Ты долго оставался ребенком, потому что окружавшие тебя ревзоды, горожане и рабы хотели, чтобы ты как можно дольше оставался ребенком, благодаря которому можно удобно устроиться в этой жизни. Рабам — в рабской, горожанам — в городской, ревзодам — в ревзодской. Но ты стал взрослым, мадрант, и небо, бывшее над тобой сорок два года безоблачным, затягивается тяжелыми черными тучами. Взгляни на Священную гору Карраско. Она сердится. Это дурной знак, мадрант. Я слышу вой чудовищного огня и грохот исполинских волн, которые рождаются из пучины и устремляются навстречу этому огню. И в хаосе, возникшем при их соприкосновении, погибнет все живое. Ты породил силу, мадрант, которая тебя же и погубит. Но еще не поздно, мадрант, умиловить Священную Карраско и вызвать ветер, который разгонит тяжелые тучи и снова сделает небо над тобой безоблачным. Расстопчи в себе свободного человека, мадрант! Стань шакалом и утоли голод шакала, используя силу и коварство шакала, наешься досыта, до икоты, а потом выблюй все, что еще недавно было ароматным, заветным и желанным плодом, и усни в этой блевотине. Когда же очнешься, брось пленицу куймонам, чтобы никогда не напоминала она тебе о том, как ты стал шакалом. И ты снова будешь ребенком, мадрант! Удобным для всех ребенком. И умрешь ребенком в глубокой старости. И будут оплакивать твою смерть и рабы, которых ты же и сделал рабами, и ревзоды, которых ты же и сделал ревзодами. Но потом, являясь каждый раз в новой жизни, в иной плоти, ты будешь или змеей, или шакалом, или рабом, и никогда не дано тебе будет ощутить высшее телесное и духовное наслаждение, и твоя обрубленная рабская рука, или шакальская лапа, или крыло стервятника всегда будут напоминать тебе то далекое время, когда ты мог стать, но не стал свободным. Еще не поздно, мадрант! Еще ты можешь выбрать. Впрочем, будет так, как должно быть, потому что я не знаю, мадрант, кем ты был в прошлой жизни — леопардом или корабельной крысой...»

Мадрант поднялся и молча вышел из хижины

Герринда по-прежнему смотрела своими пустыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену, и словно бы вслушивалась во что-то...

VII

Бестиев появляется всегда тихо и неожиданно. Как правило, без стука. Он — модный автор журнала. Его печатают в Москве. Его переводят за границей. Он туда ездит. Он дарит всем сувениры. Он делится своими впечатлениями. Мозг его отличается от прочих человеческих мозгов. У него развит анализ. Но совершенно отсутствует синтез. Извилины не переплетаются, как у других. Они расположены в виде аккуратных столбиков. Столбиков этих много. Друг с другом они не соприкасаются. Друг от друга не зависят. Друг на друга не влияют. Он задает однозначные вопросы. Он хочет получить однозначные ответы. Каждый столбик — отдельное понятие. Один столбик формулирует вопрос. Другой столбик ищет ответ.

Бестиев возникает в комнатке Ольги Владимировны вдруг. Она даже вздрагивает. Бестиев густо пахнет женскими французскими духами. Других духов в Мухославске нет. Он смотрит на Ольгу Владимировну. Неотразимо. Он так считает. Ему так гозорили. Он сует нос в тетрадку.

— Что печатаешь?

— Срочную работу.

— А меня когда закончишь?

Он ухватывает Ольгу Владимировну за пальчик.

— Когда это сделаю.

Ольга Владимировна высвобождает пальчик.

— Нет, скажи точно.

Он успевает оценить себя в зеркале.

Он себе нравится.

— Не знаю. Может, завтра. Или послезавтра.

— Нет, скажи точно — завтра или послезавтра.

Он гладит плечико Ольги Владимировны.

— Видимо, послезавтра.

Она отстраняется.

— Видимо или точно?

— Не знаю.

— А кого печатаешь?

Он опять смотрит в зеркало.

— Не знаю.

— Скрываешь... Чего это у тебя на шее?

Он касается шеи Ольги Владимировны.

— Цепочка. Ты мне мешаешь, Бестиев.

Она отодвигается.

— Ну, чья рукопись-то?

Он закуривает.

— Не знаю.

— Ну, скажи, чья? Вовца?

Он шумно затягивается.

— Нет.

— Чего скрываешь-то, а?

Он шумно выпускает дым. Прямо в Ольгу Владимировну.

— Я не знаю, чья. Ты дымишь мне в лицо.

— Дай почитать-то.

Он смотрит в зеркало.

— Начальство не велело.

— Кто не велел-то? — Он поправляет волосы. — Никитич?

Ей становится скучно.

— Индей? — Он шумно затягивается.

Ей начинает надоедать.

— Кто не велел-то?

Он цапает со стола готовую часть.

Он смотрит в зеркало.

Он плюхается в кресло рядом с Ольгой Владимировной.

— Чья рукопись-то?

Ольга Владимировна возобновляет работу.

Бестиев шумно курит.

Бестиев читает.

«Предоставленная самой себе, лишенная каких бы то ни было развлечений, Олвис изнывала от скуки, слоняясь по розовому дворцу, который уже успел надоесть ей своим величием. И однажды она высказала это Первому ревзоду во время его очередного утреннего посещения с целью справиться, по велению мадранта, о состоянии ее здоровья и самочувствии.

Ревзод, испытывая отвращение и ненависть к пленнице, вынужден был тем не менее доложить о ее недовольстве мадранту, не забыв добавить и то, что в женариуме стало известно о пребывании чужеземки в розовом дворце и что супруги по этому поводу царапают себе лица в раздражении и отчаянии, ибо можно понять, высокий мадрант, всю горечь и печаль тоскующих и любящих, но незаслуженно преданных забвению женщин.

Мадрант опустил голову и задумался. Он прекрасно понимал скрытый смысл этого сообщения Первого ревзода. Его наиболее любимые жены имели огромное влияние не только на Первого ревзода, и тот как бы заранее умывал руки в случае, если вдруг Олвис будет найдена в розовом дворце мертвой в результате, допустим, отравления. Мадрант утаил эти свои мысли от ревзода, но вполне понятно, что молодую женщину не радует одиночество, и пусть ревзод сегодня передаст Олвис одного из лучших псов мадранта в качестве дара. Мадрант надеется, что этот пес сделает ее существование более приятным, а кроме того, Первый ревзод должен принять к сведению, что с этого момента все кушанья, предназначенные для Олвис, должны в первую очередь скормливаться псу, за жизнь которого ответит не только дворцовый повар. И мадрант, усмехнувшись, приподнял правую бровь, из чего («Твоя воля — закон, мадрант».) Первый ревзод понял, и очень отчетливо, что не только дворцовый повар ответит за жизнь пса.

Рредос, так звали пса, был огромен и совершенно невероятной породы. У себя на родине Олвис никогда не встречала таких собак. Даже в королевской коллекции, которая насчитывала около трехсот разновидностей, не было ни одного хоть сколь-нибудь похожего экземпляра. Это был жесткошерстный, ровного свинцового цвета кобель со свирепой мордой, напоминавшей по форме морду скорее моржа, чем собаки. Когда он зевал, его черная пасть становилась похожей на пещеру, вход в которую окаймляли, словно отполированные скалы, беломраморные клыки. Голова его доходила Олвис почти до плеча, хотя никто не считал ее миниатюрной. Олвис даже показалось, что с появлением Рредоса в просторном розовом дворце стало теснее.

Она довольно скоро привыкла к псу и даже начала позволять себе разные забавы, которые доставляли ей массу удовольствий. Плавая в бассейне, например, она незаметно следила за разлегшимся на парапете Рредосом. Тот вроде дремал и не проявлял ровным счетом никакого интереса к купанию хозяйки. Но стоило Олвис сделать вид, что она тонет, Рредос молнией бросался в бассейн и уже через несколько мгновений вытаскивал ее на парапет, не оставив на теле ни малейшей царапины. Игра повторялась неоднократно, но с неизменным результатом. Причем Рредос не обнаруживал ни усталости, ни раздражения. И когда в очередной раз Рредос выволок Олвис из воды, она увидела стоявшего возле парапета мадранта. На сей раз взгляд его был спокоен и мягок. Лево́й рукой он молча протянул ей желтую легкую ткань, и Олвис завернулась в нее с тем непринужденным изществом, с каким делают это женщины, знающие цену своему

телу. Она благодарна мадранту за заботу и внимание («Пес, конечно, прелестный, но неужели этот странный вождь хочет выдать меня за него замуж?») и считает, что такой пес действительно заслуживает ее любви и привязанности.

Мадрант отрицательно покачал головой. Это просто так принято, что у мадранта должны быть любимые собаки, любимые ревзоды, любимые рабы. На самом же деле Рредос всего лишь ненавистен ему менее других. Мадрант погладил пса и протянул ему свою левую руку. Огромное животное ласково лизнуло ее. Мадрант может приказать — и пес разорвет первого вошедшего сюда человека. Мадрант прикажет — и пес полезет в костер и заживо сгорит, потому что так приказал мадрант. Ради него этот сильный зверь, который в схватке не уступит и леопарду, может стоять в противоестественной позе столько, сколько заблагорассудится мадранту, потому что так хочется мадранту, верно, Рредос?

Пес вывалил из пасти язык, и Олвис показалось, будто виноватая улыбка мелькнула на его безвольной морде.

Ты видишь, Рредос, что прекрасная чужеземка, слабое и беззащитное существо, выше и благороднее тебя? Она лучше примет смерть, нежели сделает что-либо, противоречащее ее собственной натуре, даже если этого потребует сам мадрант!

А в ушах Олвис звучали совсем иные слова из совсем иной жизни.

(«Сколько ты стоишь, красавица?»)

А теперь попрыгай на задних лапках, Рредос!

(«Нет, дружок, это будет стоить дорожке.»)

Ну-ка, покажи, Рредос, прекрасной гостье, как палач Басстио лишает головы тех, кто не согласен с мадрантом!

(«Вот это, дружок, другое дело. Поедем ко мне, или у тебя есть крыша над головой?»)

Не надо, мадрант, издеваться над животным. Прощу тебя, мадрант...

Слышишь, Рредос, разве это издевательство?

Мадрант широко расставил ноги и взмахнул толстой кожаной плетью с железным наконечником. Пес только слегка вздрогнул, приняв страшный удар плетью.

Разве больно Рредосу?

Пес лизнул плетть. Еще один взмах, еще один удар. Рредос продолжал стоять на задних лапах, зияя хвостом, и лишь на миг вспыхнул в его глазах недобрый огонек, но тут же погас.

Лицо мадранта приняло презрительное выражение. Раб обожает своего хозяина, правда, Рредос?

Отвечай! Отвечай! Один из ударов пришелся по передним лапам, и тогда Рредос глухо и сдержанно зарычал.

Раб любит своего господина!

Мадрант вытянул руку с плетью, и пес лизнул ее. Глухое рычание перешло в поскуливание, выражавшее не то преданность, не то боль. Мадрант отбросил плетть в сторону и схватил пса за ухо. И тут Рредос вырвался и кинулся на мадранта. Олвис вскрикнула, но мадрант выставил вперед ногу, и Рредос лизнул ее.

Вот что такое настоящая любовь, Олвис!

Но не боится ли мадрант, что однажды цепь преданности, на которую посажена неназисть, лопнет?

Мадрант усмехнулся. Скорее небо упадет на землю, чем произойдет то, о чем говорит Олвис. Не хватит на всей земле драгоценного металла, из которого будет отлит памятник тому, кто открыто поднимет руку на мадранта. Вот почему мадрант благодарит судьбу за то, что она послала ему свободное существо в облике Олвис («Не разыгрывай принцессу, красавица! Я заплатил тебе столько, что ты мо-

жешь обслужить целую когорту вместе с лошадьми»), но мадрант убьет ее, если почувствует в ней рабыню. Верно, Рредос? Что будет с божественной чужеземкой, если она обманет мадранта, проявив себя жалкой рабыней?

Пес повалился на парапет всем своим громадным телом и, дернувшись несколько раз, превратился в труп.

Браво, Рредос! Ты заслуживаешь возвышенной оды!

Мадрант прославляет тебя и все твоё собачье отродье!

Ты ненавистна мне, ставшая доброй, собака! Рабски покорною сделал тебя твой хозяин И, усмехаясь довольно, зовет своим другом. Жалко вилля хвостом, ты его ненавидишь, Мерзко скуля, со стола принимая объедки. Острые зубы твои и клыки притупились. Задние лапы во сто крат сильнее передних.

Пусть же палач две передние вовсе отрубит, Чтобы они не мешали служить господину. Ты и рычишь-то на тех, кто намного слабее, Чья незавидная доля похуже собачьей. Да и раба своего в человекем обличье, Как и тебя, господин называет собакой.

Встань ото сна, напряги свои лапы, собака! Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно, Там о скалу наточи свои зубы и когти. И доберись ты до самого края обрыва, Чтобы оттуда пантерой на грудь господина Прыгнуть — и вмиг разодрать его горло клыками, И распороть его сытое, жирное брюхо, И утолить свою жажду хозяйскою кровью, И отшвырнуть эту падаль поганым шкалам, И возвратить себе гордое имя — Собака!

Олвис как замороженная слушала мадранта. Эти слова и ярость, с которой они были произнесены, поразили ее. Ты мог бы стать поэтом, мадрант. («Я не льщу ему: лесть повышает оплату») Ты мог бы выступать на городских площадях, и толпа уносила бы тебя на руках, повторяя и скандируя твои слова. Ты мог бы увести эту толпу за собой на край света, и после смерти имя твоё было бы высечено на скалах и памятниках. Ты улыбаешься, мадрант («Напрасно он улыбается, я говорю это вполне серьезно»), а я это говорю вполне серьезно...

Мадрант приподнял правую бровь. Эта женщина даже не знает, насколько она права, но мадрант не может быть поэтом, ибо поэт свободен и независим от мадранта, если он настоящий поэт. И тогда он становится врагом мадранта. Слова, рожденные поэтом, подчиняются только ему, а не мадранту. И если бы мадрант возлюбил поэта как друга своего, то он не был бы мадрантом. И если бы поэт возлюбил мадранта как друга своего, то он не был бы поэтом. И разве не понимает женщина, в чьих жилах течет нерабская кровь, что это истина?

Лицо Олвис вытянулось в недоумении, а потом она начала хохотать («Слышал бы это мой покойный папаша!»).

Что смешного в словах мадранта? Разве она не дочь великого вождя?

И Олвис стала хохотать еще больше, и по щекам ее покатались слезы, при виде которых вновь ощутил мадрант болезненный жар отрубленной руки. И мадрант помрачнел. И тогда Олвис перестала смеяться.

Она вдруг приблизилась к мадранту и на какое-то мгновение приклонила голову к его плечу. Это неожиданное прикосновение обожгло мадранта, вызвав внезапную дрожь во всем теле.



Что-то жадно-шакалье почувствовал он в этой дрожи, и что-то ненастоящее в ее потупленном взгляде, и какую-то зависимость от него самого, и отсутствие той самой последней необходимости, когда уже нет другого выхода, когда может быть только так и никак иначе.

И увидел мадрант в проеме дворцового окна похожую на шутовской колапак вершину Священной Карраско и отметил, что струйка зловещего серого дыма не растворяется уже в безоблачном небе, а сворачивается в густое и неподвижное темное облако. И, поклонившись Олвис, мадрант вышел, а она сбросила с себя легкую желтую ткань и нырнула в бассейн («Он действительно начинает мне нравиться, черт возьми!»), а когда выбралась на парапет, почувствовала, что проголодалась...

Бестиев вникает.

Вернее, пытается вникнуть. Изюм всех сил. Он снова закуривает. Он покрывается потом. Он перечитывает несколько раз. Одно и то же место. Он ерзает.

— Чего-то я не пойму.— Это он Ольге Владимировне.— Действие когда происходит-то?

Он нервничает. Он выходит из комнаты.

— Пять тысяч лет назад? — Это уже Зверцеву.— Десять тысяч лет? — Это Свищу.— В какой стране? — Это Сверхщенскому.— В какой стране-то? Я читал Плутарха. Я читал Костомарова.— Это Индею Гордеевичу.— Не было такой страны. В Атлантиде, что ли? — Это Алеко Никитичу.— Так не было никакой Атлантиды-то! — Опять Ольге Владимировне: — Мадрант — кто? Диктатор? Консул? Вождь? — Снова Зверцеву: — А ревод кто? Не было таких званий! — Теперь Свищу: — Я за то, чтоб ясно было.— Шумно выпускает дым в лицо Сверхщенскому: — У Достоевского все понятно.— Откручивает пуговицу на пиджаке Индею Гордеевичу: — Руку-то зачем рубить? — Останавливает Алеко Никитича: — Это его мать? Как ее там? Гурринда? — Бедной Ольге Владимировне: — Нет, ты скажи: он ее домогается? — Пристает к идущему с девочкой Гайскому: — Тогда почему он с ней не спит? — Колбаско, который принес новые стихи: — Куймоны — это кайманы? Крокодилы, что ли? — Звонит жене Алеко Никитича: — А зачем в каждом имени сдвоенные согласные? — Ставит Вовцу сто граммов: — Она кто? Проститутка? Тогда почему она с ним не спит? — Таксисту, который везет его домой: — Вот ты скажи — ты бы стал руку рубить?..

Бестиев шумно затягивается.

Бестиев шумно выпускает дым в потолок.

Ему непонятно.

Он раздражен.

Он злится.

И он ничего не может с этим поделаться.

Он начал злиться с первой страницы.

Бестиев словно бы заболевает...

та. Колбаско тихо жил в анабиотическом состоянии младшего бухгалтера одного из филиалов мухославского химзавода. Кстати, способность и любовь считать свои и чужие деньги сохранилась в нем до конца жизни и оказала колоссальное, можно сказать — животворное, влияние на его последующее творчество. Отвечая как-то на вопросы читателей во время своего творческого вечера, Колбаско сказал, что днем своего поэтического рождения он считает день рождения старшего бухгалтера Петрова М. С.— 13 сентября 1960 года. Именно в тот день он почувствовал, что не может не писать. В то знаменательное утро на стол старшего бухгалтера Петрова М. С. рядом с тортом «Лесная сказка» и бутылкой шампанского легла и красочная открытка с поздравительными стихами, сочиненными младшим бухгалтером Колбаско. «Сонетом» открывается сборник избранных стихов ныне маститого мухославского поэта. Вот эти строки.

*Стихи, написанные ко дню рождения
моего начальника и наставника
тов. Петрова М. С. 13.09.60 г.*

**Фамилий много есть на свете:
Семенов, Сидоров, Фролов...
Но мне милее всех на свете
Одна фамилия — Петров.
За то, что любит человека,
Всегда работает с душой,
За то, что он большой товарищ,
Гордится всей нашей страной!**

В то утро товарищ Петров М. С. горячо пожал руку младшего бухгалтера и сказал: «Да вы, оказывается, поэт!»

«А чего, действительно», — подумал Колбаско. Это и решило его дальнейшую судьбу. Допингом послужили, несомненно, женитьба и разразившийся вскорости знаменитый Карибский кризис. Именно тогда в газете «Вечерний Мухославск» появился гневный памфлет Колбаско, обошедший потом всю мировую прессу и сыгравший определенную, если не решающую, роль в деле наступившей далее разрядки.

*Стихи, написанные по поводу очередного
оживления происков империализма
в районе Карибского моря*

**Кой-кто на Западе стремится
Нам жить, как следует, мешать,
Но мы простые люди — птицы,
И мы всегда хотим летать.**

**Хотим дышать с любимой рядом,
Хотим трудиться и гулять!
Газон цветов и клумбы сада
Родного не дадим забыть!**

**Пусть все живут счастливей, долше!
Пусть свет сияет в сотни свеч!
Чтобы сбылось как можно больше
Надежд, и чаяний, и мечт!**

Прогрессивный критик Сверхщенский, делая впоследствии ретроспективный разбор поэтического творчества Колбаско, отмечал, что никому еще в российской поэзии не удавалось так удачно использовать три инфинитивные формы подряд в одной строфе.

Вместе с моральной славой, естественно, пришла слава и материальная, и можно было начать потихоньку отдавать деньги, занятые под проценты у подпольных букмекеров мухославского ипподрома. Игровой азарт не чужд был Колбаско с детства. Тайный его недоброжелатель Аркан Гайский утверждал, правда, что на деньги, проигранные Колба-

VIII

Вовец — публицист. Колбаско — поэт. Вовец и Колбаско — друзья, поэтому до драки у них дело почти никогда не доходит. Биография Колбаско типична для многих поэтов нашего времени. Детский сад, школа, техникум, работа, поэзия. И, как часто бывает, счастливая искорка случайно, попав в глубоко скрытые резервуары поэтического горячего, вызвала чудовищный взрыв талан-

ско, администрация мухославского ипподрома смогла выстроить знаменитую южную трибуну с пивным баром. Аркан Гайский клянется, что это именно так и есть, но что возьмешь с человека, который считает, что ему все завидуют. Факты, однако, говорят за себя, и то, что Колбаско до сих пор не убили мухославские букмекеры (а у них нравы жесткие), свидетельствует, что Колбаско, видимо, нашел приемлемые формы взаиморасчетов.

С Вовцом судьба обошлась более сурово. Он был счастливым приемщиком стеклотары в захудалом ларьке на окраине Мухославска, но, будучи глубоко интеллигентным человеком, томился этим обстоятельством. Особенно по утрам. И как-то угораздило его в одно из таких томительных утр сочинить, а затем и отнестись в тот же «Вечерний Мухославск» афоризм для раздела «Лучше не скажешь». Фраза родилась спонтанно, что говорило об определенном даровании Вовца и широте его мировосприятия. Вот эта фраза:

«Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

Но тупица редактор не понял, что «150» — это доза спиртного, а «220 на 180» — кровяное давление. Пришлось почти год переделывать, и наконец афоризм был принят, но в несколько искаженном виде:

«С утра пить — гипертонию к вечеру получить».

И опять свою роковую роль сыграл все тот же Аркан Гайский, который явно не без подлжки стал убеждать Вовца бросить приемный пункт по сдаче стеклотары и заняться профессиональной литературой. Вовец, будучи не только глубоко интеллигентным, но и скромным человеком, поначалу сопротивлялся, а после ста граммов согласился. Но тут суровая действительность стала вносить свои коррективы. Афоризмы упорно отказывались возникать в голове Вовца. И тогда он сочинил рассказ про то, как некие строители не выполнили план по строительству. А в конце рассказа разъяснялось, что строители строили не что иное, как баррикады. Пятнадцать лет он пытался куда-нибудь приткнуть этот рассказ, и наконец его напечатали, даже не напечатали, а написали от руки — в стенной газете «Колбаска» 9 «Б» класса 38-й школы Мухославска, где учился сын Вовца, после чего директор школы был переведен в рядовые преподаватели черчения. Неудачи ожесточили Вовца, но не сломили. И здесь надо отдать должное Аркану Гайскому, который в трудные минуты всегда оказывался рядом и, поставив сто граммов, убеждал Вовца в уникальности его таланта, а после вторых ста граммов Вовец и сам приходил к выводу, что он слишком ершист для современной, сглаживающей углы литературы. «Позовут еще! — распалялся он в такие мгновения. — Приползут! Белого коня пришлют!» Так он и стал публицистом-надомником, тем более что назад, в ларек по приему посуды его наотрез отказались брать, заявив: «У нас тут своих Белинских навалом!»

Позднее Вовец избрал принцип: «Не можешь не писать — не пиши». За это его неоднократно критиковал Колбаско. Но Вовец противопоставлял Колбаско жизненную логику: «Чем писать муру на потребу, лучше не писать вовсе!» На что Колбаско обижался, потому что не считал, что пишет муру на потребу. И тогда Вовец говорил, что он Колбаско не имеет в виду, после чего Колбаско успокаивался и ставил Вовцу сто граммов. А после вторых ста граммов Вовец, озираясь, чтобы не услышала теща, сообщал Колбаско, что уже давно страдает аллергией на чистый лист бумаги. Вообще надо сказать, для хорошего аллерголога Вовец был бы ценным пациентом и основой если не для докторской, то хотя бы для кандидатской диссертации. Он запустил бороду, так как имел аллергию на бритву. У него

была аллергия на баню, на свежий воздух, который вызывал приступ удушья, на море... Чудовищная аллергия была на лыжные прогулки. А попытка заставить его однажды надеть новые ботинки кончилась реанимацией. Хорошо, что все обошлось. Поэтому Вовец всегда ходил в валенках. Не вызывали у него аллергию только жареное коровье вымя, преферанс, вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин» и стограммешник для аппетита.

Досуг друзья часто делили на двоих. Причем любимым занятием у них было держать пари, или, как выражался Колбаско, «мазать». Колбаско вообще обожал самые уголовные выражения, создавая у окружающих иллюзию своего грубого земного происхождения. Если верить Колбаско, а не верить ему нельзя, то его отец — старый потомственный шахтер, вор в законе и излечившийся наркоман. Поэтому речь Колбаско всегда украшали такие слова, как «на-гора», «маза», «абстиненция». Хитрым Вовец часто ловил простодушного Колбаско, используя его природную склонность к азартным играм и спорам. «А мажем, — ни с того ни с сего вдруг говорил Вовец, — что ты мне сейчас не поставишь двести грамм!» «Мажем, что поставлю!» — оживлялся Колбаско, покрываясь красными пятнами. Шанс выиграть дармовую мазу настольно его захватывал, что он даже забывал выяснять, а что же он будет иметь в случае выигрыша. Но, уже подходя к буфетной стойке, он спохватывался и возвращался, задавая законный вопрос: «На что мажем?» — «На сто грамм!» — невозмутимо отвечал Вовец, поглаживая живот. И когда простодушный Колбаско приносил двести граммов, Вовец, разводя руками и призывая бога в свидетели, говорил: «Ты выиграл. Из этих двухсот сто бери себе, потому что я их тебе проиграл». Они выпивали, и тут до Колбаско доходило, что в результате выигранной им мазы он просто ни за что ни про что поставил Вовцу сто граммов... Но они были друзьями, и до драки дело почти никогда не доходило.

IX

Часов около одиннадцати вечера домой к Алеко Никитичу звонит Индей Гордеевич. Он взволнован. Он даже не извиняется за столь поздний звонок и не интересуется самочувствием Глории...

— Слушайте, Никитич! Я прочитал два часа назад эту странную рукопись!.. Я материалист, Никитич! Вы меня знаете... Но тут, понимаете ли, что-то невероятное... Вы же знаете, что я человек уравновешенный, что мне не двадцать лет, что мой паровоз давно ржавеет в депо... Но у меня уже после первых страниц спонтанно возникло ощущение, что топку залили жутким тонизирующим настоем... Как там в этой проклятой рукописи?.. Миндаго!.. — Индей Гордеевич сбивается на шепот: — Ригонда вошла в комнату... Я не хочу, чтобы она слышала... Сначала это меня развеселило, не скрою, обрадовалось, но потом стало страшно...

— Ригонда читала? — спрашивает Алеко Никитич, барабанив пальцами по столу.

— Вы будете смеяться, — Индей Гордеевич нервно хихикает, — но я просто не даю ей такой возможности... Вы понимаете, о чем я говорю?

И тут Алеко Никитич слышит на другом конце провода какую-то возню, и трубку не берет, а просто, кажется Алеко Никитичу, вырывает Ригонда и кричит:

— Алеко! Я не знаю, что будет дальше, но нача-

ло изумительное! Это необходимо печатать!.. Я без ума!.. Прости, мы позволим позже!..

Алеко Никитич медленно кладет трубку на рычаг. С-с-с. Он почесывает свою лысую голову, собирая воедино разрозненные соображения. Его не удивляет любовно-паровозный экстаз такого выдержанного пуританина, как Индей Гордеевич. Его настораживает другое. Он не хотел себе в этом признаваться, но звонок Индея Гордеевича подтверждает еще утром возникшие опасения. Ничего схожего с тем, что произошло в Индее Гордеевиче, Алеко Никитич в себе не отмечает. Как было, так и есть. Скорее наоборот... Но у него еще прошлой ночью стало развиваться чувство растущей неудовлетворенности и тоски. Он почему-то вспомнил Симину мать, уже, наверное, старую совсем женщину, если, конечно, она вообще жива... Очень она любила Алеко Никитича... Очень... Но после развода с Симой Алеко Никитич перестал ей звонить. Совсем. Как отрезал. Да и зачем? Что, собственно, говорить-то? Случилось... И забыл вскоре. И не вспоминал... И вот надо же, опять вспомнил... И почему-то сразу после визита неизвестного автора и прочтения тетрадки в черном кожаном переплете. Совпадение? Алеко Никитич стоит на земле и во всю эту телепатическую чепуху, во всех этих экстрасенсов, гуманоидов, снежных человеков не верит... Но с другой-то стороны, то, что происходит с Индеем Гордеевичем, — тоже совпадение?.. Ведь если бы Алеко Никитич, как Индей Гордеевич, вдруг начал бы петухом насканивать на Глорию, или, наоборот, Индей Гордеевич, как и Алеко Никитич, вдруг бы поскучил, помрачнел и стал терзаться всякими нехорошими сомнениями, то можно было бы предположить, что в Мухославске началась эпидемия какого-нибудь нового гриппа с воздействием на сексуальные или настроенческие нервы... Так нет же!.. С-с-с... Спросить бы у Глории. Она тоже читала... Решит, что я просто тронулся...

Мысли его прерываются звонком Индея Гордеевича:

— Старик! Колеса стучат на стыках! Рельсы дрожат! Шпалы не выдерживают!

— Индей Гордеевич! — строго говорит Алеко Никитич, вспоминая, что он старший по должности. — Возьмите себя в руки. И не забудьте, что завтра в десять пятнадцать нас ждет Н. Р.

Алеко Никитич кладет трубку, идет в ванную, принимает таблетку снотворного и направляется в спальню. Он застаёт Глорию сидящей на постели. Она что-то лихорадочно пишет в свою рабочую тетрадь.

— Почему ты не спишь? — спрашивает Алеко Никитич, раздеваясь.

— Ты ложись, — отвечает Глория, — а я еще поработаю. Мне надо подготовиться к завтрашнему заседанию клуба.

Алеко Никитич ложится ближе к стене, вытягивает руки вдоль туловища и закрывает глаза, но, несмотря на принятое снотворное, заснуть не может.

— Ты слышишь, Алики? — спрашивает Глория, оторвавшись от своей рабочей тетради и мечтательно глядя куда-то в пространство сквозь стену.

— Нет, милая, — отвечает Алеко Никитич с закрытыми глазами.

— Знаешь, на меня поразительное действие оказала эта рукопись...

«Начинается», — думает Алеко Никитич и весь внутренне напрягается, но глаз не открывает. А Глория продолжает:

— Я думаю только об одном. — Глаза ее загораются, а голос звучит уверенно: — Я вдруг поняла,

что мы чудовищно несправедливы к животным... В частности к собакам...

Алеко Никитич приоткрывает веки и с опаской смотрит на Глорию, но с ней все нормально. Она встает и начинает возбужденно ходить по спальне.

— Собаки! Четвероногие друзья! Изначально свободные существа, добровольно любящие человека! Волка, как ни корми, он все в лес смотрит! Эта народная мудрость подчеркивает исключительность и добропорядочность собак всех мастей и пород! Цивилизация — это пропасть, отделяющая человека от природы! Собака — единственный мостик, повисший над гигантской пропастью цивилизации, соединяющий человека и природу! Каштанка, Муму, Джульбарс, Мухтар! Их имена стали нарицательными! В наше время, когда собака подвергается гонениям и уничтожению, когда новые города и поселки городского типа планируются с исключительной целью — не дать простора собаке, когда владельца собаки называют мещанином, неизвестный автор совершил подвиг, написав повесть о собаке, воспев ее дивный образ!..

Алеко Никитич продолжает следить за Глорией. С-с-с...

— Теперь я понимаю, почему меня сразу поразила удивительная аллитерация автора! Обилие звука «р»! Автор вынужден обратиться к эзоповскому языку! «Р»! Ты вдумайся, Алики! «Р»! Р-р-р! Это рычание! Это глухой ропот животного, доведенного до отчаяния! Ты обязан, обязан напечатать повесть! Природа и люди оценят эту великую акцию! Обязан, как бы ни восставали заплывшие жиром чиновники, держащиеся за свои кресла, забывшие, что сами они тоже происходят от животных! Великий Чехов в своих письмах к Ольге Леонардовне Книппер называл ее: «Моя собака»! Вот о чем я завтра буду говорить!..

Алеко Никитичу становится несколько не по себе.

— Успокойся, — произносит он. — Прими снотворное и ложись.

Но Глория еще долго мечется по комнате, подходит к окну, смотрит на луну, что-то лихорадочно заносит в свою рабочую тетрадь.

Потом вдруг бросается к телефону и говорит кому-то нечто, совсем противоречащее ее недавней возвышенной филиппике:

— Эльдар Афанасьевич! Простите за поздний звонок... Вам известно, что Алферова взяла отбракованного добермана?.. Да! Я ей сказала, что это вызовет всем членам клуба!.. А вам известно, что она собирается вязать его с Джульеттой?.. Так вот. Скажите ей, как президент клуба, что мы ни перед чем не остановимся! Мы портить породу никому не позволим! И если это произойдет, мы уничтожим помет во чреве! Так и передайте: уничтожим помет во чреве!.. Спокойной ночи, Эльдар Афанасьевич!..

Глория кладет трубку, а палевый коккер-спаниель, уже мирно спавший в ногах Алеко Никитича, вдруг прыгивает с тахты и, скуля, выбегает из спальни...

Алеко Никитич ворочается в постели. Тревожные соображения будоражат его... Сверхчеловеческий, Свищ. Что они скажут, когда прочтут?.. «Щенок всюду гадит», — вспоминает он Дамменильбена... Еще одно совпадение?.. А самое главное состоит в том, что завтра произведение прочтет Н. Р., и, черт его знает, какова будет его реакция... Алеко Никитичу удается заснуть только под утро, и во сне ему представляется, что он в трюме плывущего куда-то корабля. Тело его покрыто короткой, серой, лоснящейся шерсткой. В обе стороны от носа торчат острые усики. Сзади тянется что-то длинное, и Алеко Никитич догадывается, что это хвост, но его это не удивляет. «Надо проверить длину», — думает Але-

ко Никитич,—не то легко угодить в белогвардейскую газетенку...» Глазки привыкают к темноте, и он видит в трюме еще многих таких же, как он... «Кто они? — думает Алеко Никитич. — Ну, смелее! Назови их своими именами!»... Крысы! Конечно, крысы! Как ему сразу не могло прийти в голову? И нечего стесняться! И вдруг он замечает в углу, где неистовый Индей Гордеевич лапками обнимает Ригонду, тоненькую струйку воды... «Течь! — мелькает у него в мозгу. — Течь! Надо бежать! Но куда? До Фанберры еще так далеко!.. Все равно, куда... Только бы бежать... Не делая шума... Не то начнется паника и давка...» И Алеко Никитич начинает медленно отползать вдоль стены... Внезапно он натывается на Ольгу Владимировну... Ее бы следовало предупредить... Он толкает ее лапкой... Течь! Ольга Владимировна, течь! Но Ольга Владимировна не слышит... Алеко Никитич царапает ее лапками... Но Ольга Владимировна не реагирует. Тогда Алеко Никитич кусает ее левую переднюю лапку своими острыми зубками и просыпается от крика Глории.

— Кошмар! — говорит она, садясь на постели и потирая укушенную левую руку. — Мне снилось, что я собака и меня укусила крыса!

В спальне уже совсем светло. Будильник показывает двадцать минут седьмого. Скоро встать и идти к Н. Р.

X

Перед самым концом рабочего дня в комнатке Ольги Владимировны оказался Аркан Гайский и принес удивительную новость: позавчера на рассвете над Мухославском в течение сорока минут висела летающая тарелка. Она представляла собой веретенообразное тело, от которого исходило холодное газовое сияние. Потом из этого тела на Мухославск пролился сверкающий дождь, напоминающий «серебряные нити», какими украшают новогодние елки. Но следов этого дождя никто из очевидцев не обнаружил, из чего остается думать, что дождь имел нематериальное происхождение. Через сорок минут веретенообразное тело, слегка покачавшись, словно растворилось в северо-западной части неба.

— Пить надо меньше, — сказала Ольга Владимировна.

— Я, Ольга Владимировна, не пью. Вы это знаете, — ответил Аркан Гайский. — Но обстановка в мире сложная. Враги обнаглели. Мало ли что им придет в голову... Я написал на эту тему рассказ. Пойдемте ко мне... Я его вам прочитаю...

— Гайский, — устало проговорила Ольга Владимировна, — я весь день печатала срочную работу, мне не до рассказов и не до врагов.

— А хотите — пойдем к вам, — настаивал Гайский, — просто посидим... Обстановка напряженная... Удовольствие и счастье, которое мы отвергаем сегодня, завтра уже может быть недостижимо...

Но Ольга Владимировна отказала Аркану Гайскому и в этом прошении. Она закрыла машинку и поднялась из-за стола, давая понять, что уходит.

И ввиду того, что сногшибательное известие о неопознанном летающем объекте не произвело на Ольгу Владимировну должного впечатления и не заставило ее, бросив все, приступить к получению, может быть, последнего в жизни счастья и удовольствия, Аркан Гайский стал просто канючить:

— Ну почему? Ну разве вам вчера было плохо?.. Ну скажите... Если было плохо, я отстану...

— Гайский! Я устала! Ясно? Пропустите меня! А если вам нечего делать, оставайтесь здесь... Кстати, прочтите эту тетрадку. Вам полезно...

— Тот самый неизвестный автор? Я помню... Но я прочту, Ольга Владимировна!.. Только я могу после этого вам позвонить?

— Пока, Гайский, — сказала Ольга Владимировна. Гайский побежал за ней в коридор:

— А завтра?

— Посмотрим! — крикнула Ольга Владимировна уже с улицы. — Если не будет конца света!..

Гайский уселся за стол Ольги Владимировны и, раскрыв тетрадь в черном кожаном переплете, пробурчал:

— Все пишу! Все завидую!..

Гайский нехотя начал читать, больше думая о своем. И вспомнил тот день, когда он был в Москве. Утром к нему явился молодой человек и предложил выступить за наличные и за хороший ужин, поскольку Гайского в Москве знают и пленки с его рассказами ходят по рукам, подобно пленкам Высоцкого...

— А девочки будут? — спросил Гайский.

— Пальчики оближете! — таинственно сказал молодой человек.

— Дворец культуры? — спросил Гайский.

— Нет. Частный дом, — ответил молодой человек. — Так интимнее... При чем дом очень солидный...

Когда вечером импресарио и Гайский вошли в подъезд, он сразу увидел, что дом действительно солидный. Консьержка ни в какую не хотела пропустить Гайского, исподлобья глядя на его сутулую фигуру, нелепый красный берет и подозрительно маленький нос.

— Это артист, — объяснил импресарио.

— Писатель, — поправил Гайский.

— Артист, — повторил импресарио. — Мы в сто двадцатую.

— Вас я знаю, — сказала консьержка. — А про этого мне ничего не говорили... Пусть мне из сто двадцатой позвонят, тогда пожалуйста!

Молодой импресарио позвонил и передал трубку консьержке. Та внимательно что-то выслушала, положила трубку и сказала строго и недовольно:

— Идите!

— Они здесь деньги получают не за то, чтобы пропускать, а за то, чтобы не пропускать, — пояснил импресарио Гайскому, когда они вошли в лифт.

— А чья это квартира? — осторожно спросил Гайский.

— Для вас это не имеет значения, — сухо отрезал импресарио.

— И девочки будут? — недоверчиво спросил беспощадный сатирик.

— Я же сказал — пальчики оближете!

В квартире, куда ввели Гайского, были двое парней и три шикарные девочки, из которых писателю понравились сразу все.

«Пока все точно, — подумал Аркан Гайский, — парней двое, девочек трое. Одна, значит, для меня...»

— А ничего, если я не буду снимать берет? — обратился Гайский к импресарио, полагая, что лысина лишает его по крайней мере четверти мужского обаяния.

Импресарио представил Гайского присутствующим, но это почему-то не произвело на них должного впечатления. Затем сатирика провели по громоздкой квартире и посадили в небольшую комнату, где, кроме широченной тахты, стояла еще и неведомая Гайскому радиоаппаратура. Минут через пять в комнату вошли три девочки и забрались на тахту. К ним присоединились двое парней.

«Какая же из них для меня?» — думал Гайский с замешательством сердца.

Но тут появился импресарио и, к удивлению пи-

сателя, тоже плюхнулся на тахту. Он обнял одну из девочек за плечи и подмигнул Гайскому.

— Давай!

Одна из девочек включила музыку. Гайский во-просительно взглянул на импресарио.

— Нормально! — сказал он. — Так душевнее!..

Аркан Гайский пошелестел несвежими рукописями и с упоением начал читать...

Читая, он косил глазом на тахту. Все шестеро из всех сил делали вид, что слушают Гайского, одновременно целуясь и пощипывая друг друга.

«Но ведь одна из них для меня», — досадливо думал он в процессе чтения, уже испытывая чувство ревности. Но поскольку он не знал, кто для кого и кто именно для него, то ревновал всех троих ко всем трем.

Когда он прочитал фельетон, в котором был недвусмысленный намек на нехватку колбасы в городе Мухославске, один из парней, которого Гайскому представили как хозяина квартиры, наклонился к импресарио, и до Гайского донеслось: «Он что, жрать хочет?»

Импресарио вышел и скоро вернулся, поставив перед Гайским поднос с рюмкой и тремя бутербродами с колбасой, какой сатирик не выдывал отродясь.

— Пожри, — сказал импресарио. — Потом посмотрим... А пока будешь жрать, ознакомься... Друг хозяина дома балуется... Пописывает...

И он положил перед Гайским тетрадь в черном кожаном переплете, кивнув в сторону блондина с голубыми глазами, на коленях которого уже сидела одна из девочек.

— А кто он? — шепнул Гайский.

— Это тебе знать не обязательно, — сказал импресарио. — Ясно?..

Пока писатель жевал бутерброды и листал тетрадку, все танцевали, предоставив Гайского самому себе. А он, наскоро перелистывая тетрадь, ничего не улавливая, выхватывая отдельные бессмысленные слова, прикидывал: «Не хочет называть фамилию автора. Значит, автор — сын кого-то крупного... Как пить дать. Меня на мякине не проведешь... Надо хвалить...» И Гайский сказал:

— Талантливо!

Девочка, танцевавшая с блондином, щелкнула его по носу, а импресарио улынулся:

— А как же!

— Кофе будете? — спросил хозяин дома.

— Потом, — вежливо ответил Гайский. — Я еще кое-что прочту.

Девочка хозяина дома поморщилась, а импресарио стал делать Аркану Гайскому отчаянные знаки, указывая в сторону двери. Когда Гайский вышел, импресарио довел его до прихожей и протянул конверт.

— Вот здесь тридцатка, — быстро произнес он, — а в конце квартала стоянка...

— А девочки? — с отчаянием в голосе спросил Гайский.

— Пальчики оближешь! — отрезал импресарио и открыл дверь в подъезд.

— Передай мой телефон в гостинице, — сказал Гайский, поправляя красный берет. — Если кто захочет, я в гостинице почитаю. — И он подмигнул импресарио.

— Не захотят, — бросил импресарио и захлопнул дверь.

Аркан Гайский сорок минут шел пешком до метро, потому что такси в конце квартала не оказалось.

«Дети таких высоких людей, — думал он, — а все равно завидуют!..» Конверт с тридцаткой несколько

скрашивал не совсем удачно сложившийся творческий вечер...

Сейчас, сидя в комнатке Ольги Владимировны, Аркан Гайский узнал ту самую тетрадь в черном кожаном переплете, и его охватила злость... Все шушукаются, носят с этой рукописью... Она весь день печатала, устала да еще сказала, что ему, Аркану Гайскому, это будет полезно почитать... Ух, графоманы высокопоставленные, завистники черт-вы! Что вы можете написать? Что вы понимаете в настоящей литературе?.. И он с ненавистью углубился в чтение...

«Единственный, а потому и знаменитый «Альманах» Чикиннита Каело занимал каменную постройку с верхней и нижней частью. В верхней части, скрытой от города густой вьющейся зеленью, находился обычно Чикиннит Каело, принимавший здесь посетителей и вершивший отсюда судьбы «Альманаха». В нижней, наполовину расположенной под землей, за ровными, отшлифованными столами из черного камня сидели переписчики.

«Альманах» появлялся на следующее утро после каждой Новой луны. В нем помещались указы мадранта и совета ревзодов, итоги сухопутных и морских баталий, данные об улове рыбы и сборе ценнейших плодов миндаго, описание казней и экзекуций, сведения о состоянии здоровья мадранта, а также стихотворные оды, философские сочинения и предсказания судьбы и погоды.

Появлялся он с каждой Новой луной в трех вариантах. Один — написанный черной гуашью — вывешивался на городской площади и предназначался горожанам (рабы не имели права читать «Альманах»), второй — в зеленой гуаши — доставлялся Первому ревзоду, который и зачитывал его на совете. Третий создавался специально для мадранта на дорогой бумаге и выполнялся красной гуашью с позолотой.

Читая на городской площади свой «Альманах», горожане узнавали, что они живут хорошо.

Ревзоды, читая свой, убеждали в очередной раз в том, что горожане живут превосходно.

В красном же «Альманахе» горожане обращались к мадранту с предложениями быть с ними просторже, ибо живут они замечательно, но чересчур.

Когда состоялась в городе казнь ста пойманных горных разбойников, горожане из своего «Альманаха» узнали, что казнили не сто, а всего девять, и не разбойников, а воров, похитивших у бедного торговца лепешку.

Первый ревзод на совете зачитал, что казнен был один человек, пытавшийся украсть сеть у рыбака.

В «Альманахе» мадранта писалось, что казненный неоднократно обращался к мадранту с просьбой казнить его, так как чувствовал, что может произвести кражу, и вот теперь его просьба удовлетворена, за что и благодарит мадранта со слезами преданности и умиления семья казненного.

И за всем этим должен был следить и никак не перепутать (даже и подумать-то страшно!) бедный, бедный Чикиннит Каело, поставленный на важное государственное дело советом ревзодов с согласия самого мадранта. Бедный, старый, больной, несчастный Чикиннит Каело! Зачем ему все это? Зачем ему полагающиеся по разрешению мадранта пять жен, когда и с одной он уже давно не имеет сил сделать нового подданного? К чему ему ежедневная чашечка миндаго, от которого только сердце начинает выпрыгивать из груди? Почему он должен читать эти горы бумаг, испещренных буквами, цифрами и рисунками? Для чего? Чтобы дрожать после

каждой Новой луны: а вдруг что-либо вызовет неудовольствие у ревзодов или у самого (и подумать страшно!) мадранта? И полетит тогда с дряхлых плеч его лысая, покрытая жилами, как червями, голова. Па-па-па... Пе-пе-пе...»

Гайский почувствовал в животе, где-то внизу, острый спазм, подобно тому, который возникает, когда после стакана, например, кислого крыжовника выпиваешь перного молока. Схватив тетрадку, он бросился в коридор. «Что-то я, наверное, съел», — подумал сатирик, едва успев добраться до цели. Здесь он и продолжал внезапно прерванное чтение.

«...Па-па-па... Пе-пе-пе... Бедный Чикиннит Каело. Оставался бы он лучше до сих пор учетчиком урожа миндаго, имел бы не пять, а всего две жены, сохранил бы молодость и здоровье, до сих пор делал бы для мадранта новых подданных... Так нет же! Па-па-па... Пе-пе-пе... Зачем надо было попадаться на глаза мадранту, когда тот посетил поля с драгоценным миндаго? Зачем было бросаться в ноги мадранту и восхвалять его, и говорить, что это он, Чикиннит Каело, не жалеет себя и жизни своей, чтобы мадрант мог каждое утро принимать тонизирующий миндаго, который придает мадранту силу, мудрость и красоту? Перестарался Чикиннит Каело... Да и что проку в этом чертовом миндаго? Ничего же и не изменилось в организме с тех пор, как по велению мадранта стали доставлять ему из дворца чашечку этой оранжевой жидкости. Ни сил, чтобы делать подданных, не прибавилось, ни волос, ни красоты... Па-па-па... Пе-пе-пе... Скорее наоборот, жены жалуются, особенно Жеггларда. И понятно. Ей всего тридцать лет. А ведь Чикиннит Каело взял ее еще девочкой... О, какая это была умилица! Па-па-па... Что за гибкость! Что за кожа! Бывало, стоило только произнести вслух имя Жеггларды, и никакого миндаго не надо! Куда там!.. Пе-пе-пе... Цепями сдерживать, за уши оттаскивать надо было Чикиннита Каело от Жеггларды... Правда, если по справедливости, то, не возмись он за этот «Альманах», не стал бы он знатен и богат, не получил бы он к своим двум еще трех, в том числе и Жеггларду... О небо! Что это с Чикиннитом Каело?! Неужели?! Нет, показалося... Спалл огнем этот «Альманах», Священная Карраско! Бедный, несчастный, старый, больной Чикиннит Каело!..

Чикиннит Каело вздрогнул. Что за крамольные мысли посетили его лысую голову! Горе и позор Чикинниту Каело! Какое кощунство позволил он себе по отношению к делу, которое дал ему в управление совет ревзодов с согласия самого мадранта! Прости и помилуй, высокий мадрант! Прочь, грязные мысли! Прочь! Чикиннит Каело на посту! Он работает, он читает, он сочиняет, он исправляет, и слова сами по себе ложатся на бумагу... Нет сильнее и могущественнее страны мадранта! Нет умнее и здоровее нашего мадранта!.. Вяло! Слабо!.. Усилим, мой мадрант! Нет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наинумнее и наиздоровее нашего мадранта!.. Пе-пе-пе... Но, подожди, Чикиннит Каело! Если все это идет в черный «Альманах», то какие высокие слова найдешь ты для красного? Не было, нет и не будет наисильнее и наимогущественнее страны мадранта! Нет наинумнее и наиздоровее молодой Жеггларды...

Холодный пот прошиб Чикиннита Каело. Испуганно озираясь, он схватил и проглотил только что исписанный листок бумаги... так можно попасть и к

священным куймонам... Вовремя, ох как вовремя проглотил злосчастный листок Чикиннит Каело!

На террасе появился посетитель, который мог случайно заметить чудовищные строки, еще мгновение назад лежавшие перед Чикиннитом Каело... Па-па-па... Чем может служить Чикиннит Каело любезному посетителю? Ох, как надоели Чикинниту Каело любезные посетители! Ох, как мучают они его, заставляя читать их жалкие творения и давать на них ответы... Неразумные! Чем они могут удивить Чикиннита Каело? Стихами? Фактами? Предсказаниями погоды? В стране есть стихотворцы, сборщики фактов и предсказатели погоды. Они все на учете и все получают свое вознаграждение. И этих стихотворцев, и сборщиков фактов, и предсказателей погоды вполне хватает Чикинниту Каело. Даже много!.. Так чем может служить... пе-пе-пе... любезному посетителю Чикиннит Каело?

Любезный посетитель был одет бедно и неряшливо. Имел гладко выбритую голову, округлую черную бороду и бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Он молча протянул Чикинниту Каело свернутый в трубочку лист дорогой, как успел заметить Чикиннит Каело, бумаги... Чикиннит Каело взял рукопись и, не разворачивая, положил в корзину рядом с собой. Любезный посетитель может идти, потому что Чикиннит Каело занят и прочтет рукопись после Новой луны. И если любезный посетитель желает выслушать приговор Чикиннита Каело, то он может прийти за ответом через три дня после Новой луны... Па-па-па... Пе-пе-пе... Любезный посетитель имеет нахальство требовать ответа сейчас же?.. А чем же данный любезный посетитель отличается от других любезных посетителей, творения которых дожидаются своей очереди в этой корзине?..

Но любезный посетитель будто и не понимал слов Чикиннита Каело. Он только безразлично пожал плечами и не думал трогаться с места... Пе-пе-пе... Уж на подозрительно дорогой бумаге принес свои творения любезный посетитель... Мало ли кто он? Для чего старому Чикинниту Каело неприятности на его лысую голову?.. Чего не бывает? В последнее время даже дети ревзодов занимаются стихотворством. Ну, что же, Чикиннит Каело сделает исключение для любезного посетителя, раз он так настаивает...

Чикиннит Каело достал из корзины, развернул лист дорогой бумаги и... па-па-па... пе-пе-пе... углубился в чтение... «Ты ненавистна мне, ставшая доброй, собака! Рабский покорноно сделал тебя твой хозяин и, усмехась довольно, зовет своим другом. Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь, мерзко скуля, со стола принимая объедки...» Па-па-па... Чикиннит Каело мельком взглянул на любезного посетителя, но тот всем своим видом изображал полное безразличие... «Да и раба своего в человечьем облике, как и тебя, господин называет собакой. Встань ото сна, напряги свои лапы, собака! Ночью к обрыву Свободы сбеги незаметно, там о скалу наточи свои зубы и когти...» Пе-пе-пе... Это что же за намеки?.. «И доберись ты до самого края обрыва, чтобы оттуда пантерой на грудь господина прыгнуть — и вмиг разодрать его горло клыками...» Чикиннит Каело снова взглянул на любезного посетителя и совершенно отчетливо представил себе его бритую с округлой бородой голову, отделенную от туловища... «И распороть его сытое, жирное брюхо, и утолить свою жажду хозяйской кровью...» И Чикиннит Каело ясно увидел отделенные от всего туловища ноги и руки любезного посетителя... «И отшвырнуть эту падаля поганым шакалам, и возвратить себе гордое имя — Собака!..» Нет, скорее всего

несчастливого посетителя прикуты цепями к каменному столбу, вырежут возле пупка маленький кусочек тела и посадят на это место голодную крысу. Крыса начнет вгрызаться в тело, выжирая внутренности, пока не доберется до сердца... Это замечательная казнь... Чикиннит Каело даже передернуло... Достойный финал для... В конце листа Чикиннит Каело увидел имя — Ферруго... Так значит, любезного посетителя зовут Ферруго?.. Ах, Ферруго — это хозяин любезного посетителя... И Ферруго хочет, чтобы это творение было принято в «Альманах» Чикиннита Каело и обнародовано?.. (Главное — не спугнуть любезного посетителя)... Но дело в том, что... творение Ферруго, так и надо сказать твоему хозяину, несовершенно, слабо по словам, расплывчато по мысли, но Ферруго не должен бросать это занятие, ибо определенный дар у него имеется, и пусть он напишет еще что-нибудь и передаст Чикинниту Каело через любезного посетителя, а еще лучше — пусть сам принесет свои творения Чикинниту Каело, который будет ждать его ровно на третий день после Новой луны... Данное же творение Чикиннит Каело оставляет у себя, чтобы, изучив его, дать Ферруго более исчерпывающие объяснения... И Чикиннит Каело достал из желтой шкатулки и протянул любезному посетителю желтый камень, значение которого, безусловно, должно быть известно всякому, кто решается принести свое творение Чикинниту Каело. Надобно знать, что у Чикиннита Каело нет свободного времени, чтобы объяснять каждому, почему да отчего. И поэтому Чикиннит Каело завел три шкатулки. Черный камень из черной шкатулки означал, что данное творение никуда не годится, не отвечает, не соответствует и хозяина этого творения просят в дальнейшем не обременять Чикиннита Каело. Желтый камень из желтой шкатулки означал то, что недавно Чикиннит Каело высказал любезному посетителю. В красной шкатулке лежали камни, предназначенные тем, чьи творения заведомо нужны и приятны Чикинниту Каело и его «Альманаху»... Стало быть, ровно на третий день после Новой луны... А теперь любезный посетитель может считать себя свободным...

Едва только неряшливо одетый бритоголовый бородач удалился, Чикиннит Каело схватил в руки бумагу с творением Ферруго и вновь начал его читать, шевеля беззвучно губами. Он читал, и ему становилось страшно, как будто это написал не какой-то таинственный Ферруго, а сам Чикиннит Каело и ему теперь предстоит отвечать и расплачиваться перед самым маэранто... Па-па-па... Может, уничтожить эту проклятую бумагу, будто ничего и не было?.. Пе-пе-пе... Но ведь Ферруго возникнет вновь, а что ему заблагорассудится сотворить на сей раз, одному небу известно!.. А вдруг (и подумать страшно!) нет никакого Ферруго, и просто Первый ревзод решил проверить подлинную преданность Чикиннита Каело и подослал к нему любезного посетителя с этой крамолой?.. Пе-пе-пе... А старый глупый Чикиннит Каело набирает в рот воды и помалкивает? А уж не потому ли он помалкивает, что согласен с написанным, а если и не согласен, то просто настолько глуп, что даже не в состоянии понять страшный смысл написанного?.. Просто какой-то сумасшедший Ферруго решил встать на защиту бедного домашнего животного и предлагает ему расстерзать своего хозяина... Какое бедное животное? Какого хозяина? Где живет этот хозяин? Как зовут это бедное животное? Или Чикиннит Каело считает себя умнее других?.. Помилуйте! Не считает себя Чикиннит Каело умнее других! Ах, не считает? Тогда почему же Чикиннит Каело, который сам говорит, что он не умнее других, должен занимать-

ся столь важным государственным делом? Нет, таким делом должен заниматься человек, умнее многих других! Помилуйте! Чикиннит Каело умнее многих других! Ах, умнее? Тогда что это за хозяин и как зовут его собаку?.. И тут Чикиннит Каело почувствовал, как не чья-нибудь, а именно его лысая голова отделяется от тела, и он судорожно проглотил слюну... Па-па-па... Уведомить! Уведомить Первого ревзода, и немедленно!..

В этот момент из нижнего помещения поднялся старший переписчик и попросил Чикиннита Каело спуститься вниз, чтобы ознакомиться с первым переписанным вариантом будущего красного «Альманаха». Чикиннит Каело положил на стол, свернув предварительно в трубочку, рукопись Ферруго и спустился вниз. Он в целом одобрил первый вариант красного «Альманаха», но велел изменить предсказание погоды, которая, согласно предсказателю, ожидалась знойной и жаркой, и заменить ее на прохладную с небольшим дождиком, потому что маэрант не переносил жару. В черном же «Альманахе» пусть останется жара и зной... Когда Чикиннит Каело поднялся на свою террасу, свернутой в трубочку рукописи Ферруго на столе не было... Чикиннит Каело обшарил все помещение, перерыл корзину, обожал несколько раз дом снаружи — вдруг порыв ветра унес бумаги на улицу?.. Напрасно. Рукопись Ферруго исчезла бесследно... Тяжело дыша, обливаясь потом, Чикиннит Каело опустился в свое кресло, бессмысленно глядя на пустой стол... Па-па-па... Пе-пе-пе...»

Почувствовав облегчение и успокоившись, Гайский вырвал лист из уже прочитанного и использовал его по назначению, приговаривая: «Так тебе! Вот твое место!» В коридоре он столкнулся с уходящим домой Индеем Гордеевичем.

— Проводите меня домой, Гайский,— предложил Индей Гордеевич.

Индей Гордеевичу Гайский отказать не мог.

Увидев в руке сатирика тетрадку в черном кожаном переплете, Индей Гордеевич спросил:

— Между нами, Гайский, как вам эта вещьца?

— Пакость! — вдруг закричал Гайский. — Аморальное произведение! Графоманский бред!.. Без мысли! Без игры ума! Идея порочна!

— А у меня несколько иное впечатление... Мне пока трудно сформулировать... Какой-то философ сказал, что литература действует не на сознание, а на подсознание... Так вот... Как бы это вам сказать... Я надеюсь на вашу мужскую скромность...

— Как могила! — сказал Гайский.

— В меня эта повестушка влила новые силы... Надо вычитывать верстку юбилейного номера, а перед глазами — Ригонда,— смущенно произнес Индей Гордеевич.

— Нет ничего удивительного,— согласился Гайский. — Она достойная, красивая и очень женственная женщина, а вы еще достаточно молодой мужчина...

— Но ведь ничего подобного я не испытывал уже пятнадцать лет... А вот прочитал и...

— Дело в том, Индей Гордеевич, что мы не признаем пророка в своем отечестве... Помните, какой острый рассказ вы мне завернули, а всякая дрянь на вас действует...

Гайский, когда надо, уметь постоять за себя.

— Не спорю, Гайский,— сказал Индей Гордеевич,— у вас живой ум, острый язык, но ни один ваш рассказ ни разу даже не задел то, что философия именует подсознанием... А здесь...

— Выдаете желаемое за действительное,— сказал

Гайский, когда они уже подошли к дому Индея Гордеевича.

— Не дай бог! Типун вам на язык! — заключил Индей Гордеевич и, не дожидаясь лифта, помчался по лестнице, словно горный козел.

«И он завидует», — подумал Гайский и здесь только заметил, что, заболтавшись с Индеем Гордеевичем, он забыл оставить на столике Ольги Владимировны проклятую тетрадку в черном кожаном переплете. И тут он снова почувствовал приближение очередного приступа. Быстро сообразив, что до ближайшего места общественного пользования ему не дотянуть, а к Индею Гордеевичу стучаться по такому делу неудобно, он заспешил большими шагами к спасительной гавани, каковой являлась квартира Вовца...

XI

В этот вечер в 20 часов 30 минут истекал срок одной из самых невероятных «маз», какие когда-нибудь держали Вовец и Колбаско. История вкратце такова. Два года назад Колбаско находился в командировке в городе Качарове, где он писал поэму «Хлеба мои вольные!». Спустившись из номера гостиницы поужинать в ресторан, он увидел сидящего за столиком возле оркестра мухославского поэта-песенника Продольного, автора знаменитой «Мухославской лирической». Помимо несомненного дарования, Продольный славился еще одним отличительным достоинством: он имел довольно приличный, чтоб не сказать больше, горб. Это обстоятельство не было для Колбаско откровением, да и сам факт сидения Продольного в качаровском ресторане еще ни о чем не говорил. Более того, в другое время Колбаско не преминул бы даже и подсесть к Продольному, потому как тот был человеком богатым и иногда любил угощать. А кто, скажите, в наше время откажется от дармового ужина? Глупец откажется. А Колбаско, как известно, глупцом не только не был, но и, что значительно важнее, таким себя не считал. Так вот, в другое время Колбаско непременно подсел бы к Продольному. Но в том-то все и дело, что Продольный был не один. Напротив него сидел моложавый, с лицом Фернанделя, тоже... горбун. Но и это еще полбеды. Оба развлекали очаровательную юную горбунью, а обслуживал их, и это было совсем странно, горбатый официант. Колбаско относился к людям, которые считают, что ничего просто так в жизни не случается, и его воспаленный мозг лихорадочно заработал... Секта? Вряд ли. Продольный был секретарем Общества «Знание». Симпозиум? Международный конгресс? Но где флажки на столиках? Где транспаранты на улицах? Родственники? Вроде бы не похоже... Нет. Тут что-то другое... Решая этот ребус, Колбаско отужинал, расплатившись с официанткой, которая в начале ужина вызвала у него отвращение, но по мере того, как он опустошал графинчик, становилась все привлекательнее, пока наконец не превратилась в писаную красавицу, столь желанную сегодня Колбаскиному поэтическому сердцу. Пригласив ее к себе в номер и тут же получив отказ, Колбаско подумал, что это даже к лучшему, и заинтересовался у нее, откуда в Качарове такое большое количество горбатых представителей, на что официантка ответила, что в городе живет один старичок, который выправляет горбы в довольно короткое время, что старичок этот — репатриированный армянин греческого происхождения, что полгода назад он избавил от горба ее покойного мужа, да что там мужа — ее самое. При этом официантка повернулась спиной к Колбаско, предоставив ему воз-

можность удостовериться в сказанном. Колбаско, будучи человеком не только впечатлительным, но и практичным, немедленно замыслил коварно использовать этот факт с выгодой для себя. И, возвратившись в Мухославск, в тот же вечер предложил Вовцу «мазу», что не пройдет и двух лет, как у песенника Продольного исчезнет горб. Вовца не пришлось долго уговаривать, и он поставил рубль против пятака, что этого не произойдет. В данном случае, как и в остальных, Вовец исходил из того, что все равно с Колбаско такую сумму не получишь, но бутылку он с него всегда стребует. Колбаско же, не посвящая Вовца в тайну качаровского исцелителя, справедливо для себя посчитал, что дармовой рубль у него в кармане. Хотя бы и через два года. Но по мере того, как шло время, а горб у Продольного не только не уменьшался, но, наоборот, вроде бы стал еще солиднее, Колбаско скучнел, заставляя себя забывать про заключенную «мазу», а индеек придавал ей значение шутки. У Вовца же память была отличная, и он каждый раз, встречая Продольного на улице, потирал руки и поглаживал живот, предвкусывая грядущий день платежа. И вот в вечер, о котором идет речь, исполнилось ровно два года с того знаменательного момента, и Вовец извлек из-под подушки документ, подтверждающий заключение «мазы», спросив, каким образом Колбаско собирается погасить долг. Колбаско покраснел, красными пятнами и заявил Вовцу, что только подлец мог заключить такую «мазу», заведомо зная, что никакими средствами нельзя человека избавить от горба, а с подлецами он вообще иметь дел не желает и деньги отдавать не собирается. Но поскольку они все-таки были друзьями и до драки у них дело почти никогда не доходило, Вовец объявил Колбаско амнистией, заменив пятьсот рублей бутылкой. Колбаско был несказанно обрадован, посчитав, что он наколот простодушного Вовца, сэкономив четыреста девяносто рублей. А простодушный Вовец тем более остался в выигрыше, потому что о большем и не мечтал. Колбаско сбегал, и они мирно выпивали и закусывали, являя всему остальному миру пример того, как можно договориться даже в самой щекотливой и конфликтной ситуации.

Их незатейливую трапезу прервал нервный звонок в дверь. Аркан Гайский, едва не сбив открывшего ему Вовца, промчался по коридору и скрылся в туалете.

Через десять минут он появился в комнате, держа под мышкой тетрадь в черном кожаном переплете.

— Съел я чего-то, наверно, — сказал он друзьям, как бы извиняясь, и подсел к столу.

— Ну? — спросил Вовец. Он всегда говорил «ну», когда нечего было сказать.

Без ярко выраженной радости он поставил перед Гайским рюмку и занес над ней бутылку, но наливать не стал, выдерживая известную вопросительную паузу.

— Ни в коем случае! — замахал руками Гайский. — Я чего-то съел такое!..

— Как знаешь, — облегченно вздохнул Вовец и с надеждой взглянул на Колбаско.

— Буду, буду, — испортил ему настроение Колбаско. — Не умер еще!

— Черт знает что! — заговорил Гайский. — Носятся с этой повестью! Пакость! Дрянь! Бестиев, и тот лучше пишет!.. Ну, ладно. Я, может, необъективен — у меня рассказ зарубили, но я тебя спрашиваю, Вовец!.. Вот ты — талантливый, с безупречным вкусом... Вот прочти и скажи! Только честно! Тебе юлить нечего, тебя в журнале не балуют...

— Позовут еще! — вдруг затряс бородой Вовец. — Коня белого пришлют, а я им вот покажу!

И Вовец показал, как он им покажет.
— И правильно сделаешь, — согласился Гайский. — Надо иметь гордость.
— Я один держусь! — начал заводиться Вовец. — Чем писать муру, лучше вообще не писать!..
— Что ж я, по-твоему, муру пишу? — обиделся Колбаско.
— А я тем более, — сказал Гайский.
— Почему это ты «тем более»? — наскочил на него Колбаско. — Мажем, что у тебя больше муры, чем у меня?
— Я просто больше пишу, — возразил Гайский. — А талант имеет право на издержки.
— Коня белого пришлют! — закричал Вовец и выпил свою и Колбаскину рюмки.
— Я не умер еще! — сказал Колбаско.
— Мы все талантливые люди, — примирительно произнес Аркан Гайский. — И противно, когда нас затирают бездарности! Подумаешь! Чей-то сын!.. Я же не кичусь тем, что мой отец в свое время был несправедливо исключен из рабфака!.. Вот ты прочти, Вовец. У тебя безупречный вкус!..
— Что ж, у меня плохой вкус? — спросил Колбаско и пошел пятнами.
— Ты поэт, — заметил Гайский, — а здесь, с позволения сказать, проза!..
— Чем читать муру, лучше вообще не читать! — не успокаивался Вовец. — Позовут еще!.. Коня белого пришлют! А вот я им покажу!
— Пришлют! — обнадежил Гайский. — Еще как пришлют! Тот же Индей Гордеевич придет!.. Кстати, он, по-моему, просто чокнулся!.. Прочитал эту повесть и сказал, что снова почувствовал себя мужчиной!.. Ну?
— Индей Гордеевич зря ничего не говорит, — вдруг насторожился Колбаско и быстро-быстро начал думать о чем-то своем, сугубо личном, исключительно интимном и семейном, а потом попросил решительно: — Дай мне тетрадку на ночь! Утром отдам.
— Тебе-то зачем? — польстил ему Гайский. — Ты ж у нас богатырь!
— Мне-то ни к чему, — гордо ответил Колбаско, — я хочу, чтобы Людмила прочла!.. Индей Гордеевич зря не скажет!..
— Домой дать не могу, — сказал Гайский, — это я у Ольги Владимировны взял.
— Ну не звать же сюда Людмилку, — резонно заметил Колбаско и с ходу предложил: — Слушай! А прочти-ка вслух! Я все-таки верю Индею Гордеевичу!..
— Все?! — испугался Гайский.
— Хотя бы один кусок!.. А вдруг и вправду!..
— Хорошо, — согласился Гайский, — но предупреждаю: все это пакость и дрянь! Никакой сатиры!..
— Ладно! Ты читай!
Колбаско растолкал уже задремавшего Вовца, и Гайский, открыв тетрадь где-то посередине, начал читать, вкладывая в этот процесс свое резко негативное отношение.

«Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Впервые за все время своего правления мадрант, кажется, усомнился в преданности ревзода. Мадрант молод. Мадрант в силу своей молодости совершает поступки, которые кажутся правильными только ему, но ведь все, что делает мадрант, должно быть правильным прежде всего с точки зрения государства. Государство — это многовековое дерево, а мадрант — лишь крона его. Основу его, его ствол составляют ревзоды и армия. А горожане — эти копошащиеся в зем-

ле и воде черви — корни государства. Можно срубить крону. Ревзоды и армия родят новую крону. Можно срубить ствол. Корневая система воспроизведет новых ревзодов и новую армию, которые, в свою очередь, создадут новую крону. Но если заболели и начинают гнить корни — смерть всему дереву. Можно обожать мадранта и желать ему вечного здоровья и процветания, но если его поступки представляют хоть малейшую опасность для государства, его надо убить, сожалея и проливая слезы над его гробом. Можно ненавидеть мадранта и желать ему ежеминутной и страшной гибели, но если жизнь его и дела его укрепляют дерево, нужно просить небо о бесконечном продлении жизни ненавистного существа, а когда наступит все-таки неотвратимый смертный миг, проливать слезы печали и горести, облегченно вздыхая одновременно!.. Добравшийся вчера до острова свой человек из Страны Поганных Лиц принес известие, что там замыслили Великий Поход на мадранта, и если это так, то армада вражеских фрегатов уже в пути, и не далее как через десять дней после Новой луны она будет здесь. Надо вдвое увеличить армию, надо возвести дополнительный вал укреплений. Но мадрант приподнял правую бровь и улыбнулся своей вызывающей дрожь улыбкой: разве армия мадранта не самая сильная в мире? Разве укрепления созданы не для того, чтобы об их стены разбивал голову любой враг? Разве не об этом докладывал каждое утро Первый ревзод? Разве обманывал он своего мадранта? Да, высокий мадрант, это так. Это даже больше, чем так. Однако мадрант молод. Слова подобны женским украшениям, но, когда ложишься с мужчиной, надо их снимать. Горожане погрязли в лени, армия разжирела, Священная Карраско злится с каждым днем все сильнее и сильнее, а мадрант как будто ничего не замечает. Его заботит что-то свое, но Первый ревзод угадывает, что это с в о е — не что иное, как белая платяная вошь, которую мадрант переселил из розового дворца в собственные покои (!).

Такого не упомнит история государства. Мадрант упразднил арбаков, чтобы превратить святая святых в грязный тюфяк для справления похотливых нужд! Ревзоды оскорблены. Жены унижены. Две из них во время вчерашней прогулки добровольно бросились в водоем со священными куймонами. Исчез Рредос — гордость мадранта, исчез внезапно, сломав позвоночник одному стражнику и покалечив другого. Но и это не огорчило мадранта. Узнав, он только расхохотался и велел немедленно доставить бледную поганку в свои покои, дав понять таким образом, что не доверяет больше охране розового дворца, а стало быть, не доверяет ревзоду. Напрасно, мадрант! Ох, как напрасно!.. Ревзод мудр. Доверься ему, и он вытащит тебя из бурного потока опасностей. Не доверяя же ему, ты отсекаешь руку помощи, протянутую тебе.

Вот почему Первый ревзод вышел от мадранта, испытывая крайнюю неудовлетворенность. Когда он подходил к зданию совета ревзодов, земля и стены вдруг задрожали от глухого грохота. И Первый ревзод понял: это рычит Карраско, предупреждая всех, что она зла.

Чикиннит Каело встретил ревзода у входа в совет и, упав на колени, заявил, что имеет важную причину для безотлагательной беседы. Совершенно нехотая явился этот старый Каело, но важность причины, о которой он беспрестанно повторял, и его испуганный вид заставили Первого ревзода выслушать хозяина «Альманаха»... Стало быть, вчера во второй половине дня, когда бедный верный Чикиннит Каело, как обычно, не жалея сил своих и мыс-



лей для того, чтобы зеленый и красный «Альманахи» в очередной раз порадовали взоры и слух Первого ревзода и мадранта... когда удалось ему, как кажется, найти невиданные до сих пор эмоциональные оттенки в палитре словотворчества... Понимаю, великий ревзод, и перехожу к важной причине... Когда небо осенило Чикиннита Каело и дало ему радость величайшего открытия, позволяющего возвеличить высокого мадранта поистине безгранично... Конечно, великий ревзод!.. Чикиннит Каело хотел только познакомить тебя... Подчиняюсь, великий ревзод!.. Тогда-то и появился в дверях «Альманах» презренный горожанин, видимо, слуга некоего Ферруго, который положил перед Чикиннитом Каело злобную и опасную аллегоричку, написанную, заметь, великий ревзод, на листе дорогой бумаги, в коей земными словами (глаза б мои не видели этих мерзких слов) содержится прямой призыв к собаке с тем, чтобы она разорвала своего господина!.. Ты понимаешь, великий ревзод, кого подразумевает негодяй Ферруго под словом «собака» и какого господина должна эта собака разорвать?! Прикажи здесь же снять голову с глупого Чикиннита Каело за то, что он осмелился произносить вслух подобные слова!.. Преданный мадранту Чикиннит Каело хотел схватить презренного слугу и бросить к твоим ногам, великий ревзод, но где было взять сил больному Чикинниту Каело!.. Пришлось прибегнуть к хитрости и оставить рукопись у себя, чтобы не спугнуть его и не вызвать подозрений, дать желтый камень надежды с предложением в третий день после Новой луны принести в «Альманах» что-нибудь еще и получить назад рукопись с соответствующими рекомендациями. И слуга негодяй Ферруго клонул на эту наживку и ушел, ни о чем не подозревая... О великий ревзод! Ты спрашиваешь: где эта проклятая бумага? Смерти достоин жалкий Чикиннит Каело! У него ее нет... Едва удалился презренный слуга, старший переписчик, наверняка по злему умыслу, отвлек внимание доверчивого Чикиннита Каело, предложив ему спуститься вниз якобы для проверки готовности красного «Альманаха», и, когда наивный Чикиннит Каело вновь поднялся на верхнюю террасу, ту самую, которую любезно посетил не так давно великий ревзод, бумага исчезла!..

Глубоко задумавшись, Первый ревзод ходил из одного конца зала совета в другой. Не содержание бумаги, о которой рассказал сейчас этот плешивый ублюдок, взволновало его, а сам факт, что кто-то осмелился выпустить жало, кто-то запалил факел. Преступную оплошность допустил Чикиннит Каело, не задержав неизвестного, во-первых, и позволив исчезнуть крамольной бумаге, во-вторых. Но Первый ревзод верит в преданность Чикиннита Каело и относит происшедшее к его старческой глупости, иначе бы не перед Первым ревзодом стоял сейчас на коленях Чикиннит Каело, а перед палачом Бастиио. Наказание, которое ждет хозяина «Альманаха», еще впереди, а пока он имеет возможность искупить свою вину, направив остатки своей изобретливости на то, чтобы раздавить скорпиона, прежде чем он сможет укусить кого-либо, затушить факел, прежде чем будет разожжен костер. С этого момента перед домом, где расположен «Альманах», будут дежурить четыре представителя служб молчаливого наблюдения, чтобы схватить бритого бородача по знаку Чикиннита Каело, как только он появится вновь. И ни одна душа не должна знать о случившемся и о принятых мерах, чтобы не было пищи для нездорового любопытства и слухов. А теперь старик может убираться, дабы не раздражать более своим тошнотворным видом Первого ревзода.

Он долго еще ходил из угла в угол. Нет, нет, все к одному. Его опыт, его мудрость, его нюх подсказывали: что-то разладилось в большом механизме, что-то разболталось. Мадрант пока не чувствует этого или не желает чувствовать, но много лет назад тогда еще молодая Герринда — любимейшая жена отца нынешнего мадранта — сказала Первому ревзоду, что в одном из своих прежних обликов он был крысой. И как это ни противно и оскорбительно, но в чем-то Герринда права: он обладал обостренным чутьем опасности, которое и сейчас его не обманывает, — в корабле появилась течь...»

В этом месте гримаса перекосила лицо тещи-сатирика, и он опрометью бросился из комнаты. Вернулся он минут через семь, серьезный и озабоченный.

— Нет, я точно сегодня чего-то съел, — произнес Гайский, усаживаясь на стул и неодобрительно покачивая головой.

— Слушай! — сказал Колбаско. — А может, эта вещь на тебя так действует? На тебя так, на Индея Гордеевича по-другому...

— Что ж она на тебя не действует? — разозлился Гайский.

— Не знаю, — ответил Колбаско и неожиданно обратился к Вовцу: — Кстати, Вовец, ты помнишь, что должен мне шесть сорок?

— Каждый раз напоминать об этом другу подло! — отрезал Вовец, обводя стол мутными глазами. — Читай, Аркан.

И Аркан Гайский продолжил:

«Олвис, переведенная в покои мадранта, проводила теперь в его присутствии почти все время, но никак не могла понять причину по-прежнему корректного, исключаящего всякую близость отношения к ней. Для отдыха и сна ей была отведена отдельная комната, в которую мадрант никогда не заходил. Олвис видела, что мадрант страдает и мучается, когда разговаривает с ней или просто молча и задумчиво смотрит на нее, и она уже давно готова была облегчить его страдания не столько своим мастерством, сколько желанием, но... Извини, мадрант, ты испытываешь мою гордость, уж коли ты не покупаешь меня и отказываешься брать силой, предлагая игру на равных, то пусть я лучше сдохну (чересчур изысканно для принцессы, конечно), пусть лучше вырвутся наружу мои желания, покрыв кожу струпами и нарывами, но ты не дожدهшься, чтобы я сама завалила тебя (опять грубо, но что поделаешь!), хоть ты мне и нравишься с каждым днем все сильнее и сильнее.

А мадрант, погруженный в свои мысли, развлекал ее, а может быть, и сам развлекался, играя со своим шутом. Он далеко забрасывал небольшой круглый желтый камень, а шут, изображая собаку, разыскивал этот камень и в зубах приносил его мадранту, поскуливая и глядя на мадранта своими зеленоватыми глазами. Потом этот невысокого роста человек вдруг становился похожим на жалкого старикашку, на лбу у него вздувались вены, и начинала трястись голова. Он называл мадранта Ферруго. Па-па-па... Пе-пе-пе... Ферруго хочет стать знаменитым поэтом?... Ферруго не досок. Ферруго еще не достоин... Кто такой Ферруго?... Па-па-па... Не знаю такого... У нас есть стихотворцы, у которых Ферруго должен учиться, много учиться, долго учиться... Беденький Ферруго! Вот тебе желтый камень, чтоб ты не унывал...

Мадрант улыбался и обращался к Олвис, показывая ей желтый камень, чтобы Олвис знала: Чикиннит Каело отказывает какому-то Ферруго, но если бы стало известно, кто такой Ферруго, эти строки Чикиннит Каело расклеил бы по всему городу и сделал бы молитвой для горожан. Но Чикиннит Каело никогда не узнает, кто такой Ферруго, потому что мадрант не хочет побеждать поэта Ферруго в нечистой игре, и если Ферруго бросил вызов мадранту, мадрант принимает вызов и будет драться с ним так, как может драться человек, которого небо призвало быть мадрантом. И только победитель станет достойным прекраснейшей Олвис. И мадрант снова кидал как можно дальше желтый камень, и шут снова в зубах приносил его мадранту, глядя на него своими зеленоватыми глазами. А потом шут становился похожим на Олвис и, томно вздыхая, подмигивал ей, садился на колени к мадранту, обвивал его шею руками, прислоняясь своей головой к его груди. И тогда мадрант брал его левой рукой за шиворот («Почему он прячет свою правую руку?») и легко, словно щенка, отшвыривал шута, после чего шут заливался слезами и начинал рвать на себе волосы...

Вовец икнул. Гайский с опаской взглянул на него и продолжал:

«...А на город меж тем наступала не поддающаяся ни проклятиям, ни заговорам, ни мольбам иссушающая, безжалостная жара. Обмелели, а вскоре и вовсе пересохли ручейки и питьевые каналы. Уровень воды в пресном водоеме настолько понизился, что совет ревзодов ограничил потребление воды горожанам вчетверо, а рабам — вшестеро. Пожухла и выгорела трава, свернулись и превратились в сухие мертвые трубочки листья на деревьях, и сами деревья под горячим оранжевым солнцем стали похожими на скелеты. Земля сморщилась и облысела, покрывшись трещинами и корками. Горожане до глубокого вечера не покидали своих домов, спасаясь от зноя. Рабы на полях и в каменоломнях падали замертво от губительных тепловых ударов. Тела их сначала сбрасывали к священной куймонам, но те, ожирев от обилия жертвенной пищи, ушли на дно, и разбухшие трупы постепенно покрыли поверхность водоема. Тогда мертвых рабов перестали убирать, и, разлагаясь, они заполнили город и окрестности густым тяжелым смрадом, который стал ощущаться даже во дворце мадранта, хотя тот находился на высоком холме...»

Вовец снова икнул.

«Легче других пришлось рыбакам, которые с рассветом уходили далеко в море и облегчали участь, бросая свои уставшие, потные тела в прохладную морскую голубизну. И лишь поздно вечером приморские улочки и драббинги — эти заведения, где могли собираться и пить вино горожане, — оживлялись. Возвратившиеся рыбаки в обмен на сведения об удачном или неудачном улове получали от горожан свежие новости, накопившиеся за день. А новости были мрачными и неутешительными. Около полуночи в один из драббингов прибежал бледный, на смерть перепуганный воин из горного сторожевого отряда и, едва успокоившись двумя большими чашами вина, рассказал, как некоторое время назад, вскоре после захода солнца, на его глазах был

опрокинут на землю выскочившим из-за скалы огромным животным начальник сторожевого отряда, проверявший ночной караул. Рассказчик и его товарищ, остолбенев от ужаса, видели, как чудовище разорвало грудь и живот начальника отряда и, издав жуткий вой, в три гигантских скачка исчезло во тьме. Обезумевший рассказчик бросился в город, чтобы поведать эту историю жителям...»

Вовец икнул.

«Утром страшная новость уже расползлась холерой по городу — от горожанина к горожанину, от дома к дому, от драббинга к драббингу. Она видоизменялась и обростала новыми деталями и фактами, придававшими ей дополнительную правдивость. Не начальник, а весь отряд был растерзан возникшим в ночи из небытия невиданным зверем. Никакой это не невиданный зверь, а взбесившийся от жары любимый пес мадранта, и не начальник горного отряда стал его жертвой, а один из ревзодов, охотившийся, на свою беду, в горах прошлой ночью. Никакой это не пес мадранта, а символ неба, посланный им на землю в облике свободной собаки, чтобы объединить горожан и поднять их на свержение мадранта, и этот символ может принимать не только собачий, но и человеческий образ, превращаясь то в бородатого карлика, то в прекрасную белокурую женщину, и вчера в одном рыбацьем драббинге его видели в облике худого парня со странными зелеными глазами, и он зачитывал какую-то бумагу, в которой собаки призывались к расправе над своими хозяевами, после чего находившиеся в драббинге впали в страшное возбуждение и этой же ночью ушли в горы, где обезоружили сторожевой горный отряд мадранта, и символ этот имеет имя, и зовут его не то Верраго, не то Буррого, не то Ферруго...»

Вовец икнул.

«...да-да, высокий мадрант, Ферруго — так зовут негодяя, из-за которого всполошился город, а воины ослушиваются приказаний начальников, отказываясь следовать в горы, чтобы изловить и уничтожить бешеного Рредоса, ибо нет никаких сомнений в том, что таинственное животное, растерзавшее несчастного начальника горного сторожевого отряда, и есть сбежавший любимейший пес, и коли мадрант доверяет Первому ревзоду, нарушившему покой мадранта столь неприятными сообщениями, то Первый ревзод удаляется для принятия необходимых в данном случае мер...»

Вовец икнул и очнулся.

«Мадрант приподнял правую бровь и улыбнулся. Рредос был славным псом, но неужели незыблемая мощь армии мадранта, о чем неоднократно докладывал Первый ревзод («Да, мой мадрант, мощь армии по-прежнему незыблема»), столь ослабла, что она не может отловить бешеную собаку, успокоив таким образом бедных, изнывающих от жары и зноя горожан? Знает ли Олвис, что делают тогда, когда один воин не подчиняется приказу? Его казнят, но казнят не только его, а еще десять ни в

чем не повинных воинов из того же отряда. И если кто-то и потом вздумает не подчиниться, то уже не будет необходимости в новой казни. Его разорвут свои же, ибо никто так не дорожит жизнью, как рабы, которым кажется, что они свободны. Что же касается Ферруго, бросившего вызов мадранту, то мадрант принимает этот вызов и становится беспощадным...»

По мере того, как Гайский читал, Колбаско мучительно перебирал в памяти всех, кто когда-либо сколько-либо был ему должен... Вовец — шесть сорок... Дамменлибен — двадцать три восемьдесят и еще вчера пятьдесят копеек за сигареты... Это тридцать рублей семьдесят копеек... Мухославское издательство недодало ему сто четырнадцать рублей... Это сто сорок четыре семьдесят... Отец — восемьдесят... Нет. Это он отцу должен восемьдесят... Минуточку! А с Бестиевым они накатали на пони немецкую переводчицу на тридцать два рубля. Бестиев заплатил только двенадцать, сказав, что он на пони не катается... Но это его собачье дело... Четыре рубля Колбаско с него вырвет. Это сто сорок восемь семьдесят... Все? Неужели больше ему никто не должен?.. Вовец — шесть сорок... Вовца уже считал... А еще вспомнил Колбаско школу. В пятом классе за январь на завтраки он сдал четыре рубля, но ведь десять дней — каникулы, а деньги до сих пор не вернули!.. Сто пятьдесят два семьдесят... А наезднику Барабулину три рубля за то, что он подъедет на Конвейере... Хотя ипподром лучше не вспоминать... Но все-таки набегает...

Вдруг Вовец сказал:

— Он мне читает какую-то мурлу, а я его слушаю! Да вообще, если хотите знать, в России есть только один писатель! Мельников-Печерский! А все остальное — мурла!.. Приползут еще!.. Белого коня пришлют!.. А я им вот покажу...

— Мурла! Чистая мурла! — согласился Гайский. — Я рад, что Вовец такого же мнения. Хотите, я вам лучше новый рассказ прочитаю? Я там здорово придумал: приходит Леонардо да Винчи в ресторан, а официантка, которая его плохо обслуживает, оканчивается Моной Лизой...

Но поскольку, кроме рассказа о Леонардо да Винчи, ничего более крепкого уже не осталось, Вовец категорически затряс бородой, имитируя усталость и алкогольное опьянение. Колбаско, по-прежнему считая, что Индей Гордеевич зря ничего не скажет, стал уговаривать Гайского дать ему до утра тетрадь в черном кожаном переплете — не для себя, конечно, а для Людмилки, которая, по словам Колбаско, последние несколько месяцев выказывает некоторое безразличие к нему и два раза не ночевала дома. В конце концов Гайский уступил, взяв слово с Колбаско, что утром тот вернет тетрадь в целости и сохранности.

Они вышли от Вовца в третьем часу ночи. Гайский по известной причине, которая начала его изрядно волновать, едва успел добежать до дома. Колбаско же, определив за сегодняшний вечер, что государство и отдельные его граждане должны ему сто шестьдесят рублей двадцать копеек, возвратился домой в хорошем расположении духа, считая, что еще не все потеряно и жизнь не так уж плоха. И вскоре уже весь Мухославск спал, готовясь к очередному трудовому дню, а наиболее яркие его представители под утро даже видели сны, каждый, как говорят в таких случаях, в меру своей испорченности, образованности и интеллигентности.

...Бестиеву снилось, что ОНИ бегут по огромной политической карте мира, покрытой свежесрезанной, как в рассказе Брэдли, травой. Бегут ОНИ плавно, словно в замедленном кино. ОНИ бегут втроем, взявшись за руки. Бестиев в центре, справа от него — наш посол у них, слева — их посол у нас. ОНИ бегут, улыбаясь, перепрыгивая через слабо развитые страны, в джинсах по сто рублей и в розовых рубашках с воротником-стойкой по тридцать пять чеков.

— Мы тебя любим, — говорит Бестиеву наш посол у них.

— И мы тебя любим, — говорит их посол у нас. Бестиев не понимает.

— Как это? — спрашивает он нашего посла у них. — Вы из какой системы?

— Из нашей, — отвечает наш посол у них и ласково треплет Бестиева по щеке.

— А вы из какой? — спрашивает Бестиев у их посла у нас.

— Из нашей, — отвечает их посол у нас и ласково треплет Бестиева по другой щеке.

— Как это? — силится понять Бестиев. — Ведь если Мы тебя любим, то Вы меня не любите? Так? — Любим, — говорят послы.

— Но ведь мы все из разных систем! — напрягается Бестиев.

— Гармония, — говорят послы.

— Это удалось только Бестиеву, — обращается наш посол у них к их послу у нас.

— Только Бестиеву это удалось, — обращается их посол у нас к нашему послу у них.

— А ведь у нас многие пытались, — говорит наш посол у них.

— И у нас многие пытались, — говорит их посол у нас.

— А куда мы бежим? — спрашивает Бестиев. — За нами гонятся?

— Туда, — отвечают послы и указывают в сторону горизонта.

И там, у самого горизонта, Бестиев видит дымящуюся гору.

— Карраско? — спрашивает Бестиев.

— Карраско, Карраско, — кивают послы.

— А почему она дымит? — Бестиев нервничает. — Это символ?

— Единство — борьба противоположностей, — говорит наш посол у них.

— Как это? — Бестиев шумно выпускает сигаретный дым в лицо нашему послу у них. — Если это символ, то почему он дымит?

— Символ вулкана, — говорит их посол у нас.

— Вулкан символа, — говорит наш посол у них.

— Как это? — Бестиев недоумевает и отрывает пуговичку на рубашке их посла у нас. — А зачем мы туда бежим?

— А там конец, — отвечают послы.

— Как это? — Бестиеву становится страшно. — Конец чего?

— Конец — это начало начала, — говорит наш посол у них.

— Как это конец может быть началом? — Бестиев пытается остановиться. — Значит, начало может быть концом? — Бестиев пытается вырваться. — Не хочу конца! — Бестиеву становится душно. — Не хочу начала! — Бестиеву нечем дышать. — Хочу продолжения!..

Но в это время на горизонте что-то взрывается со страшным грохотом, и Бестиев открывает глаза. Над Мухославском гремит гром и сверкают молнии.

«Начитайся дерьма, — думает Бестиев, захлопывая окно, — потом спать не можешь...»

Вовцу снился абсолютно дивный сон — будто он выступает на своем творческом вечере на ликероводочном заводе. Он стоит на торжественно убранной сцене перед микрофоном и держит изданный в Лейпциге свой афоризм в двух томах. Он раскрывает тома и читает: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». В зале вспыхивает овация. Вовец кланяется и хочет покинуть сцену. Но его не отпускают. Он снова читает с выражением: «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера». Рабочие скандируют его имя. И он вынужден повторять еще и еще... Народ на руках выносит его и его бороду в производственный цех, и сон Вовца становится еще более дивным. Конвейерная лента, заполненная чистенькими прозрачными бутылками, причудливо извивается, образуя по форме афоризм «Лучше 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера».

— Это высшее признание! — улыбается Вовцу директор.

А над ним, словно кровеносные сосуды, переплетаются стеклянные трубы, и в них струится, журчит, переливается, манит, обещает, ласкает, дурманит, рассуждает, философствует, творит, зовет и ни в коем случае не конформирует не похожее на муру настоящее произведение. Вовец тянется к этому произведению душой и телом. Он хочет прикинуться к нему, влиться в него и раствориться в нем, подобно тому, как режиссер растворяется в актере, но в этот момент сон Вовца из дивного становится кошмарным, потому что директор поводит перед его носом указательным пальцем: мол, ни-ни! Ни в коем случае!.. Вовец в гневе выбегает из цеха.

— Позовут еще! — иступленно кричит он. — Белого коня пришлют!.. А вот я им покажу!..

— Покажешь, все им покажешь, — гладит его по горячей голове теща. — Не ори только.

Вовец садится на кровати.

— Где Зина? — спрашивает он, дико озираясь.

— Помилуй, — говорит теща. — Она уж две недели как в командировке.

Вовец засыпает сидя, а теща, укладывая его, бормочет: «И на кой хрен она вышла за писателя?»...

Поэту Колбаско всю ночь снились шесть тысяч четыреста двадцать восемь рублей, и он не хотел просыпаться до двенадцати часов дня, потому что никогда раньше таких денег не видел...

Гайскому в эту ночь ничего не снилось. Ему было не до сна. «Хорош бы я был, если б встретился сегодня с Ольгой Владимировной», — думал он.

XII

С-с-с... Алеко Никитич ждет Индея Гордеевича в вестибюле, еще не нервничая, потому что время пока есть, но уже выговаривая ему мысленно по поводу его безответственности. Индей Гордеевич вбегает в десять часов пять минут. Выглядит он ужасающе. Белки воспалены. Под глазами синеватые мешки. Он плохо выбрит и бесконечно зевает. Милиционер долго изучает пропуск Индея Гордеевича и тщательно сверяет фотографию на паспорте со стоящим тут же живым подлинником.

— В таком виде, — говорит Алеко Никитич, — он вообще имел право вас не пропускать. Помню, когда я работал в центральной газете, мне дали гостевой пропуск на Сессию. Ну, в перерыве зашел я в

туалет. И вдруг появляется, сами догадываетесь кто, и, несмотря на то, что я был занят делом, бросает мне между прочим: «Бриться надо, молодой человек!..» Похлопал меня по плечу, руки сполоснул и вышел. С тех пор, Индей Гордеевич, для меня каждое утро начинается с тщательнейшего выбривания... Закалка...

Индей Гордеевич виновато молчит. Глядя в зеркало лифта, он проводит ладонью по щекам, а потом спрашивает с надеждой:

— А может, сойдет?

— Дай-те бог, как говорится. Вы же его знаете.

— Верите, всю ночь глаз не сомкнул...

Индей Гордеевич виновато улыбается.

— Я вам советую, — говорит Алеко Никитич, — перед тем, как войти в кабинет, отведайтесь, как следует, в коридоре... У нас еще есть три минуты.

Индей Гордеевич, стоя лицом к окну, активно зевает до тех пор, пока Алеко Никитич, взглянув на часы, не делает ему знак.

— Доброе утро, Ариадночка, доброе утро, милая! — говорит Алеко Никитич, входя в приемную. Он целует Ариадне Викторовне руку. — Как здоровьице? Супруг как?

Ариадна Викторовна, не ответив Алеко Никитичу, поводит глазами в сторону кабинета и произносит по-утреннему делово:

— Он вас ждет. Но учтите: он не в духе.

Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индея Гордеевича, и оба осторожно входят в кабинет.

Н. Р. сидит за большим столом. В руках держит мелко исписанный лист бумаги. Ноги под столом разуты. Полуботинки стоят рядом. Одна нога время от времени ласково поглаживает другую. И если смотреть только под стол и видеть исключительно ноги Н. Р., то они становятся похожими на двух странных, одетых в коричневые носки зверьков, которые ведут не зависящий от Н. Р. образ жизни. Они то ласкаются, то щекочут, то задираются, то расходятся и обиженно смотрят друг на друга, то снова сходятся и начинают драться. Но если перевести взгляд с ног Н. Р. на его лицо, а потом с лица на ноги, то можно усмотреть определенную зависимость поведения этих ног от выражения лица Н. Р. Вот лицо едва заметно ухмыльнулось, и правая нога уже пытается заигрывать с левой. Вот лицо нахмурилось, и левая нога прижимает правую к полу. Вот лицо разгневалось, и ноги разбегались в разные стороны. Кажется, еще немного — и они зашипят, словно два кота. Судя по тому, что сейчас ноги находятся на почтительном расстоянии друг от друга да еще угрожающе притоптывают, Алеко Никитич понимает: Н. Р. пребывает в состоянии крайнего раздражения.

— Доброе утрецо! — севшим голосом произносит Алеко Никитич. — Как здоровьице? Супруга как?

Н. Р. не реагирует на приветствие. Он занят мелко исписанным листком, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем продолжают стоять в дверях.

Внезапно Н. Р. припечатывает листок к столу ударом правой руки, левой рукой придвигает к себе телефон, отодвигает от себя какую-то папку, поправляет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами, отодвигает телефон, придвигает папку, задвигает на край стола стакан с чаем, опять поправляет стакан с карандашами, одновременно придвигая к себе телефон и пряча папку в ящик стола, кладет мелко исписанный листок в центр стола, отодвигает телефон, вынимает папку из ящика, поправляет стакан с карандашами, ищет глазами стакан с чаем, находит его и придвигает к себе, а на его место ставит телефон, переворачивает страничку настольного перекидного календаря, отодвигает ста-

кан с чаем и придвигает к себе папку, кладет ее в ящик стола, перелистывает настольный календарь справа налево, возвращая его в исходное состояние, и ставит его на место телефона, затем вынимает папку из ящика, а листок кладет на край стола, как бы молча приглашая Алеко Никитича и Индей Гордеевича ознакомиться с его содержанием. Но едва они делают движение по направлению к столу, как Н. Р. накрывает листок правой рукой и придвигает его к себе, а на место листка идет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Все эти манипуляции Н. Р. производит сосредоточенно, не поднимая головы, не обращая внимания на вошедших. Это напоминает Индею Гордеевичу пасьянсы, которые любит раскладывать Ригонда. Индей Гордеевич вздрагивает, вспоминая Ригонду, и нервно зевает, не в силах погасить не то стон, не то вой, идущий из груди. Алеко Никитич с тревогой смотрит на Индею Гордеевича, но, к счастью, Н. Р. занят своими думами. Он кладет папку в ящик, отодвигает телефон, придвигает к себе стакан с чаем, на мелко испанский листок ставит стакан с хорошо заточенными цветными карандашами. Затем он достает из футляра очки, нацепляет их на нос, вынимает папку из ящика и, поставив телефон на правый край стола, снимает очки и прячет их в футляр, одновременно кладя папку в ящик стола. Все эти на первый взгляд бессистемные движения на самом деле графически отображают ход мыслей Н. Р., и те, кто хорошо его знает и часто с ним общается, прекрасно изучили маршруты настольных предметов и в зависимости от того, что, куда и зачем, могут получить ясное представление о внутреннем состоянии Н. Р. и о том, что кого ждет в ближайшем будущем. Вот придвигается телефон («Уволю!»). Отодвигается папка («Из партии выгону!»), поправляется стакан с цветными карандашами («Дубинки!»). Придвигается папка («Если не из партии, то выговор с занесением!»). Отодвигается телефон («Не уволю, но в должности понижу!»). Придвигается стакан чая («Что у вас вместо головы?»). Придвигается телефон («Уволю к чертовой матери!»). Кладется папка в ящик («И под суд отдам!»). Поправляется стакан с карандашами («Задница у вас вместо головы!»). Перелистывается календарь («Какое сегодня число?»). Вынимается папка из ящика («Под суд не отдам, а надо бы!»).

Алеко Никитич напряженно следит за причудливыми изгибами мыслительной кривой Н. Р., потому что знает: если последним в этой серии перестановок будет стакан с хорошо заточенными цветными карандашами («Лошадина задница у вас, а не голова!»), то все обойдется. Н. Р. поправляет стакан с карандашами, откидывается на спинку кресла, и Алеко Никитич облегченно вздыхает.

— Ну, хлябь вашу твердь! — не поднимая головы, грозно спрашивает Н. Р. — Что скажете? А?

— Да тут, понимаете, странную рукопись мы получили, — делая шаг вперед, говорит Алеко Никитич.

— А какой, интересно, день сегодня? — спрашивает Н. Р. по-прежнему грозно и по-прежнему не поднимая головы.

— С утра как будто среда была, — отвечает Алеко Никитич как можно более спокойно.

— А вы что по этому поводу думаете? — обращается Н. Р. уже к Индею Гордеевичу.

— Вообще... если по календарю... — зевает Индей Гордеевич.

— Я спрашиваю, сколько дней прошло с той ночи, — Н. Р. разворачивается на своем вертящемся кресле к окну, и руководители журнала видят те-

перь только его спину, — с той ночи, когда над городом висело это «неизвестнотто»?

— Три? — не очень уверен Индей Гордеевич.

— Стало быть, какой сегодня день?

— Четвертый? — все еще не уверен Индей Гордеевич.

— То-то, хлябь вашу твердь!.. Вы сами видели?

— Как можно видеть то, чего не бывает? — хочет отшутиться Алеко Никитич. — В воскресенье по городу слонялось много нетрезвого населения... А в таком состоянии можно увидеть все что угодно... Мы уже заказали антиалкогольную статью академику...

— А я видел! — прерывает его Н. Р., ударив кулаком по подоконнику. Он сидит все еще спиной к посетителям. — Что же вы, хлябь вашу твердь, против меня заказали антиалкогольную статью?!

— Алеко Никитич! — осторожно встречает Индей Гордеевич. — Вы знаете — я спиритизмом не балуюсь, но я тоже видел...

«Продает! — тоскливо думает Алеко Никитич. — Сразу продает...»

Он начинает искать выход:

— Честно говоря, я тоже в окне видел какое-то свечение...

— Значит, и вы видели! — итожит Н. Р. и продолжает: — А теперь скажите мне, хлябь вашу твердь, если вы тоже видели, почему я получаю на четвертый день анонимные письма? Почему народ считает, что его обманывают, скрывая факты очевидного невероятного? Почему ваша газета до сих пор не выступила с научными доказательствами абсурдности того, что все, в том числе и мы с вами, видели? А? Почему, хлябь вашу твердь? Кто редактор газеты? Вы или я? Если я, то уступите мне ваше кресло, а вы садитесь в мое и отвечайте на законные интересы трудящихся!..

— У нас в некотором роде журнал, а не газета, — мягко говорит Алеко Никитич, — периодическое издание... раз в месяц... Мы не можем столь оперативно...

Н. Р. разворачивается в кресле на сто восемьдесят градусов, поднимает голову и видит, что перед ним стоят Алеко Никитич и Индей Гордеевич. Сотрудники журнала «Поле-полюшко», хлябь их твердь!.. И он с достоинством исправляет положение:

— Вижу. Не слепой... Но газета какова?.. У Чепурного-то что вместо головы?

— По правде говоря, — Алеко Никитич оживает, — Чепурной хоть и неплохой журналист, но не для главного редактора такого оперативного органа, каким является газета...

«Продает! — думает Индей Гордеевич. — Сразу продает!»

«Закладывает, хлябь его твердь! — думает Н. Р. — Тут же закладывает!»

— Что же касается нашего журнала, — смеется Алеко Никитич, — то тут мы с Индеем Гордеевичем уже кое-что прикинули... Обстоятельный отпор дать, конечно, уже не успеем, но врезочку вразумительную тиснем...

— Да уж, это нужно, — разрешает Н. Р. — А у вас то что стряслось?

Алеко Никитич вынимает из портфеля рукопись и кладет ее на стол Н. Р. Индей Гордеевич нехотя зевает.

— Что это вы, хлябь вашу твердь, как драный кот? — смотрит Н. Р. на Индею Гордеевича.

— Объясню, все объясню, — извиняется он.

— Произведеньеице нам тут подсунили, — докладывает Алеко Никитич. — Случай не совсем обычный. В другой-то раз так и черт с ним... Завернем — не обеднеем... У нас редакционный портфель перепол-

нен... Но есть подозрение, что автор не совсем рядовой, а имеет отношение к... — Алеко Никитич многозначительно указывает пальцем и глазами на потолок...

— К чему имеет отношение? К тому, что на небе висело? — усмехается Н. Р.

Но когда Алеко Никитич озабочен, ему не до шуток.

— Если бы, — говорит он со вздохом. — Но тут берите выше... Автор, по некоторым сведениям, чей-то важный сын... А в таких случаях мы должны быть особенно ответственны и внимательны... Нельзя, понимаете, потакать, но опасно и травмировать... Тем более что не каждый день к нам обращаются на таком уровне... И для престижа журнала, а может быть, и всего города...

— Откуда вам известно, что он чей-то сын? — спрашивает Н. Р., и в голосе его звучит строгость.

— Мне лично неизвестно, — зевает Индей Гордеевич. — Я его не видел...

«Страхуется! — думает Алеко Никитич. — На всякий случай страхуется!»

— С одной стороны, есть сведения, — говорит он. — А с другой стороны, я его видел...

— Он что, паспорт вам предъявил? — спрашивает Н. Р.

— Нет. Но производит впечатление... Русский такой... Со светлыми глазами... У меня нюх собачий... Еще с центральной газеты... И взгляд у него уверенный... Нахальный...

— Это в каком смысле? — строго уточняет Н. Р.

— В хорошем смысле, — тут же перестраивается Алеко Никитич. — В смысле достоинства...

— Да! — вдохновенно произносит Н. Р. — Молодежь сейчас сильная подрастает, волевая! Такую молодежь надо поддерживать! Зеленую улицу! Открытые двери!..

— А если он не из той молодежи? — осторожничает Алеко Никитич.

— А скажи мне, Алеко, хлябь твою твердь! — Н. Р. встает из-за стола и в носках ходит по кабинету. — Кто хозяин журнала? Ты или я? Если я, то давай мне свое кресло, бери мое... И зарплату мою бери!.. И ответственность мою бери!.. А я к тебе буду приходить и вопросы задавать!.. А ты меня распекать будешь!.. «Что это у тебя, Н. Р., — скажешь ты, — в журнале творится?.. А? Хлябь твою твердь!.. Что это твой художник, как его, Бабенлюбен, что ли, рисовать себе позволяет? Мне тут звонят, понимаешь, солидные люди, уважаемые товарищи, возмущаются... Романтику совсем запустил!.. А где наши сегодняшние Ромео, хлябь вашу твердь?! Джульетты где?.. Где место подвигу, хлябь вашу твердь?! А?» — спросишь ты у меня!..

— Кстати, Алеко Никитич, — вмешивается, прикрывая зевок ладонью, Индей Гордеевич, — с Дамменлибеном пора кончать!

«Опять продает!» — думает Алеко Никитич.

— А вас вообще не спрашивают! — гаркает Н. Р. — Хотя вы и правы!.. Приходите на прием черт знает в каком виде! Небритый! Зевают, хлябь вашу твердь! Как будто всю ночь дрова грузили!..

— Индей Гордеевич ретив стал не по годам, — многозначительно вставляет Алеко Никитич.

«Топит!» — думает Индей Гордеевич. — Топит, подлец!»

— Я объясню, — оправдывается он. — Я все объясню...

— Объяснять буду я! — кричит Н. Р. — Для чего вы притащили мне эту вещь? — Он трясет рукописью перед носом Алеко Никитича. — Кто решает? Вы или я?.. Если вещь отвечает — печатайте! Если

не отвечает — в корзину!.. Хотите переложить на меня ответственность?

— Нет. Но если автор вещи — чей-то сын, то...

— У него что, на лбу написано, что он чей-то сын?

— Вот мы и хотели вас просить... помочь кое-что выяснить... У вас связи, прямой выход...

— Выход? На кого?.. Как фамилия автора вещи?

— В том-то и дело, что фамилии нет...

Н. Р. садится в кресло, придвигает к себе телефон, отодвигает стакан с чаем, кладет папку в ящик стола, вынимает из футляра очки, перелистывает календарь, поправляет стакан с карандашами, достает папку из ящика, прячет очки в футляр, отодвигает телефон, придвигает стакан с чаем.

— С вами не соскучишься, хлябь вашу твердь! Автора нет! Фамилии нет, а Н. Р. должен выяснить?..

— Хотя бы приблизительно, — настаивает Алеко Никитич. — Узнать бы, у кого дети лет двадцати пяти... Девушки отпадают... Бронеты и рыжие отпадают... Нацменьшинства отпадают... Посольские дети нас не интересуют — не велики шишки... Да и министерские — выборочно...

Н. Р. вновь придвигает настольные атрибуты руководителя, и ход мыслей его примерно таков: если автор — чей-то сын и вещь выходит в журнале, а Н. Р. не в курсе, то главные купоны сострижет Алеко, хлябь его твердь! Если автор не чей-то сын, а вещь напечатана и скандала нет, то и бог с ней, но если вещь напечатана и возникает скандал, то главный удар обрушится на Н. Р., даже при условии быстрого упредительного увольнения Алеко, хлябь его твердь. Если вещь не напечатана и автор — просто автор, то и ладно. Перебьется. Но если вещь не напечатана, а автор — чей-то сын, то получается, что Н. Р. — либо перестраховщик, либо у него что-то личное по отношению к отцу автора, и никакое увольнение Алеко не поможет. Что же делать? Попытаться по своим каналам выяснить, чей же сын автор? Задача для сумасшедшего, конечно, но выхода нет. Нельзя только, чтобы инициатива предложения исходила от Алеко. Надо прийти к этому выводу самому...

Глядя, как Н. Р. играет настольными атрибутами руководителя, Алеко Никитич соображает: вот мы и подцепим Н. Р. к нашему составу в качестве паровозика... С-с-с... Ну, допустим, автор — сынок. Тиснули мы его произведеньице. Начинается «ура!». Но кому «ура!»? «Ура!» сверху донизу по лесенке, а главное «ура!» — Н. Р. Алеко Никитичу кричать «ура!» не будут. Ему в лучшем случае «ура!» пропищит на ушко Н. Р. Алеко Никитич знает, как это делается. А на черта ему сдалась эта похвала Н. Р.? Не велика шишка... Хорошо бы, конечно, его обойти, тиснуть произведеньице этого автора, а он и вправду оказывается сынком. Тут есть, конечно, шанс выиграть и успеть собрать основной урожай, оставив Н. Р., как говорит Колбаско, «за флагом». Но такая ставка рискованна. Лошадка уж больно затемнена... А вдруг автор не сынок?.. А мы уже тиснули!.. И кое-кому не понравилось! А Н. Р. не был поставлен в известность! С-с-с... Что с ним будет, то с ним будет... Как говорится, его собачье дело... Но то, что Алеко Никитичу головы не несит — факт! Он знает, как это делается. Так что уж лучше, как говорит тот же Колбаско, «сыграть на фаворита — может, и не наваришь, но при своих останешься»... А ведь время, да и возраст таковы, что главное — остаться при своих... Вот пусть он и позвонит, и почешется. Мы его прицепим. Паровозик стоит — и состав стоит. Паровозик тронулся — и вагончики за ним поехали. Доехали — хорошо. Крушеньице? Печально. Но ведь не вагончики виноваты. Их паровозик вез...

Индей Гордеевич зевает и несколько раз ловит себя на том, что засыпает. Прямо здесь, в кабинете Н. Р., стоя рядом с Алеко Никитичем перед Н. Р. Но в борьбе со сном он изо всех сил старается не пропустить основное... У Никитича игра своя, у Н. Р. — своя, а у Индей Гордеевича — своя. В случае выигрыша они с Индеем Гордеевичем делиться не будут. В случае скандала Никитич постарается сделать из него козла отпущения и с потрохами продаст его Н. Р. Так зачем, спрашивается, ему, Индею Гордеевичу, влезать в игру вообще? Поехали, Ригонда!.. Стоп! Не спать! Не спать!.. Не надо ему влезать в эту игру. У него своя аккомпанирующая партия... Пиано!.. Пианиссимо!.. Не надо это печатать! Не надо!.. Это и будем напевать заранее на мотив «Пролога» из Леонкавалло... Играть, когда точно в бреду я... Ни слов своих и ни поступков не понимаю... Стоп! Не спать! Не петь! Стоять!.. Постараться зафиксировать свои сомнения... А стоит ли? А может, не надо?.. Ассоциации... Аллюзии... Зачем? Кому?.. Поехали, Ригуша! Стоп! Не спать! Стоять! Думать!.. Ну, вышла повесть. Ну, успех. Виновать. Недооценил... Казалось... Теперь вижу, что ошибался... Но ведь не со зла, а из лучших побуждений... Я ведь хотел как лучше... Я всегда хочу как лучше... Поехали, Ригуша!.. Стоп! Не спать! Стоять! Соображать!.. Ну, пожурят, пошутят... Козел ты, Индей Гордеевич... Но ведь на фоне общего успеха — не смертельно... А если скандал? Так я же заранее говорил, помните? Еще в кабинете Н. Р. И на редколлегии опасался... И Ригонда подтвердит... Стоп!.. Не спать! Стоять! Решать! Гнать! Держать! Слышать!.. Дышать!.. Терпеть... вертеть... смотреть... обидеть... ненавидеть... зависть... Гнать всех!.. Терпеть всех!.. Ненавидеть всех!.. Зависть ото всех!..

— Слушайте, хлябь вашу твердь! — бьет Н. Р. кулаком по столу. — Идите и спите дома! А мы здесь без вас разберемся!..

— Объясню!.. Все сейчас объясню! — возникает из небытия Индей Гордеевич. Настал его момент. Сейчас он выскажет Н. Р. свое мнение. Он зевает в последний раз. Сон как рукой сняло. Смелость необыкновенная! Легкость и эйфория. — Прошу прощения, но при крайнем физическом утомлении у меня совершенно ясная голова, и лично я считаю, что зря мы связываемся с этим произведением, какому бы автору оно ни принадлежало.

— Интересно, — говорит Н. Р.

— Весьма интересно, — подхватывает Алеко Никитич.

— Да, да, — продолжает Индей Гордеевич. — Журнал наш читаем всеми слоями населения — и школьниками, и домохозяйками, и пенсионерами...

— Так это же прекрасно! — восклицает Алеко Никитич и, ища поддержки, смотрит на Н. Р.

— Прекрасно, — соглашается Индей Гордеевич, — но не совсем. Произведение оказывает определенное воздействие на некоторые аспекты человеческих взаимоотношений.

— Так это ж хорошо! — понимает Н. Р. — Вот почему вы зеваете!

— Это началось сразу после прочтения, — таинственно говорит Индей Гордеевич и продолжает: — Поэтому я и боюсь, что если произведение окажет такое же действие на школьников, на рабочий класс, на колхозников, то последствия могут быть непредсказуемыми... Интеллигенция — черт с ней! Она нас не читает.

— Ну, вот что! — Н. Р. встает из-за стола. — Я это прочту. — Он кладет руку на произведение. — Проверю. — Пододвигает телефон, отодвигает стакан с чаем. — Посоветуюсь с кем следует, и решим! — Достает из ящика папку и, отодвинув телефон, снова

кладет ее в ящик. — А вы пока работайте, засыпайте в набор, иллюстрируйте... Только Бабенлюбену не давайте, хлябь его твердь! Голову оторву!

Н. Р. придвигает телефон, втискивает ноги в туфли и, застегнув пиджак, набирает номер.

— Пельземуха Сергеевна? — ласково поет он в трубку. — Добрый день, дорогая... Как здоровье? Супруг как?.. Ну и отлично... Кланяйтесь ему... Пельземуха Сергеевна, сам у себя?.. Соедините меня с ним, как освободится... Спасибо, милая... — Н. Р. кладет трубку, выбирается из туфель, отодвигает телефон, придвигает стакан с карандашами, достает из кармана платок, разворачивает его, складывает вчетверо, прячет в карман, отодвигает стакан с карандашами и заканчивает сурово: — Так и передайте! И ему голову оторву, и вам, хлябь вашу твердь!

Н. Р. вяло машет рукой в сторону двери, и Алеко Никитич с Индеем Гордеевичем выходят из кабинета.

А Н. Р., держа руку на телефоне, наугад открывает рукопись и читает:

«Уже несколько дней и ночей Чикиннит Каело не покидал свою приемную террасу, составляя все новые и новые пламенные воззвания горожанам, и уже несколько дней и ночей не сводил глаз с приемной террасы четыре представителя службы молчаливого наблюдения, ожидая знака Чикиннита Каело, но любезный посетитель, бритоголовый бородач не появлялся. А события принимали довольно скверную окраску... Па-па-па... Пе-пе-пе... Никогда еще великий мадрант и его страна не были так сильны, как сегодня. Никогда еще небо над нашими головами не было столь безоблачным. Людоеды из Страны Поганных Лиц... па-па-па... Жалкие людоеды из Страны Поганных Лиц... пе-пе-пе... Презренные людоеды из Страны Поганных Лиц затеяли против мадранта Великий Поход... пе-пе-пе... поход, равносильный самоубийству. Все ближе к нашим берегам их неуклюжие тихоходные фрегаты. И каждая, даже самая ничтожная волна, и каждое, даже самое легкое дуновение ветра приближают... па-па-па... неотвратимо приближают их к неминуемой гибели... пе-пе-пе... неминуемо приближают их к неотвратимой гибели... па-па-па... неизбежно и неминуемо приближают их к неотвратимой... пе-пе-пе... Чикиннит Каело вытер пот... Небо! Взгляни, как устал несчастный Чикиннит Каело!.. Оцени, высокий мадрант, величайшую степень преданности тебе Чикиннита Каело!.. Пе-пе-пе... Но наше непобедимое, уверенное в своих силах воинство улыбается врагу всеми амбраурами своих укреплений. Оно встретит непрошеного пришельца смехом сабель и хохотом свинца!.. И уже слышится в воздухе знакомое «клоц-клоц-клоц». Это стучат от страха их поганные челюсти!.. Па-па-па... И уже раздается в воздухе знакомое «клоц-клоц-клоц». Это дробятся о священные камни их поганные желтые кости!.. И в этот радостный тяжелей час... Пе-пе-пе... Слишком сильно... И в эту радостную тяжелую минуту... находятся отдельные маловеры... па-па-па... находятся два-три маловера, которые боятся некогда любимейшего пса нашего мадранта, а ныне взбесившееся собачье отродье, которое скачет по горам, вызывая законный смех и ненависть даже у женщин, стариков и детей своими безвредными злобными выходками!.. Чикиннит Каело сделал два глотка тонизирующего миндаго... И многим из этих двух-трех маловеров, которым наверняка мозги припекло временным солнечным перегревом, представляется по ночам некий Ферруго, призывающий собак разорвать своих хозяев... пе-пе-пе... забыв, что подлинная собака готова жизнь

отдать за своего хозяина... па-па-па... выдавая желаемое за действительное, кое-кому кажется, что кое-какие горожане и рыбаки, следуя призывам несуществующего Ферруго, уходят в горы и там обезоруживают армейские отряды, забывая о том... Что это? Неужели Чикиннит Каело почувствовал желание?.. Жеггларда! Жеггларда!.. Так и есть!.. Будь проклято это воззвание!.. Чтобы именно сейчас... Жеггларда... Забывая о том... пе-пе-пе... что в действительности некоторые горожане и рыбаки... па-па-па... ох, Жеггларда... уходят в желанные горы и проводят там свободное время... Жеггларда... в тенистой прохладе скалистых гор и вершин... я спешу к тебе, Жеггларда... мирно общаясь с воинами мадранта, которые добровольно дают им поиграть своим оружием... па-па-па... пе-пе-пе... па-па-па... пе-пе-пе... обними меня, Жеггларда!.. И горожане в патристическом порыве... крепче, Жеггларда... предлагают воинам своих жен, которые в томительном экстазе... я разрушаю тебя, Жеггларда-а-а... издают любовный крик... па-па-па...

...Чикинниту Каело стало легче... Прочь, Жеггларда! Нашла время будоражить Чикинниту Каело! Позор какой!.. Жара...

Пот градом лил с Чикиннита Каело... издают любовный крик, который кое-кем из маловеров принимается за призывный клич обезумевшего животного...

Чикиннит Каело обрел прежнюю поступь... тем более что нет никакого Ферруго, потому что он просто не существует... пе-пе-пе... Но даже если бы и возник такой сумасброд, то каждый честный горожанин его выследит, схватит и бросит к ногам мадранта, за что будет произведен в ревзоды, о чем великий мадрант уже издал соответствующий указ, ибо стать ревзодом мечтает любой простой горожанин... па-па-па... Успокойся, Карраско! Умерь свой гнев! Завтра все горожане как один устремятся к твоей пылающей от жажды вершине и в горстях принесут тебе драгоценную живительную воду, чтобы напоить и умилишить тебя, Священная Карраско, и обратить твой гнев на несуществующего Ферруго, который накликал на нас небывалую временную жару и тем вызвал твою справедливую негодование!.. Па-па-па... Напоим же завтра Карраско, которая есть! Отловим сегодня Ферруго, которого нет! И ждут нас прохлада и счастье, которые нам подарит за это высокий и славный мадрант!..

И, довольный созданным, Чикиннит Каело в изнеможении откинулся на спинку кресла.

Бритоголовый возник перед ним неожиданно, как из воздуха, значительно раньше условленного срока... Па-па-па... У Чикиннита Каело так заколотилось сердце, что стало казаться, будто бритоголовый слышит этот звук. Но бритоголовый, так же бесстрастно глядя на Чикиннита Каело своими зелеными глазами, протянул ему свернутый в трубочку лист дорогой бумаги. Ферруго благодарит хозяина «Альманаха» за желтый камень и, ободренный, предлагает Чикинниту Каело новое творение, рассчитывая на удачу и доброе расположение... Пе-пе-пе... Несомненно, любезный посетитель, несомненно... Чикиннит Каело, тяжело дыша, с трудом подавляя волнение, поднялся и, подойдя к оконному проему, раздвинул выющиеся живые занавеси, что являлось знаком для четырех представителей службы молчаливого наблюдения... Па-па-па... Конечно, любезный посетитель... Вот только душно сегодня, не правда ли?..

А четыре представителя службы молчаливого наблюдения уже вышли из своих укрытий.

Чикиннит Каело дрожащей рукой взял у бритоголового листок дорогой бумаги и, еле передвигая

ставшие вдруг свинцовыми ноги, вернулся на свое место... Пе-пе-пе... Сейчас, сейчас, любезный посетитель... О небо, па-па-па... как же трудно дышать старому Чикинниту Каело!

Но ему не стало легче даже после того, как на бритоголового набросили черный мешок и, перевязав цепями, выволокли на улицу.

Душно! Нет спасения от духоты!.. Пе-пе-пе... Чем-то тяжелым бьют Чикинниту Каело по затылку и по вискам. А написанное на дорогом листке бумаги расплывается, и буквы становятся красными и затевают какую-то невероятную пляску... Па-па-па...

Раб свою жизнь проживает по-рабски
в тоске по свободе.
Хвалит в ч е р а, проклиняет с е г о д н я,
надеясь на з а в т р а.
Но наступает его долгожданное з а в т р а...
И что же!
Он уже хвалит все то, что в ч е р а
предавалось проклятью...
Он проклиняет все то, что в ч е р а
ему было надеждой,
Снова надеясь на з а в т р а,
и з а в т р а о п я т ь наступает...
Только раба уже нет — он в ч е р а
перебрался в могилу,
Детям своим завещая надежду
на новое з а в т р а...
Что же рабу в его жизни проклятой тогда
остается,
Если в ч е р а ш н е е он никогда
возвратить не сумеет,
Если извечное з а в т р а
несчастный увидеть не сможет!
Только одно — утопить свою жажду свободы
с е г о д н я!..

Па-па-па... Пе-пе-пе... Кто же этот Ферруго?

Но Чикиннит Каело уже не узнает, кто такой Ферруго, он даже не поднимет голову, когда к нему войдет новый, взамен казненного, старший переписчик и увидит сидящего на своем месте Чикинниту Каело с листком дорогой бумаги в руках. На его лице застынет вопрос, на который он уже не получит ответа. И не услышит Чикиннит Каело нового мощного рыка Священной Карраско, и даже заметить не успеет Чикиннит Каело, что он уже умер».

Но странное дело. Ничего похожего на то, что говорил этот взбесившийся Индей, Н. Р. не испытал. В его воображении прошли все заслуживающие внимания женщины, но ни одна не затронула его больше, чем обычно... Ариадна Викторовна на пляже, грудью деформирующая лицо Демиса Руссо на майке. Длинноногая мулатка с острова Фиджи, затанцевавшая его до сердечного приступа, до потери сознания, до падения с ушибом носа об ее крутое бедро. И все. И лишь высказывание капитана пассажирского лайнера: «Чай вприкуску, мулатка — вприглядку». И только...

Ни даже товарищ Анчутикова из мордовского облсовпрофа со своими зазывными песнями и оленными шкурами. Ноль. Пустой звук...

Раздался телефонный звонок, и Пельземуха Сергеевна бесстрастно произнесла: «Соединяю».

Н. Р. опять втиснулся в туфли и превратился во внимание...

Бестиев появляется в редакции, как всегда, неожиданно. Никто никогда не может сказать, в какой момент он явился. Не было, не было — и вдруг есть. Поправляет волосы, смотрится в зеркало. «Красив! Дьявольски красив!» Гладит ручку Ольге Владимировне.

— Ну, что там?

— Где?

— Там. — Смотрится в зеркало. — С рукописью. — Ужасно нюхает собственные подмышки.

— По-моему, собираются печатать.

— Да? — Поправляет волосы, шумно затягивается. — А тебе нравится? — Пускает дым в Ольгу Владимировну.

— Нравится. — Ольга Владимировна отмахивается от дыма.

Бестиев выходит от Ольги Владимировны.

— А что нравится? Скажи, что нравится? — спрашивает Бестиев у Зверцева, который все еще пазит Сартра.

— Не знаю. Я правлю Сартра.

— Сартра? — Бестиев дымит в лицо Зверцеву. — А кто это? — Смотрится в зеркало. — Что-то я такого не слышал. Олдриджа знаю... Как ты говоришь? Сартра? — Грызет орехи. — Он кто?.. Философ?.. — Записывает Сартра в записную книжку. — А что это за стихи, если в них нет рифмы? — Это Бестиев отрывает пуговицу у Свища.

— Белые стихи. Гекзаметр.

— Как ты говоришь? Гекзаметр? — Записывает «гекзаметр» в записную книжку. — А про что? Скажи, про что?

— Не знаю. Ритмика... Пластика.

— Никто не знает! — Бестиев теребит Сверхщеского. — Про рабов? А кто такие рабы? — Бестиев смотрится в зеркало. Садится напротив Дамменлибена. — Смысл-то в чем?

— Б-б-ардак совсем зашиваюсь ты с Катюхой помирился? Она х-х-хорошая деваха слушай дай пятерку тещу на дачу перевезти...

— Вот вы умный человек. — Бестиев угощает Индею Гордеевича фирменными сигаретами. — Чего вы в нем нашли?

— Между нами говоря, я тоже против. Но это строго между нами.

— Я со всеми говорил. — Бестиев входит к Алеко Никитичу. — Никому не нравится. — Бестиев успевает посмотреться в зеркало. — Свищ плюется, Зверцев морщится. — Алеко Никитич втягивает носом воздух. Бестиев принохивается к своим подмышкам. — Сверхщеский не понимает, Индей Гордеевич против! — Бестиев грызет орехи. — Одной Оле нравится, но она известная дурочка!..

— Слушайте, Бестиев, произведение спорное, но, безусловно, стоящее.

— Будут у вас неприятности! Вспомните меня! — Бестиев обкусывает яблоко. — Вместо того чтобы своих печатать...

У Бестиева высокоразвитое чувство опасности. Он боится публикации этого проклятого произведения. Он чувствует, что будет шум. Всплывет новое имя. Зашебуршат критики. И о нем забудут... «Но мы еще посмотрим...»

Анонимное письмо, полученное Н. Р.

«Уважаемый и дорогой товарищ Н. Р.!

Вынужден оторвать Вас от важных и полезных дел, коими Вы занимаетесь, не жалея ни сил, ни

времени. События последних недель застали меня обратиться прямо к Вам, зная Ваш честный и непримиримый подход к явлениям, безобразным и порочащим нашу действительность. В обстановке напряженной идеологической борьбы, когда на нас клеветают с Запада и пытаются обогатить с Востока, недопустимым является факт появления произведений, которые фактически льют воду на ту и другую мельницу. Речь идет о готовящейся публикации в журнале «Поле-полюшко», том самом журнале, который снискал себе популярность и славу как у нас, так и у прогрессивных читателей за рубежом чистыми и свежими веяниями многих молодых писателей (Бестиев и др.), о публикации произведения, мягко говоря, вызывающего недоумение честного читателя, к каковому с полным основанием себя причисляю. Автор опуса неизвестен. Само, с позволения сказать, произведение написано на выдуманную тему. Время действия надуманно. Проблемы — несуществующие. Образы сомнительные, пошлые и затасканные. Видна попытка осквернить русский язык и наваять насильственные ассоциации. «Произведение» написано сальностями и фривольностями. Главный герой — государственный деятель, узурпатор, палач, казнящий и топящий в крови собственное население за чтение каких-то непонятных и к тому же нерифмованных стихов. Согласитесь, все это пахнет сюрреализмом в самом мрачном его проявлении. И странную позицию заняло руководство журнала, которое, вопреки здравому смыслу, взяло под защиту это вредное графоманское творение. Что побуждает главного редактора пропихивать (извините за грубое слово) вышеназванное произведение? Взятка? Корыстный расчет? Не исключаю! Зависимость от распоясавшихся клевветников типа А. Гайского, погрязшего в разврате и спекуляциях, одаривающего дочь главного редактора янтарными ожерельями? Не исключаю! Кто защищает позорные странички? Зав. отделом прозы Зверцев, в голове которого сидит некий Сартр? Не исключаю! А какие строчки приводят в восторг г-на Свища из отдела Пегаса? «Раб свою жизнь проживает в тоске по свободе. Хвалит вчера, проклинает сегодня, надеясь на завтра...» И он, малограмотный поэт и некомпетентный редактор, прикрывает свою шаткую позицию, называя эту подлую мазию гекзаметром? Не исключаю! Ну, что в этих строчках? Ну, скажите, что? Захлебывается от восторга, прочтя эту стряпню, редакционная машинистка — женщина без принципов и морали, открыто сомнительного поведения! Им подпевают, надеясь на режим наибольшего благоприятствования, декадентствующий поэт Колбаско и спившийся публицист Вовец, печально знаменитый своими двусмысленными псевдоафоризмами. Заместитель главного редактора — единственный, кому откровенно не нравится этот наскоро испеченный козлец. Но он вынужден молчать и соглашаться. Коррупция? Запугивание? Не исключаю! И в этом оголтелом хоре тонет честное большинство голосов тех, кому дороги чистота и ясность нашего литературного климата. Не хочу быть голословным, уважаемый и дорогой товарищ Н. Р., и снабжаю Вас отрывком из этой порочной пачкотни, по которому, я уверен, у Вас сложится должное и непредвзятое собственное отношение. Отрывок этот попался мне случайно, и я счел своим долгом ознакомить Вас с ним. Речь в этом отрывке идет о казни некоего шута, который, кстати сказать, является еще и гомосексуалистом! И это они хотят протащить на странички журнала!

«Черный мешок с бритоголовым бросили к ногам Первого ревзода. А когда сняли цепи, вынули из мешка схваченного и поставили на ноги, Первый

ревзод остолбенел — на него смотрел своими наглыми зелеными глазами, обнажив в гадкой улыбке кривые желтые зубы, шут мадранта...

Кого притащили, безмозглые олухи, Первому ревзоду?

Пусть успокоится, миленький ревзодик, красивенький ревзодик, умненький ревзодик! Безмозглые олухи притащили ему того, кого надо, кто недавно приходил к старенькому Чикинниту Каело, того, на кого набросили черненький мешочек и сделали больно его нежному тельцу железными цепочками... Ох, и посмеемся мы сегодня с высокоим мадрантом над Первым ревзодом! Ох, и пощекочет шут пяточки Первого ревзода! А Первый ревзодик будет делать вид, что ему тоже смешно и приятно, и пальчиком не посмеет он тронуть шута, потому что мадрант обожает своего шута и никому не позволит его обидеть!..

Да, шутовское отродье, ты прав! Первому ревзоду будет особенно смешно и особенно приятно, когда ты выдашь ему своего Ферруго или того негодяя, который скрывается под именем Ферруго.

Шут поджал одну ногу и принял позу цапли. Любопытство погубит когда-нибудь Первого ревзода, и все его бедненькие женушки и детеныши слезами залиют могилку своего благоверного супруга и любящего отца... Клик-клок... На кого ты покинул нас, ненаглядный ревзодик?.. О, лучше б ты был глупеньким и тупеньким!.. Любопытство сгубило нашего ревзодика!.. И шут запричитал и стал кататься по земле в неутешном горе.

И тогда Первый ревзод велел поставить шута на ноги и привести в чувство ударом бамбуковой жерди. Нет, не праздное любопытство заставляет Первого ревзода терпеливо сносить дурацкие выходки, а единственное желание выдрать с корнем ядовитый сорняк и распотать, чтобы никогда вредоносные семена не попали в благородную почву. И ты, шут, неведомо почему оказавшийся в услужении у выродка, испустишь свой грех перед страной и мадрантом, указав нам убежище Ферруго. И Первый ревзод обещает тебе, а Первый ревзод не бросает слов на ветер, что остаток своих дней — ведь ты не так уж и стар — ты проведешь в почете, богатстве и славе. Десять самых лучших женщин будут отданы тебе в жены, чтобы ласкать твои уши небесным песнопением, щекотать твои ноздри зовущими запахами, услаждать твою плоть бархатными телами, если ты назовешь нам Ферруго...

Удары посыпались один за другим. Плесните на него водой, и пусть встанет и внимательно посмотрит с этого холма на город. Где? В какой стороне Ферруго?..

Протри лицо шуту, Первый ревзод, слезы умиления застилают ему глаза... Сухой белой тканью шуту вытерли лицо, и, глядя на раскинувшийся внизу город, он протянул руку в направлении востока... Там Ферруго!.. Потом — в направлении юга... Нет, там Ферруго!.. Или не там... А может быть, там?..

У бедняги испортилось зрение? Стали плохо видеть его зеленые глаза? Так прогрейте ему очи! После этого он наверняка сможет разглядеть, где Ферруго!

Голову шута запрокинули так, чтобы стоявшее в центре неба солнце било прямо в глаза, веки его растянули вверх и вниз, и раскаленное светило стало опускаться все ниже и ниже... Все жарче, все горячее... Вот оно уже закрывает небо и начинает выливаться в глазницы, и заполняет череп, и вытекает через уши, обжигая лицо, шею и плечи... И вдруг погасло, и наступила тьма. Тьма была и после того, как шута привели в сознание. Он облизнул сухие губы... Тьма, сплошная тьма, Первый ревзод! Как

возможно в такой кромешной ночи отыскать Ферруго!.. И шут попытался улыбнуться.

Первый ревзод дал знак дворцовому палачу Басстио... А может быть, шут напрягает свой слух и в шуме города различит шаги Ферруго или распознает его голос, разносящий собачий творения?..

Чья-то рука легла шуту на плечо, и он узнал знакомую шершавую ладонь палача Басстио.

Шут-шутите! Это я, Басстио, твой старый друг. Ну что тебе дался какой-то Ферруго? Я же не хочу делать тебе больно, но я не могу ослушаться Первого ревзода... Шут-шутите! Я же хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу болтать с тобой по вечерам и слушать твои смешные истории, после которых легче становится палачу Басстио... Шут-шутите! Еще не поздно. Да пусть Первый ревзод подавится этим Ферруго! Неужели ты не слышишь, что говорит тебе твой старый друг Басстио?.. Шут-шутите! Он прикидывается... Ну что тебе стоит?.. Прости меня, шут... И дворцовый палач Басстио отсек шуту оба уха.

Первый ревзод терпеливо ждал, пока шута приводили в чувство.

Дворцовый палач Басстио плакал, опершись о топор.

Шут подполз к Басстио и прислонился спиной к его ноге, чтобы можно было сидеть... С этого бы и начинал, Первый ревзод, а не с каких-то нелепых, лживых обещаний... Мы поладим с тобой, Первый ревзод, мы найдем с тобой общий язык раньше, чем ты прикажешь выдрать мой язык из глотки. Сама судьба моими устами скажет тебе, кто такой Ферруго... Только очень хочется пить...

Первый ревзод кивнул, и шуту поднесли большую чашу прохладной воды.

Пусть принесут шуту тонкую соломинку — он хочет поиграть сначала в свою любимую игру.

Первый ревзод кивнул, и шуту принесли тонкую соломинку.

Шут склонил свое лицо над чашей, и кровь стала капать в нее и капала до тех пор, пока чаша не наполнилась до краев. Тогда шут взял в рот конец соломинки, а другой конец ее опустил в чашу... И взбурлил, и вспенил кровавую жижу остатками своего воздуха, и начал выдувать большие мутно-красные пузыри, и они поплыли над городом в неподвижном от зноя пространстве. И шут улыбался своей затее... Разве не нравится Первому ревзоду любимая игра шута? Видит ли он, куда летят мои пузыри? Они летят по прихоти неба, и там, где опустится последний из них, там и следует искать Ферруго... Не правда ли, веселая игра?.. А мутно-красные пузыри все плыли и плыли в неподвижном воздухе и опускались на крыши домов и хижин, на городскую площадь, на обрыв Свободы. И дети изо всех сил дули на них, не давая опуститься на землю, а старшие испуганно молились, видя в этом дурное предзнаменование. И, достигнув все же земли или какой-либо крыши, они беззвучно лопались, оставляя после себя лишь мокрое красное кольцо... И последний из них медленно опустился на дворец мадранта. И тогда шут захохотал... Вот и вся моя игра, Первый ревзод! Вперед же, во дворец! К мадранту! И он скажет тебе, кто такой Ферруго!..

И Первый ревзод понял, что шут от боли и пыток лишился рассудка, и нет в нем больше никакого проку. И дал он знак палачу Басстио, чтобы тот прикончил шута.

И палач Басстио сделал это.

И не стало больше на свете его лучшего друга шута-шутите. Он прекратил свое существование в этом мире для того, чтобы потом снова возникнуть (когда только?) в другом обличье (каком только?) и

дурачить людей, или выпрыгивая из воды смеющимся дельфином, или страшно ухая по ночам филином, озадачивая всех своей тайной...

Уважаемый и дорогой Н. Р.!

Умоляю Вас не считать мое искреннее, продиктованное болью в сердце письмо грязной анонимкой, против чего я решительно борюсь всю свою жизнь. Но я не ставлю свою фамилию, во-первых, чтобы не сложилось впечатление, будто я свожу личные счеты со своими неединомышленниками, а во-вторых, я просто боюсь быть подвергнутым гонениям и литературному ostracismu.

С любовью и уважением

Читатель».

XIV

Алеко Никитич сидит у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла... С-с-с... Задачи перед ним возникли нелегкие. Н. Р. зря слов на ветер не бросает... Он не забудет того, что говорил тогда о подвиге, и не слезет с Алеко Никитича до тех пор, пока не увидит в журнале соответствующий материал. Тут никакими врезками не отделаться... С-с-с... Кстати, надо получить от Колбаско разоблачительные стихи по поводу слухов о летающей тарелке... И этот австралийский Бедейкер приезжает... Совсем не вовремя... Алеко Никитич еще надеялся, что приезд фанберрских гостей отменится или по крайней мере перенесется. Но нет. Телеграмма, полученная утром, не оставила никаких надежд... С-с-с... Алеко Никитич автоматически перечитывает лежавшую перед ним на столе телеграмму:

«Господин Бедейкер делегацией прибывает Мухославск празднование годовщины побратимов Мухославска Фанберры двадцатого числа сего месяца. Обеспечить соответствующий уровень».

Н. Р. уже звонил по этому поводу. Он тоже в курсе... С-с-с... Алеко Никитич склоняется над столом и пишет основу будущего приказа.

- «1. Встреча в аэропорту. — Отв. — А. Н.
 2. Размещение в гостинице. Отв. — И. Г.
 3. Посещение химкомбината. Отв. — А. Н.
 4. Пресс-конференция в редакции. Отв. — А. Н. и И. Г.
 5. Прием (банкет) в редакции. Отв. — А. Н., И. Г., Свищ.
- (Утрясти меню с Рапс. Мург.)»

Кого пригласить на прием, тоже проблема. Кто будет выступать и что будут говорить, еще какая проблема! Не дай бог, кто что ляпнет! Бедейкер хоть и левых взглядов, но австралиец... С-с-с... Основные темы разговоров: мир, дружба, окружающая среда...

Мысли Алеко Никитича прерываются стуком в дверь. Он прячет свои пометки в стол и разрешает войти.

Колбаско выглядит бледным и понурым. Он здоровается, открывает свой «дипломат» и кладет на стол лист с напечатанными строчками.

— Вот, — говорит он. — То, что вы просили.

— Садитесь, Колбаско, — приглашает Алеко Никитич. — Что с вами? Случилось что-нибудь?

Колбаско моргает, вздыхает:

— Лаж, Алеко Никитич... Семейная лажа...

— Не понимаю.

— Лаж. Людмила к матери ушла. Галопом в столб. Проскачка...

— Причины?

— Не знаю. Дал ей рукопись прочитать — она наутро ушла.

Алеко Никитич встревожен:

— Уверены, что из-за рукописи?

— Да, наверно, — отвечает Колбаско. — Накануне все было нормально.

Колбаско вздыхает.

— Говорили с ней? — спрашивает Алеко Никитич.

— По телефону.

— И что?

— Я, говорит, очнулась от страшного сна... Я, говорит, жила взаперти, я не понимала, что такое любовь... Знаете, Алеко Никитич, она очень впечатлительная... Когда я за ней ухаживал, я дал ей прочитать «Хижину дяди Тома»... Это произвело на нее сильное впечатление, и она вышла за меня замуж... Потом мы прекрасно жили, и она ничего, кроме моих стихов, не читала... Не надо мне было давать ей рукопись...

Колбаско тяжело вздыхает.

— Держите себя в руках, Колбаско, — успокаивает Алеко Никитич. — Поверьте мне: время — лучший лекарь... Одумается, поймет...

— Если честно сказать, — Колбаско переходит на доверительный тон, — я боюсь, что она за это время пристрастится к чтению и увидит, что есть лучше меня...

— Не наговаривайте на себя, Колбаско. — Алеко Никитич подходит к нему и по-отечески похлопывает по плечу. — Вы поэт даровитый, самобытный... А Пушкин рождается раз в тысячу лет... Все образуется... Давайте посмотрим, что вы там сочинили... Он берет листок и читает вслух:

*Стихи, написанные по поводу слухов
о летающей тарелке 24 июля*

Чушь болтают, будто нам порой ночью

На тарелке поднесли сюрприз...

Это просто я поссорился с женою —

Выбросил в окошко новенький сервиз.

— Ну, что? — интересуется Колбаско.

— По-моему, неплохо, — про себя перечитывая написанное, говорит Алеко Никитич. — И образ есть, и игра ума...

— Мне тоже так кажется, — оживляется Колбаско.

— Только вот что я думаю. — Алеко Никитич садится в кресло. — Я думаю, не следует вам в вашей ситуации подставлять семейный борт. Зачем надо всем знать, что у вас конфликт? А?

— Я даже об этом не думал, — бормочет Колбаско и покрывается красными пятнами.

— Товарищ Фрейд сработал, — улыбается Алеко Никитич. — Давайте заменим... Пусть не вы, а кто-то поссорился с женою... Поищите что-нибудь интересное...

Колбаско напряженно ищет и вскоре находит. — Есть! — кричит он. — «Это Агафон поссорился с женою!..» Агафон! Понимаете? И абстрактно, и в народном ключе!..

— Совсем другое дело! — радуется Алеко Никитич. — В этом варианте мы дадим стихи на обложку с карикатурой! — Он снимает трубку. — Теодор!.. Зайди-ка ко мне!..

Через минуту в кабинет входит Теодор Даммен-либен.

— П-п-привет Никитич зд-д-орово Колбаско жара что слышно? Бардак я такие рисунки сделал крик! Привет Колбаско вы с Людмилкой поцапались? Слушай ты мою Нелли знаешь она умная женщина нельзя так слушайте Никитич как вам нравится Бонивия? Бардак щенок всюду гадит Петенька сочинение на пять написал ваша Глория молодец бардак...

— Подождите, Теодор, отдохните,— перебивает его Алеко Никитич.— Тут Колбаско стихи неплохие принес. Надо к ним карикатуру и в номер на обложку...

Дамменлибен читает стихи и закатывается от хохота. Перечитывает и снова хохочет.

— Б-б-леск! — кричит он. — Б-б-леск!.. Я нарисую в окне Агафона а в небе сервиз на котором написано «Ресторан»!.. Б-б-леск!

— Только прошу вас, Теодор,—предупреждает Алеко Никитич,— чтоб Агафон был похож на Агафона, а не на вашего тестя.

— Слушайте Никитич! — взрывается Теодор. — У нас на фронте все равны были и Агафон и мой тесть бардак Колбаско ты с Людмилкой помирись у меня Нелли умная женщина слушайте Никитич не дадите мне сотню? Мне надо машину выкупать бардак щенок всюду гадит...

— Позвоните Глории, — говорит Алеко Никитич, — если у нее есть, она вам не откажет.

— Б-б-леск! Б-б-леск! — повторяет Дамменлибен и, схватив стихи Колбаско, выходит из кабинета.

Колбаско некоторое время сидит, зачем-то открывает «дипломат», снова закрывает, наконец, встает: — Ну, я пойду, Алеко Никитич?

— Спасибо, Колбаско! — Алеко Никитич пожимает Колбаско руку. — Налаживайте семью, а заплатим мы хорошо — по два рубля за строчку.

Колбаско идет пятнами.

— По три, — говорит он.

— Не сходите с ума, — говорит Алеко Никитич. — Мы в свое время Твардовскому по два платили... А вам, уж бог с вами, по два пятьдесят натянем... За срочность.

— По три, — тихо произносит Колбаско, пытаясь смотреть в окно. — По три плюс аккордная оплата.

— Бухгалтерия не утвердит.

— Забираю стихи и несусь на телевидение, — словно не Алеко Никитичу, а пролетающей за окном птичке говорит Колбаско.

— Только без угроз!.. По три, но без аккордной оплаты.

— Грабьте! — не может скрыть волнения Колбаско. — Идет!..

«Скушал по три, — думает Алеко Никитич, когда дверь за Колбаско закрывается. — Мог и по пять запросить... Пришлось бы на четыре соглашаться...»
«Так с ними! — думает Колбаско, когда дверь за ним закрывается. — Только так! Дурачка решил найти! По два платить! Не вышло! Колбаско не обьедешь!.. Трижды четыре — двенадцать, и Вовец — шесть сорок... Не так уж плоха жизнь!..»

Вечером на ипподроме Колбаско поставит всю свою наличность, связав Сладенького из пятого заезда с Зубаткой (так он в быту называл Людмилку), но Сладенький уже с приема сделает гробовой сбой, а на Зубатке поедет другой наездник. Так что до конца испытаний поэт будет щелкать рубли у знакомых и незнакомых беговиков и время от времени кричать в сторону судейской логи: «Жулики!» Но это будет вечером, а пока счастливый Колбаско выходит из редакции журнала «Полюшко» и повторяет про себя: «Так с ними! Только так!»

XV

Потный и тучный Рапсод Мургабович появляется у Алеко Никитича после обеда. Он тяжело дышит и выпивает два стакана воды из сифона. При росте 163 см он весит 98 кг. Он в подвернутых джинсах и в рубашке «Меркурий» с закатанными рукавами. Под мышками синюют два влаж-

ных пятна. В левом кармане — две паркеровские авторучки. Часы «Сейко». На обеих руках. Два носовых платка. Один — под воротничком рубашки «Меркурий», другим Рапсод Мургабович обмахивается.

— Совсем с ума сошел с этой статьей, честное слово! — кричит он. — Клянусь мамой, никогда не сочинял! Легче народ накормить!..

— Я тут меню прикинул, — говорит Алеко Никитич. — Взгляни. Чего нет — вычеркни. Что упустил — добавь.

Рапсод Мургабович вынимает одну из паркеровских авторучек и склоняется над меню.

— Нету, — вычеркивает он, — нету... нету... нету...

Слушай, колбаса-молбаса зачем выписал?.. Отравить австралийца хочешь?.. Лучше дам шесть банок югославской ветчины... Так? Цыплят венгерских дам... Тридцать штук... Так? Сервелат финский... Пять палочек... Так?.. Компот вьетнамский... Пятнадцать банок... Так?

— А чего-нибудь нет национального? — спрашивает Алеко Никитич. — Под соки...

— Огурцов могу дать болгарских... Пару банок... Так?.. Пять белых соков, пять красных соков... Хватит?

— Добавь пяток виноградных... для дам...

Рапсод Мургабович что-то вписывает, бормочет под нос наименования каких-то товаров, что-то вычеркивает и протягивает листок Алеко Никитичу.

— Отпечатай, подпиши и печать не забудь... Я с собой заберу... — Он выпивает еще один стакан воды. — Умираю, клянусь мамой!.. Слушай, пять ночей не спал!.. Все твое эсче-месце сочинял... С ума сошел!.. Машинку специально купил! Жена говорит: «Э! Рапсод-джан! Совсем с ума сошел?.. Ты что, гигант?.. Сароян, что ли?»

— Посиди здесь, — говорит Алеко Никитич. — Я требование оформлю...

И он направляется по коридору в сторону кабинета машинистки Ольги Владимировны.

Рапсод Мургабович достает из заднего кармана джинсов «эсче» и обмахивается одновременно и «эсче» и носовым платком. Рапсод Мургабович служил, конечно, насчет пяти бессонных ночей... Сароян он, что ли?.. Он просто взял последнюю передовую о работниках торговли из «Вечернего Мухомославска» и придал ей свое личное отношение, наставляя, где надо и не надо, «я так думаю», «мне кажется», «это мое личное мнение»... Отличное получилось «эсче».

ЭСЦЕ

Работник торговли — торговый работник

С каждым годом растет благосостояние, как мне кажется, трудящихся. Выработанный курс на повышение эффективности, интенсификации производства требует от трудовых коллективов и в сфере торговли рачительного хозяйствования, я так думаю. Не меньшее значение имеет и постоянно растущий уровень требований к работнику советской торговли, но это мое личное мнение. Честность, профессионализм, психологический подход к покупателю — неотъемлемые черты советского, я так думаю, торгового работника, как мне кажется. На прошедшем недавно июньском заседании горисполкома я выступал, по-моему, с докладом «О дальнейшем улучшении работы предприятий розничной торговли в нашем городе». Выступившие в прениях товарищи прямо заявили о дальнейшем росте уровня обслуживания покупателей в целом ряде продовольственных магазинов города, я думаю.

Вместе с тем имеются еще в большом количестве отдельные случаи наплевательского отношения к по-

требителью, по моему убеждению, в виде обвешивания, обслуживания из-под прилавка, снабжения с черного хода, мне кажется. Проблема очередей в продовольственных магазинах является первоочередной проблемой в большом, как мне кажется, торговом хозяйстве.

Городской исполком, по моему глубокому убеждению, одобрил инициативу гастронома № 2 работать честно. «Каждый украденный грамм — это грамм, украденный у народа!» — сказал в своем выступлении продавец мясного отдела А. В. Васильчук. Широкою поддержкой следует оказывать движению пенсионеров Рыбного переулка за развитие всестороннего самообслуживания: «Сам отрежь, сам взвесь, сам заплати».

Вместе с тем в гастрономе № 4, куда меня привели, как мне кажется, холодильные установки не работали. В одной камере рядом с кондитерскими изделиями стояли две бочки осетинского сыра на обмен, который уже испортился, и от него исходил неприятный, по моему глубокому убеждению, запах. Тут же лежало 23 килограмма, по моему, колбасы вареной, которая тоже уже покрылась плесенью и завоняла. Но это мое личное мнение.

Покупатель, как мне кажется, не должен покупать испорченные и гнилые продукты. Наоборот. Его, по моему, всегда интересуют свежие товары.

В то же время до сих пор на одном из складов сыпучих и мучных товаров хранится замечательная и питательная рисовая каша в эстетически приятной упаковке, но негодная к реализации, я так думаю, потому что в ней завелись мучные черви, по моему глубокому убеждению.

Товарищи! Я нарочно сгущаю краски, как сказал в своей речи председатель горторга т. Мякишев, если не ошибаюсь. Но мы все — и покупатели, и продавцы — советские люди. Это мое личное мнение. И от того, какой продукт съест человек сегодня, зависит и то, какую продукцию он выдаст завтра. Процесс производства неотделим от процесса потребления, по моему.

Огромн, но еще совершенно недостаточен приток в торговую сеть молодых интересных кадров. Пока еще, я так думаю, юноши и девушки стремятся за прилавком для удовлетворения своих постоянно растущих требований. Когда потребители перестанут ненавидеть и подозревать продавцов, как мне кажется, в нечестности, когда наступит обратная картина, тогда за прилавки встанет по-настоящему сознательная молодежь, по моему, которая придет не ради жадности, а исключительно потому, что не мыслит свою жизнь без мяса, без молока и, как мне кажется, без других продуктов питания.

Еще, которое я пишу, если не ошибаюсь, — результат глубоких и трудных размышлений, по моему. Оно не является догмой. Это мое личное мнение. Но этим, по моему глубокому убеждению, я так думаю, хотелось бы открыть на страницах журнала дискуссию, в которой бы приняли участие все, заинтересованные в дальнейшем подъеме нашей торговли, как мне кажется, читатели.

В заключение, если не ошибаюсь, разрешите выразить, как мне кажется, глубокую благодарность и, это мое личное убеждение, признательность руководству журнала «Поле-полюшко» за то, что оно предоставило, я так думаю, возможность поделиться наболевшим. Милости просим всех работников редакции в магазины и торговые точки нашего города. По моему.

Р. М. Тбилисян, директор гастронома «Центральный», бывший призер областной спартакиады по вольной борьбе, аспирант.

...В ожидании Алеко Никитича Рапсод Мургабович, не находя себе места от духоты, расхаживал по его кабинету, отдувался, обмахивался, фыркал, прикладывал платок к потному лицу, вытирал шею и в конце концов в изнеможении плюхнулся в кресло главного редактора. И тут он увидел лежащую на столе рукопись с пометками Алеко Никитича. На столе разбросано было много разных записей, бумаг и рисунков, но внимание Рапсоды Мургабовича, помимо его воли, сконцентрировалось именно на этой — с пометками Алеко. Рапсод Мургабович не имел обыкновения совать нос в чужие дела, а тем более бумаги. Он попытался смотреть в окно, затем подошел к шкафу, в котором стояли все номера «Поля-полюшка», вышедшие за семь лет. Начал считать. Досчитал до сорока девяти и снова сел в кресло Алеко Никитича, уже не в силах оторваться от разложенных на столе листов. Шевеля губами, он склонился над шестидесятой второй страницей, той самой, на которой была раскрыта папка с рукописью...

«Да, мадрант, ты можешь верить Первому ревзоду. Именно шута схватили по знаку Чикиннита Каело, именно он оказался тем бритоголовым бородачом. И, не желая беспокоить тебя, мы сами произвели дознание. Но бедняга помещался в ходе следствия, и нам пришлось его прикончить, чтобы он не издевался над нами и никогда больше не произносил слов, которые Первый ревзод не в состоянии повторить в присутствии высокого мадранта... Нет-нет! Скорее земля разверзнется подо мной, чем я повторю слова этого безумца!.. Он сказал, перед тем как умереть, что высокий мадрант знает, кто такой Ферруго...»

Мадрант вскинул правую бровь и засмеялся, отчего холодок пробежал по спине Первого ревзода... Ну что ж, кем бы ни был несчастный для Ферруго, но мы воздадим ему посмертные почести, ибо он был славным шутком мадранта и умер, как подобает шуту...

Да будет твоя воля священна, высокий мадрант, но совет ревзодов связывает гнев Карраско, появление Ферруго, Великий Поход Поганых Лиц и беспорядки в стране с одним-единственным днем — днем появления во дворце твоей чужеземки, мадрант... И Первый ревзод готов сейчас же поплатиться жизнью за слова, которые он передал мадранту от имени совета ревзодов: чужеземная женщина должна исчезнуть, и тогда смилостивится Карраско, волны проглотят армаду Страны Поганых Лиц, сгинет Ферруго и успокоятся горожане...

И ревзод втянул голову в свои покатые плечи, словно боясь, что мадрант сейчас ударит его.

Мадрант встал. Судьба чужеземки, как и всех остальных в этой стране, находится в руках мадранта. Что же касается Ферруго, то если до Новой луны он не будет схвачен, мадрант кланется напоить изнывающий от жажды город кровью, и ни один из невыполнивших приказ мадранта не станет исключением, даже Первый ревзод, который может убираться, и чем быстрее, тем лучше, потому что времени у него не так много...»

Рапсод Мургабович проглотил липкую, вязкую слюну... «Это про меня и про мой магазин! — подумал он. — Кто-то сводит счета, но боится назвать имени. Какой-то подлец решил от меня избавиться...»

Рапсод Мургабович знал, что подчиненные за спиной называют его «диктатором», «Наполеоном», «зверем» за то, что все в магазине в его воле и вла-

сти. Он — хозяин. Он сам живет хорошо, но и другим дает жить. Тем, кто заслуживает. За это его ненавидят, завидуют, хотя делают вид, что любят, именно те, которых он держит... Собаки! Продажные шкуры!.. Но кто? Кто же из них все это расписал... Заместитель? Завскладом?.. Бухгалтер?.. Кто... И на что намекает неизвестный гад?.. На мечь? На расплату?.. На национальное происхождение? Так они все у него не очень... Кроме завскладом. Но тот и двух слов связать не может... Не то чтобы создать такой хитро-художественный поклеп... И Рапсод Мургабович яростно стукнул по столу увесистым кулаком...

«Из дворцового окна Олвис могла видеть бесконечно длинную вереницу горожан, поднимавшихся по склону расвирипевшей Карраско. Подгоняемые воинами, горожане пытались удерживать в своих ладонях воду, которой они должны были напоить Карраско и тем умиловить ее («Глупость какая! Кто это мог выдумать?»). А Священная Карраско и вправду разбушевалась не на шутку. Из утробы ее времени исходил громоподобный рык, от которого содрогалось все вокруг и в ужасе переглядывались люди. Дым, выходивший из пасти, стал совершенно черным и образовал над головой Карраско зловещую гигантскую шапку. Карраско шипела и плевалась раскаленными докрасна камнями, разбрызгивая огненную слюну («Красиво, черт побери, но страшно. Ведь это похоже на извержение, мадрант! Надо смываться, а?»).

Но мадранта, казалось, ничто не интересовало. Он почти все время проводил в черном зале и выходил оттуда вроде бы только для того, чтобы взглянуть на Карраско. Он подолгу стоял у окна и заслушивался во что-то, а потом, как бы очнувшись, слышался Олвис. Не страшно ли принцессе?..

Нет, мой мадрант. Принцесса настолько предана тебе и так верит в твою силу, что ей не страшно ни капельки («А смотаться не мешало бы, пока не поздно»).

Сейчас мадрант неожиданно обнял ее за плечи, и она порывисто прижалась к нему, передав этим прикосновением желание его телу.

Возьми меня, сумасшедший человек! Мне наплевать, кто ты — мадрант или Ферруго. Я не хочу больше ждать, пока кто-то из вас победит. Ты один. Я развею твоё одиночество. Со мной ты забудешь про походы и казни, ты ни разу не вспомнишь отвратительного ревзода. Я обещаю тебе... Так возьми же меня! Губы мои пересохла, и голова кружится... Господи!.. И Олвис почувствовала приближение божественной судороги, и пальцы ее рук впились в спину мадранта.

Но в этот момент Священную Карраско вырвало, и огненно-красное содержимое полилось свирепым потоком вниз по склону, превращая в тлен все живое и неживое. Горожане, поднимавшиеся вверх, с воплями устремились назад, подминая и топчая друг друга, и лишь немногим удалось добежать до города.

И теперь не боится принцесса озверевшей Карраско?

Нет, она не боится, мадрант, но Карраско в своём гневе причинит людям страдания и горе!

Мадрант может умиловить Карраско, но для этого он должен убить принцессу. Ты слышишь, Олвис, мадрант должен убить тебя...

Так убей меня, мадрант! Только сначала возьми! Я твоя, мадрант! Возьми и убей!

Нет, Олвис, мадрант не сделает этого, потому что мадрант не раб! Он свободен так же, как сво-

боден Ферруго. Пусть все будет так, как предсказала старая, слепая Герринда. Мадрант любит тебя, Олвис, но у него есть власть. У Ферруго нет власти над тобой, но это не значит, что он достоин твоей любви меньше, чем мадрант. С твоей смертью погибнет и Ферруго, но горько и позорно будет мадранту от такой победы. Поэтому только мадрант может убить Ферруго, и только Ферруго может убить мадранта!..»

Рапсод Мургабович зарычал. И об этой истории вспомнили, сволочи! Конечно, про Валечку идет речь. Про девчонку из торгового техникума, кланявшую мамой... Так что же, Рапсод Мургабович не может полюбить девчонку из торгового техникума?.. Он не соблазнял ее, не спаивал, не угрожал. Он просто превращался в виноградное желе, когда ее видел... Да, он хотел, чтобы ее оставили работать в его магазине, и он сделал все, чтобы ее оставили... Да, он дарил ей дорогие подарки, но не потому, что покупал ее, а потому что хотел. Хотел делать — и делал! И не какие-нибудь дешевые колготки, а французские духи за 80 руб.! И не плитку вонючего лежального шоколада, а золотое колечко с камнем!.. И не в заплеванный «Парус» приглашал ее ужинать, а в Сочи с ней на субботу и воскресенье!.. И, кабы не жена с ребенком и не должность, женился бы! И плевал бы на разницу в возрасте!.. Но не Валечка же решила накатать все это!.. А может быть, ее паренек? Двадцатилетний сопляк, которого однажды Рапсод Мургабович вынужден был просто побить... Вполне возможно!.. Ух, гнилое поколение! Крикуны недоделанные! Топтуны вокально-инструментальные! Волосатики бритоголовые!.. И Рапсод Мургабович аж передернулся, когда представил, что может быть, если про историю с Валечкой узнает Гаяне...

«Палач Басстио и его помощники работали не покладая рук, а воины доставляли из города все новых и новых задержанных. Первый ревзод лично учинял допрос каждому, прежде чем передать его в руки палача. Одни из горожан целовали ноги Первого ревзода и плакали, утверждая, что никогда в жизни не видели и не знали никакого Ферруго, другие принимали смерть молча, как нечто неотвратимое и должное, третьи успевали крикнуть: «Да здравствует Ферруго!» или «Смерть мадранту!» — но никто из них, и это Первый ревзод чувствовал, действительно, не имел отношения к Ферруго. Двое рыбаков приволокли связанного сумасшедшего старика и, ссылаясь на указ мадранта, потребовали произвести их в ревзоды, утверждая, что связанный старик и есть Ферруго. Но когда старика развязали, он стал мочиться прямо на Первого ревзода и провозгласил непристойности. Его обезглавили, а простодушных рыбаков, перед тем как прикончить, заставили пить кровь казненного сумасшедшего. Тогда по приказу Первого ревзода по всему городу появились воззвания, в которых именем мадранта обещались жизнь и свобода Ферруго, если он добровольно предстанет перед глазами мадранта. И к середине дня перед мадрантом уже стояли двадцать горожан, каждый из которых утверждал, что именно он и есть Ферруго. Мадрант с нескрываемым презрением оглядел всех и каждому посматрел в глаза, но ни один из них не выдержал его взгляда... Понимают ли они, что в лучшем случае девятнадцать из двадцати лгут, и чем докажет тот единственный двадцатый, что именно он Ферруго?..

И самозванцы по очереди произносили вслух творения Ферруго, вкладывая возможно большую страсть и ненависть. И мадрант улыбался, слушая их, а Первый ревзод, стоявший рядом, уже рад был бы любого признать как Ферруго, потому что времени до Новой луны оставалось все меньше и меньше...

Ну что же, если Первому ревзоду кажется, что именно пятый, или двенадцатый, или восьмой действительно Ферруго, то пусть Ферруго порадует нас новыми творениями, которые еще неизвестны Первому ревзоду и мадранту. Ведь Ферруго нечего бояться. Слово мадранта — закон. Ферруго ждут жизнь и свобода.

Но пятый, и двенадцатый, и восьмой только мычали что-то невразумительное.

А потому пусть потопорится Первый ревзод в поисках настоящего Ферруго. Двадцать лжецов, обманувших мадранта и решивших купить себе славу, жизнь и свободу чужими словами, должны быть повешены, и на спине у каждого следует написать красными буквами: «Я предал Ферруго тем, что я не Ферруго».

И когда украсили городскую площадь телами самозванцев, горожане ликовали, ибо это означало, что Ферруго жив и на свободе. И молча взирал на страшную гирианду лишь Первый ревзод.

К исходу дня казни прекратились, потому что казнить было некого. Последние горожане покидали город и уходили в горы, посылая проклятья в сторону дворца и с тревогой поглядывая на вершину Священной Карраско, почти совсем скрытую большим черным облаком, которое время от времени вспарывали острые ослепляющие молнии. Воинские кордоны уже не в состоянии были остановить этот великий исход и присоединялись к горожанам. Тех же, кто пытался проявить остатки преданности мадранту, убивали на месте. Люди размахивали синими знаменами, в центре каждого из которых красовалась белая голова собаки. К ночи в погруженном во мрак опустевшем городе оставались только ревзоды, мадрант и небольшой отряд его личной охраны. Совет ревзодов уже много часов подряд пытался и все никак не мог принять решение.

Именно сейчас Первому ревзоду был необходим Ферруго, уже не ради сохранения собственной жизни, а ради спасения страны и всего того, чему свято служили он и его предки в течение почти двенадцати столетий. Войти в контакт с Ферруго, выяснить, чего он хочет, вселяя в горожан смуту своими творениями, и попытаться направить весь гнев этого собачьего движения против мадранта и затем с помощью ревзодов убить мадранта, вылив таким образом умиротворяющее масло в бушующее море. А затем предложить Ферруго занять дворец мадранта и стать мадрантом. И пусть Ферруго не называет себя мадрантом. Пусть назовет себя кем угодно, и пусть ревзоды перестанут именоваться ревзодами... Первый ревзод нечестолобив. Он никогда не завидовал мадранту и не представлял себя на его месте. Кому быть мадрантом, в конце концов решает небо. Он же должен оставаться Первым ревзодом при любом из них. И Ферруго, не имея опыта и осведомленности в государственных делах, будет нуждаться в советах и помощи Первого ревзода, и мудрый, хитрый Первый ревзод очень скоро сделает так, что Ферруго сперва поверит ему, а потом себе, и постепенно убедится в том, что он не зря занимает дворец мадранта, а обожание, с каким горожане относятся к Ферруго, позволит делать с ними все, что заблагорассудится. Им же будет казаться, что они добились своего, возвратив себе «гордое имя — Собака», избавившись от одного и избрав себе другого мадранта.

Так уже было однажды в истории страны, и нынешний мадрант сам происходит от появившегося семьсот лет назад смутьяна, в то время как родословная Первого ревзода чиста с незапамятных времен до сегодняшнего дня...

И пока Первый ревзод думал о своем, рассеянно слушая предложения остальных ревзодов, горы вспыхнули неожиданно тысячами костров и факелов, посыпалась горохом на город сухая дробь воинственных барабанов, и донесли до ушей ревзодов призывные боевые кличи. И показалось Первому ревзоду, что повис над городом, вытягивая кишки, широко вибрирующий вой бешеного мадрантового пса.

И когда мадрант из своего окна увидел, что огни пришли в движение и поплыли вниз по направлению к городу, с каждой минутой делая ночь все светлее, он понял, что воля и власть мадранта, его суровые указы и великодушные одаривания, топоры Басстии и зубы священных куймонов, наконец, безграничная любовь и преданность ему горожан оказались слабее двух десятков слов, рожденных свободным Ферруго, и почти звериный крик, выражавший и радость и ненависть одновременно, вырвался из его груди...

На этом месте вошел Алеко Никитич и протянул Рапсоду Мургабовичу по всем правилам оформленное требование. Рапсод Мургабович спрятал требование в карман, встал с кресла и, указав на рукопись, спросил мрачно:

— Напечатаешь?

— Пока все идет к тому, — ответил Алеко Никитич.

— Руки не подам! — сказал Рапсод Мургабович. — Проклянута!.. Детям накажу! Внукам!.. Вечным врагом будешь!

Алеко Никитич опешил:

— Что с тобой, Рапсод?

— Клянусь мамой! — кричал Рапсод Мургабович, делаясь красным. — Плевать в твою сторону буду!.. Застрелюсь!.. В тюрьму сяду, а позора не потерплю!.. Ты мой друг! Я твой друг!.. Тебе икра нужна — бери икру! Рыба красная нужна — бери рыбу! Апельсины — апельсины бери! Рапсод другу никогда не откажет! Рапсод, напиши еще — Рапсод ночей не спит, с ума сходит — еще пишет! Рапсод понимает: один раз живем, друзьям помогать надо!.. Я к тебе за помощью не обращался! Мне твоя помощь не нужна! Я гордый. Я могу весь твой журнал купить и туалетной бумагой обмотать! И я не обеднею!.. Но, когда Рапсоду на ногу наступают, в Рапсоду зверь просыпается!..

— Слушай, Рапсод, дорогой, да что, наконец, происходит? — не понимает Алеко Никитич.

— Не понимаешь, да?

— Не понимаю.

— Вот так и знай! Напечатаешь — имя Рапсода забудешь!

— Ты освежись, дорогой, — говорит Алеко Никитич и кладет руку на плечо Рапсоду Мургабовичу, — и потом спокойно все объяснишь... Главное, чтоб с банкетом все было нормально...

Рапсод Мургабович сбрасывает руку друга с плеча.

— Имя Рапсода забудешь! Так и знай! — выкрикивает Рапсод Мургабович и, пытаясь, выкатывается из кабинета.

...С-с-с... Все спятили... То ли перегрелись, то ли действительно от летающей тарелки, то ли это... Алеко Никитич опасливо косится на рукопись... Может, прав Индей Гордеевич?.. С-с-с... Сегодня утром

Алеко Никитич все же решился. Он нашел в старой записной книжке телефон и позвонил. Он сразу узнал Симинову мать и удивился столь молодожаво звучащему голосу. Алеко Никитич поздоровался и, откашлявшись, представился... После паузы он услышал: «Подонков попроси больше не звонить!... Так и заявила... Дело, конечно, хозяйское, но уж что-то, а подонком Алеко Никитич никогда не был и таковым себя не считал... Просто все спятили... С-с-с...

XVI

Господин Бедейкер с супругой и сопровождающей его свитой, официально именуемой «делегацией из австралийского города-побратима Фанберры», прибыл в Мухославск в пятницу в одиннадцать часов утра. Ритуал встречи был продуман и утвержден заранее. Алеко Никитич хотел, чтобы встреча в Мухославском аэропорту и дальнейшее следование кортежа по центральной улице транслировались по телевидению, но Н. Р. сообщил, что Москва этого не утвердила, ибо никакого политического значения приезд не должен иметь. Отменены были исполнение гимнов, почетный караул, ковровая дорожка от самолета до здания аэровокзала и эскорт мотоциклистов. Разрешены были краткие приветственные речи, тексты которых заготовили заранее, и упреждающий «газик» мухославской ГАИ.

Встречать господина Бедейкера решено было всем коллективом. В помещении редакции по банкетно-хозяйственным делам остались только машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и жена Свища. Среди встречающих также были делегации спичечной фабрики и химкомбината. У всех в руках были флажки с гербом города Фанберры и цветные воздушные шары. Как только самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, объединенный духовой оркестр производственно-технических училищ № 2 и № 7 грянул припев английской солдатской песни «Типерери» и играл этот припев до тех пор, пока серебристый лайнер не подрулил к стоянке и официально встречающие лица не двинулись. Впереди медленно шагали Н. Р., Алеко Никитич с супругой и переводчица. Чуть сзади шествовали Индей Гордеевич, директора спичечной фабрики и химкомбината, Бестиев и Сверщеский. Далее — все остальные. Идти до самолета предстояло метров пятьдесят, и встречающие переговаривались между собой, как водится в таких случаях, вполголоса. Но так как говорить было не о чем, то разговор шел о погоде.

— Повезло ему с погодой, — сказал Н. Р.

— Да уж, — откликнулся Алеко Никитич.

— А интересно, какая погода в Фанберре? — полюбопытствовала Глория.

— Там сейчас зима, — вставил сзади Индей Гордеевич.

— Погода, надо сказать, замечательная, — сказал Н. Р.

— Исключительная погода, — согласился Алеко Никитич.

В этот момент Индей Гордеевич с ужасом прошипел в спину Н. Р.:

— Хлеб-солы!

— Хлеб-соль где? — процедил Н. Р. Алеко Никитичу.

— Хлеб-солы! Хлеб-солы! — пронеслось среди встречающих.

Свищ стремглав бросился к зданию аэровокзала. Через минуту оттуда выбежала жена начальника аэропорта в расписном переднике, держа на вытянутых руках каравай и солонку из ресторана. Она успела как раз к тому времени, когда подали трап и дверца фюзеляжа открылась. Появившаяся стюардесса некоторое время пыталась кого-то не выпустать, но ее оттолкнули, и по трапу сбежали пятнадцать темнокожих мужчин, кричавших что-то на своем языке и оживленно жестикулирующих.

Жена начальника аэропорта бросилась было к ним с хлебом-солью, но стюардесса закричала:

— Это не им! Они не делегация! Это свои! Привезли фрукты на рынок!..

Зато потом все было нормально. На трап ступил господин Бедейкер — огромный полный мужчина. Он приподнял свою ковбойскую шляпу и замахал свободной рукой. Встречающие в ответ тоже замахали руками и флажками. Жена начальника аэропорта с хлебом-солью уже стояла у трапа.

Бедейкер отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль и жадно съел. Все ждали, пока он прожует. Бедейкер прожевал, проглотил, опять замахал руками и неожиданно отломил еще кусок.

— Их не кормили? — шепотом спросила Глория.

— Пусть ест, — буркнул Н. Р.

Наконец Бедейкер уплеп весь каравай, спрятал в сумку вышитое полотенце и сделал шаг в направлении встречающих.

— Целовать? — тихо спросил Алеко Никитич.

— Целуете только вы, — деловито ответил Н. Р., — и однократно.

— Но это не по-русски...

— Однократно! — тоном, не вызывающим возражений, повторил Н. Р.

— Чарльз! — закричал Алеко Никитич. — Привет, дорогой! С приездом!

И, обняв Бедейкера, он нанес ему в щеку соленые губы затяжной дружеский поцелуй.

Когда все пережали друг другу руки, Н. Р. сделал шаг вперед и произнес:

— Добро пожаловать, господин Бедейкер, на гостеприимную древнюю землю солнечного Мухославска!..

Раздались аплодисменты, после которых Н. Р. достал из кармана приветственную речь.

— Дорогой господин Чарльз Бедейкер! — прочитал Н. Р. — Дорогие господа, члены делегации из далекого австралийского города-побратима Фанберры! Как вы только что сказали в своей приветственной речи...

Переводчица начала переводить на ухо Бедейкеру, и тот сделал изумленное лицо.

— Он еще не выступал, — вполголоса сказал Алеко Никитич, улыбаясь, будто ничего не произошло.

Н. Р. и бровью не повел. Он сложил вчетверо свою речь, спрятал ее в карман и широким жестом пригласил Бедейкера к микрофону.

— Слушаем вас, господин Бедейкер! — сказал он. Бедейкер тоже достал из кармана свою речь и стал читать:

— Уважаемый господин Н. Р.! Уважаемый Алеко Никитич! Как вы только что сказали в своей приветственной речи, разногласия в политических взглядах между нашими странами не должны омрачать дружбу и взаимосимпатию между нашими народами...

— Я еще ничего не говорил! — испугался Алеко Никитич.

— Скажете! — тихо произнес Н. Р. — Пусть продолжает.

«На аэродроме г-н Бедейкер обратился к встречающим с ответной теплой речью».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»).

До гостиницы кортеж, состоявший из «газика» начальника мухославской ГАИ и двух черных «Волг», проследовал по главной улице города вдоль живого коридора выстроившихся работников спичечной фабрики и химкомбината. Сзади кортеж сопровождал мотоцикл с коляской, ведомый тестем художника Дамменлибена, бывшим заместителем начальника мухославской ГАИ. В коляске в вечернем платье, с каской на голове величественно сидела теща художника Дамменлибена. Она широко улыбалась стоявшим по пути мухославцам, приветливо делала им ручкой и повторяла то и дело: «Здравствуйте, здравствуйте, товарищи!» В сопровождении Алеко Никитича и переводчицы господин Бедейкер поднялся в специально подготовленный для него трехкомнатный «люкс» на втором этаже. Алеко Никитич пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и спустился в холл, где его ожидал Н. Р., которому не годилось провожать господина Бедейкера в номер.

XVII

Прием господина Бедейкера в редакции журнала «Поле-полюшко» состоялся в 17.30 того же дня. К этому времени фанберского гостя уже ждали все сотрудники редакции и приглашенные. В последний момент стало известно, что не придет Н. Р. Многие облегченно вздохнули, полагая, что отсутствие Н. Р. создаст во время приема и банкета непринужденную обстановку. Все толпились в конференц-зале, украдкой поглядывая на расставленные в виде буквы «Т» столы с угощениями и напитками.

— Теперь так, — приставал к Индею Гордеевичу известный в Мухославске писатель-почвенник Ефим Дынин, — а ежели я, к примеру, спрошу его про Общий рынок? Запросто спрошу, напрямки. Тогда что?

— О чем угодно, — советовал Индей Гордеевич, — только не об Общем рынке.

Публицист Вовец, успевший к этому времени потихому опрокинуть бокал сока под болгарский огурик, встал с шуткой:

— А вы его спросите, почем помидоры на Общем рынке, так?

— Какие помидоры? — не понял шутку Дынин.

— Да это шутка, так? — захохотал Вовец. — Шутка!

— С шутками тоже поосторожнее, — строго заметил Индей Гордеевич.

— А если я, к примеру, спрошу, как у них с крупным рогатым скотом? Запросто, напрямки, а?

— У них хорошо с крупным рогатым скотом, — скрывая раздражение, ответил Индей Гордеевич. — А если не о чем спрашивать, то лучше помолчать.

Художник Дамменлибен только что повесил на стену игривый коллаж-монтаж и, стоя рядом, наблюдал, какое впечатление коллаж-монтаж производил на присутствующих. Затея Дамменлибена представляла собой красочное панно на темы «Вальпургиевой ночи» в воображении художника. Лица сотрудников и писателей, вырезанные из фотографий, были приклеены к мужским и женским телам, взятым из полупорнографических журналов. В самом центре панно плотоядно улыбающийся Алеко Никитич с телом культуриста-производителя взирал

на Глорию с ярко выраженными русалочьими бедрами. Образы не соответствовали оригиналам, и все спрашивали у Дамменлибена, что он хотел этим сказать.

— Б-б-леск! — хохотал Дамменлибен. — Дико смешно!

— Ты все-таки, Теодор, зад Глории заклей, — советовал Индей Гордеевич, — она может обидеться.

— Ч-че-п-п-уха! — кричал Дамменлибен. — Вы мою Нелли знаете она умная женщина все свои люди а как Ригонда?

— Ригонда ничего, — довольно ответил Индей Гордеевич, ища глазами Ригонду, которая кокетничала в углу с Бестиевым.

Тело Ригонды было взято из рекламы женских колготок во французском журнале «Она». Поэт Колбаско и Людмила были изображены под роскошным одеялом, изо рта у Колбаско торчал пузырь с надписью: «Ку-ку!».

Группа развратных фигур с головами Ольги Владимировны, вахтерши Ани, жены Свищи и жены Зверца танцевала вокруг сатирика Аркана Гайского, у которого на самом интересном месте висел большой амбарный замок.

Почвенник Ефим Дынин после долгих поисков нашел наконец свое лицо, смонтированное с конской фигурой, снабженной всеми конскими деталями.

— Непохоже, Теодор, — корил он Дамменлибена, — совсем непохоже.

— Д-да б-б-рость ты Фимуля! — кричал художник. — Ты же т-т-талантливый писатель!

Публицист Вовец, пользуясь неразберихой, хватанул еще бокал сока и хотел уже было наполнить следующий, как в конференц-зал вбежал возбужденный Свищ и прошептал таинственно:

— Приехали!

Все присутствующие, в том числе и недовольный Вовец, направились к дверям встречать господина Бедейкера.

Улыбающийся, хорошо пахнущий, в шикарном темно-синем костюме господин Бедейкер вошел в редакцию в сопровождении Алеко Никитича в строгом черном костюме и Глории в вишневого цвета бархатном платье. Алеко Никитич представил Бедейкеру собравшихся, и все проследовали в конференц-зал.

— О-о! — обрадовался Бедейкер, увидев коллаж-монтаж. — Русский эротик!

Алеко Никитич, для которого панно явилось полной неожиданностью, гневно взглянул на Дамменлибена и, улыбаясь, сказал Бедейкеру:

— Домашнее баловство в узком кругу...

— О-о! — закричал Бедейкер, узнав на панно Глорию. — Грандиозно! — Он сравнил изображение с Глорией. — Фэнтэстик! Завидую! — Последнее уже относилось к Алеко Никитичу.

— Шутливая гипербола, — нараспев произнес он.

— О-о! — изумился Бедейкер, обнаружив Ефима Дынина с конской фигурой. — Кентавр!

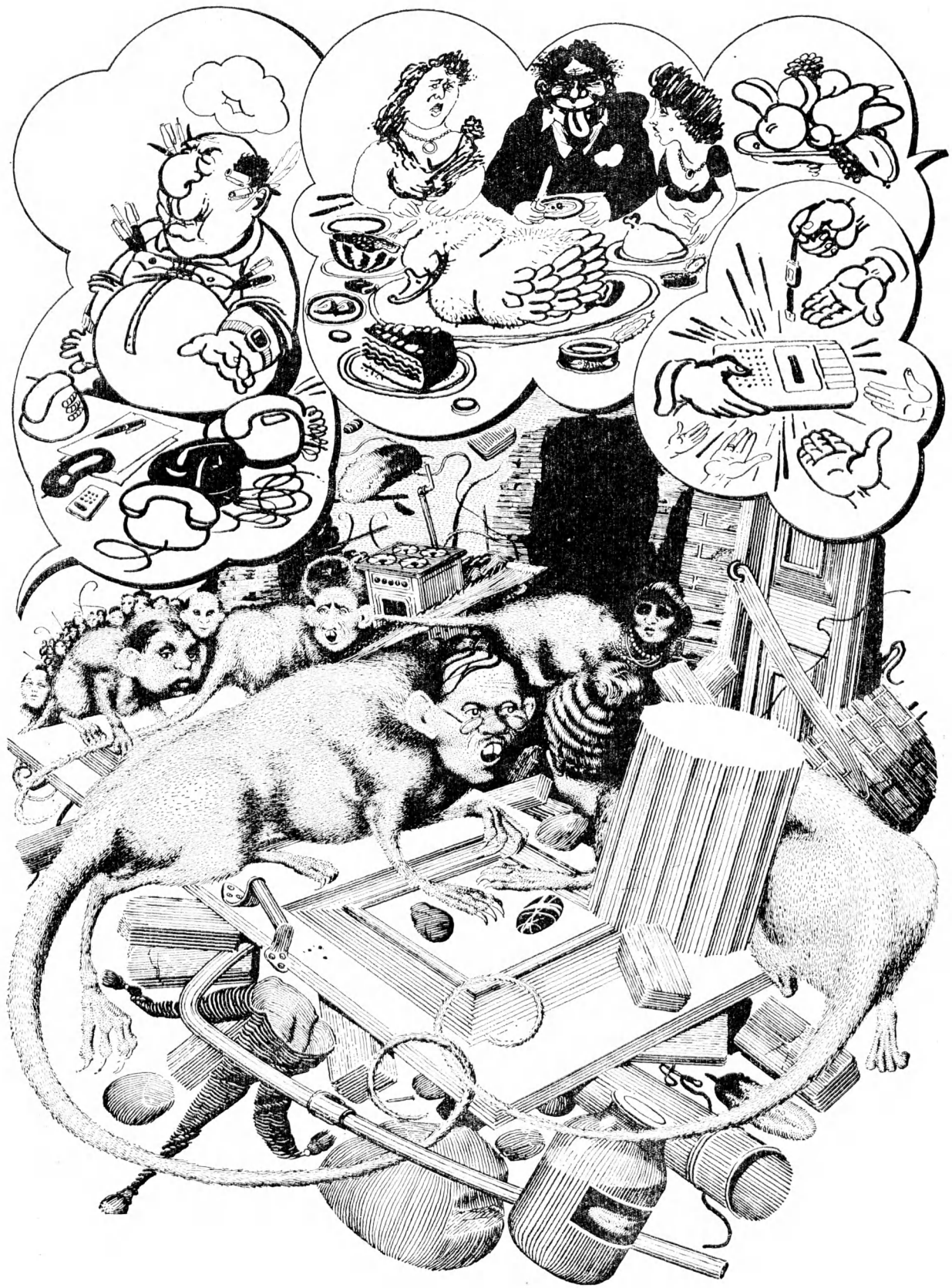
— Очень приятно, — смущенно поклонился Дынин. — Ефим Дынин, почвенник...

— Наш крупный прозаик, — представил его Алеко Никитич. — Земной художник, пахарь...

— Это видно! — сказал Бедейкер, указывая на конскую фигуру писателя-почвенника. — Эротическая тема... Наш журнал серьезно изучает этот вопрос...

— Мы тоже, — сказал Алеко Никитич, уничтожая взглядом Дамменлибена. — А вот и автор!

— О-о! — обрадовался Бедейкер. — И давно это у вас?



— Мы, господин Бедейкер,— гордо и неожиданно четко сказал Дамменлибен,— когда на территорию Германии вошли, немки не трогали...

— Господин Бедейкер,— пригласил Алеко Никитич,— прошу за стол! Чем богаты, тем и рады!

За горизонтальную часть Т-образно составленных столов сели господин Бедейкер, Глория, Алеко Никитич, Ригонда и Индей Гордеевич. В непосредственной близости от них за вертикальной частью расположились сотрудники редакции и гости первой гильдии. В самом конце устроились машинистка Ольга Владимировна, вахтерша Аня и гости второй гильдии. Столы ломились от еды и разноцветных соков, разлитых по кувшинчикам и графинам.

— Попрошу наполнить! — встал Алеко Никитич.

— А кто уже наполнил? — пошутил Вовец.

— Того попрошу помолчать! — не понял шутки Алеко Никитич.

Вовец недовольно хрустнул болгарским огурцом, и наступила тишина.

— Уважаемый господин Бедейкер! — провозгласил Алеко Никитич.— Дорогой Чарльз! Год назад в далекой, но теперь уже близкой нам Фанберре ты изъявил желание продолжить нашу дружбу в Мухославске. Сегодня твое желание сбылось. Это еще раз говорит о том, что при наличии доброй воли и непредвзятого отношения к существующей действительности нет никаких преград на пути к взаимопониманию и взаимопроникновению на основе взаимодоверия и взаимоуважения. Жители Мухославска с пристальным вниманием и глубоким интересом следят за развитием австралийской литературы, а в книжных магазинах Фанберры произведения наших мухославских авторов не залеживаются. У вас есть что посмотреть, а у нас есть что показать. Наши взаиморазногласия разделяет экватор, но наши взаимосимпатии соединяет меридиан. Успехов тебе, Чарльз! Процветания твоему журналу! Мир твоему дому!

«С ответной речью выступил г-н Бедейкер. Речи руководителей двух журналов были выслушаны с большим вниманием и неоднократно прерывались аплодисментами».

(Из газеты «Вечерний Мухославск»).

Банкет продолжал развиваться по присущим ему законам, и уже через полчаса все вдруг разом громко заговорили. Каждый брал слово и, пытаясь перебить остальных, говорил о своем. Бедейкер оказался большим любителем соков и закусок. Вскоре один свой глаз он положил на Ольгу Владимировну, а другим бесконечно подмигивал жене Свища, которая, считая это правилом хорошего тона, тоже стала подмигивать Бедейкеру. Сам же Свищ, полагая, что Бедейкер дружески подмигивает ему, начал отвечать тем же, чем вызвал у Бедейкера нехорошие подозрения. Подозрения усугубились еще и тостом, с которым Свищу удалось справиться.

— Друзья мои! — сказал Свищ, излучая ласку.— Предлагаю выпить за нашего наставника, которого мы между собой величаем Никитичем, и за его обаятельную женушку! Им мы обязаны журналом нашим замечательным, яствами сегодняшними неопируемыми, гостем нашим ласковым! Урашеньки! Гип-гип-урашеньки! — И Свищ, пригубив бокал с соком, подмигнул Бедейкеру.

«Дамы пьют стоя, мужчины — на коленях, так?» — пошутил с другого конца стола Вовец».

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

— Скажите ему, чтобы прекратил! — прошептала Алеко Никитич Индей Гордеевичу.

— Слушай, Бедейкер! — неожиданно возник Ефим Дынин.— Вот я тебя запросто спрошу, напрямки: почему ты почвенников не печатаешь?

Переводчица, схватившая было кусок холодца, положила его обратно на блюдо и перевела вопрос Бедейкеру.

А Дынин настаивал:

— Мне твои шиллинги не нужны. У меня, слава богу, коровенка есть и свинки бегают, но почему ты почвенников не переводить?

Бедейкер постучал вилкой по бокалу. Алеко Никитич сделал то же самое. Наступила относительная тишина, в которой повисла фраза Ольги Владимировны: «А он мне нравится!».

— Господа! — с трудом поднялся Бедейкер.— У вас, как я слышал, лежит интересное произведение, которое может иметь успех у нашего читателя... Дорогой Алеко! Пользуюсь случаем и большим количеством людей и прошу тебя передать в мой журнал эту рукопись.

— Слушай, Бедейкер! — хлопнул его по плечу Ефим Дынин.— А ты мне на вопрос не ответил. Почему ты почвенников не печатаешь?

— Во-первых, Чарльз,— с дипломатическим дружелюбием сказал Алеко Никитич,— нехорошо выводить редакционные тайны, а во-вторых, вопрос с публикацией этого произведения еще не решен...

— Это чудо, господин Бедейкер! — буквально зашлась Глория.— Австралия будет в восторге!

Алеко Никитич под столом наступил ей на ногу и продолжал:

— У нас и без того много талантливых писателей. Бестиев, к примеру, сейчас закончил интересную повесть...

— Спасибо! — сказал Бедейкер.— Наш читатель знает имя Бестиев...

— Могу взять псевдоним! — подскочил Бестиев.— Волков... Чем плохо? А? Ну чем плохо-то?

— Как волков ни корми, он все в лес смотрит! — сострил Колбаско.

— Пошли танцевать, господин Бедейкер! — вдруг вскочила со своего места Ольга Владимировна.— «Я цыганочку свою работать не заста-а-авлю...»

И, тряся плечами и грудью, Ольга Владимировна стала надвигаться на Бедейкера.

Алеко Никитич захлопал в ладоши, отметив необходимость редакционной машинистки, и еще раз мысленно пообещал ей поспособствовать в вопросе отдельной квартиры.

Все хлопало до тех пор, пока Ольга Владимировна вконец не затанцевала господину Бедейкеру. И когда он, обливаясь потом, приложился к ее руке, она неожиданно притянула его за уши и впиалась отчаянным длительным поцелуем одинокой женщины.

— За простых работников журнала! — заверещал Аркан Гайский.— Без них мы — ничто! За Ольгу Владимировну!

А Ольга Владимировна внезапно побледнела и выбежала из конференц-зала. Включили магнитофон, и начались танцы. Жена Свища выбрала Алеко Никитича. Свищ — Глорию. Индей Гордеевич пошел с Ригондой. Остальные — кто с кем.

— Прижми меня, Индюша, — прошептала Ригонда.

Но, странное дело, Индей Гордеевич почувствовал прежнюю индифферентность по отношению к су-

пруге. Он танцевал с ней, смотрел на нее совершенно спокойно, прижимал по ее просьбе, но никаких возбуждающих токов не получал, да и, очевидно, не продуцировал.

— Труп! — сказала Ригонда и освободила его от обязанности партнера.

Индей Гордеевич сел опять за стол, пожевал цыплячью ножку и начал тупо наблюдать за вихрем невероятнейших сексапильных па, которые Ригонда выделывала с Бестиевым. Но Индей Гордеевича это вовсе не волновало.

«Вот и опять», — подумал он.

Свищ наяривал вприсядку под Тома Джонса.

Прием по случаю приезда господина Бедейкера постепенно обрел непринужденность. самого высокого гостя атаковали хозяева.

«У вас легко, — говорил Гайский, — у вас все можно. А у нас сатирикам трудно. Душат. Завидуют. Надо иметь большое гражданское мужество».

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

— А у меня, — Вовец опрокинул рюмку, — есть некие претензии к вашему Кортасару.

— Кортасар не их, — сказала переводчица, — Кортасар — латиноамериканец.

Бедейкер кивнул.

Колбаско воровато гладил под столом руку переводчицы и взрывался каламбурами.

Вахтерша Аня внесла из подсобки раскаленный самовар и стала обносить гостей чаем, ошпаривая и обливая танцующих.

— А-а-а! — доносилось из коридора. — А-а-а!

— Ольга Владимировна лишнее перетанцевала. Надо ее успокоить, — доверительно сказал Алеко Никитич жене Свища.

— Я ее отвезу домой! — обрадовался Аркан Гайский и высочил в коридор.

Через короткое время опять из коридора раздалось душераздирающее «а-а-а!», и в конференц-зал вбежал красный Гайский.

— Кусается, стерва! — сказал он, рассматривая следы зубов Ольги Владимировны на своем левом предплечье.

— Теодор, — обратился Алеко Никитич к Дамменлибену, — уложите ее в моем кабинете.

Господин Бедейкер вдруг встал и попытался направиться к выходу.

Бестиев подскочил к нему и, взяв под руку, повел в сторону туалета.

— Его надо отправить в гостиницу, — сказала переводчица. — Он устал.

— Я тоже так думаю, — зевнул Алеко Никитич, обращаясь к Индею Гордеевичу. — Берите Ригонду, проводим Чарльза, а потом мы с Глорией подбросим вас домой.

Ведя господина Бедейкера из туалета, Бестиев снял с себя маленький медный крестик, купленный им за двадцать крон в Праге, и почти насильно надел его на шею дорогого гостя.

— Мой презент! — говорил он. — Память! Чистое золото! Мы все — христиане.

Когда они вошли в конференц-зал, Бедейкер бросился к своему объемистому портфелю и вынул из него красивую довольно большую коробку.

— Мой презент! — Бедейкер протянул Бестиеву коробку. — Магнитофон! Четыре скорости! — Мы все — христиане!

— Ну, спасибо, — сиял Бестиев. — Надо же! Ну, спасибо! Я-то ему золотой крестик просто так подарил, а он... Надо же!

— Бестиев такой же христианин, как я римский папа! — сказал Аркан Гайский на ухо Вовцу, но так, чтобы слышали все остальные.

Предприимчивый Колбаско мгновенно снял с руки часы «Слава» и защелкнул их на правом запястье Бедейкера.

— Мой презент! — Он поднял руку Бедейкера с подаренными часами так, как поднимает рефери на ринге руку победителя. — На двадцати семи камнях!

Индей Гордеевич сбегал в свой кабинет и приволок большой бюст Горького.

— Мой презент! — сказал он и поставил Алексея Максимовича к ногам Бедейкера.

— Это редакционный бюст, — уточнил Алеко Никитич.

— Наш презент! — поправился Индей Гордеевич, глядя на портфель австралийца.

Свищ отцепил от жены брошь и приколот ее на лацкан господину Бедейкеру.

— Наш презент! — поцеловал он гостя. — Супруженьке.

«А, хрен с ним! — крикнул Ефим Дынин и преподнес господину Бедейкеру вынутую из кармана пиджака небольшую икону XVI века. — Молись, брат, да помни почвенников!»

(Из анонимной записки на имя Н. Р.)

Растроганный Бедейкер улыбался и кланялся, принимая эти проявления искренней дружбы и расположения, повторяя бесконечно: «Спасибо, спасибо», — но из своего портфеля больше ничего не доставал.

— В таком случае поехали, — сказал Алеко Никитич переводчице.

Бедейкер и переводчица сели в выделенную гостью «Волгу», а Алеко Никитич с Глорией — в «Волгу» редакционную. Минут через пять появился Индей Гордеевич.

— Ригонда еще потанцует, — сказал он, усаживаясь. — Ее Бестиев проводит.

Прошел приблизительно час. Бедейкера благополучно сопроводили до гостиницы и завезли домой Индей Гордеевич.

— Ты отдыхай, — задумчиво сказал Алеко Никитич Глории, — а я заеду в редакцию, молодежь разгоню...

Конференц-зал опустел. За столом ел и пил Вовец, полемизируя с разомлевшим Колбаско.

— Мне твои подачки не нужны, — говорил Вовец. — Я прекрасно помню, что должен тебе шесть сорок. И я их к зиме тебе отдам.

— Кому должен — прощай! — отвечал Колбаско. — Унижения не терплю! — говорил Вовец. — К зиме все отдам до копейки!

— Кому должен — прощай! — отвечал Колбаско. — А за это могу и по рожке! — говорил Вовец.

— Кому должен — прощай! — отвечал Колбаско. — Почему вы не идете домой? — спросил Алеко Никитич, сдирая со стены коллаж-монтаж Дамменлибена.

— Мы отпустили Аню, — сказал Вовец, — и остались на ночное дежурство, чтобы ничего не случилось...

— Ступайте домой! — почти приказал Алеко Никитич. — Несотрудникам запрещено находиться в помещении редакции в нерабочее время!

Колбаско, пошатываясь, встал.

— Я не могу идти домой, Алеко Никитич... Мне все там... напоминает об утраченном счастье...

«По халатности сотрудников, усугубленной нарушением норм общественной жизни, краны газовой плиты в подсобном помещении редакции были оставлены незакрытыми, что привело к утечке газа с последующим его накоплением в редакционных помещениях. Взрыв произошел либо в результате попадания молнии во время грозы, либо по иной причине. Вероятность террористического акта чрезвычайно мала, хотя и не исключается. Человеческих жертв нет. Материальный ущерб, причиненный редакции и соседним зданиям, подсчитывается».

(Из материалов расследования)

XVIII

В понедельник к беспощадному сатирику Аркану Гайскому приехала из Владивостока девочка, которой два года назад он пообещал жениться, познакомившись с ней на пляже курортного города Ялты. И, решив принять ее по-царски, Гайский часов в пять дня зашел на городской рынок купить полкило слив. Базарный день заканчивался, и темномастные были уступчивы. Торговец скрутил для слив два обгоревших по краям листа бумаги в клеточку с каким-то написанным текстом. Когда Гайский, придя домой, выложил перед девочкой царское угощение, он решил любопытствовать, что написано на кульке, и прочитал:

«...Раб свою жизнь проживает по-рабски в тоске по свободе...»

...он сбросил с себя одежду и вошел в покои Олвис. Она ждала его, она проснулась от его крика и ждала его, стоя на коленях. Она сейчас впервые увидела, что рука, когда-то ударившая ее, отсечена по локоть.

Мадрант задернул шторы. Пусть знает Олвис, что победил Ферруго и скоро его собаки ворвутся сюда и перегрызут глотку ей и мадранту.

Она протянула к нему руки. Я ненавижу мадранта! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Дрожа всем телом, он сделал шаг по направлению к ложу. Он чувствовал, что она говорит правду, потому что нет больше ничего, достойного лжи, нет власти, нет богатства, нет зависимости. А это и есть та минута, когда желание становится водой и воздухом, без коих немислима жизнь...

Хвалит в ч е р а, проклинает с е г о д н я, надеясь на з а в т р а. Но наступает его долгожданное з а в т р а...

И что же?

...широко расставив руки, словно прикрывая вход в здание совета, вооруженную озверевшую толпу встретил Первый ревзод... Где Ферруго? Покажите мне Ферруго! Первый ревзод должен поговорить с Ферруго!.. Но вместо Ферруго двое горожан поставили перед ним дворцового палача Басстио. И, взглянув друг на друга, оба поняли, почему они оказались рядом. Взмахнув большой кривой саблей, Басстио не сразу, а в два приема, потому что руки ослабли от страха, отделил от туловища Первого ревзода его голову, которую тот успел все-таки втянуть в свои покаты плечи. А потом самого Басстио потащили к водоему со священными куймонами, и те так же бесстрастно приняли палача, как прежде — его жертв...

Он уже хвалит все то, что в ч е р а предавалось проклятью...

...я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!.. Покои Олвис озарились пламенем вспыхнувшего здания совета ревзодов... Они не посмеют убить тебя, Ферруго! Я не хочу этого, Ферруго! Ты скажешь им, что ты Ферруго! Они не могут убить тебя твоим именем!..

Нет, Олвис, мадрант никогда не прибежит к милости этих собак!

Они сохраняют нам жизнь, когда узнают, что ты Ферруго! Они вышлют нас на маленький остров, и только я буду с тобой! Я люблю тебя, Ферруго! Я ждала тебя, Ферруго!

Нет, Олвис, мадрант никогда не станет рабом у раба, и его тайна останется в нем, ибо иначе исчезнет Ферруго, а ты останешься с ненавистным тебе мадрантом!

Я люблю тебя, Ферруго, и я сама скажу им все ради твоей жизни («И ради себя, в конце концов. Вот глупость-то!»).

Он проклинает все то, что в ч е р а ему было надеждой, Снова надеясь на з а в т р а, и з а в т р а опять наступает...

...последние крики воинов, возгласы горожан и лязг оружия уже проникли в покои мадранта, и тогда Олвис, вырвавшись из объятий, бросилась к дверям, но мадрант успел схватить ее левой рукой и снова бросил на ложе... Мадрант любит Олвис, но она не сделает этого... Не сможет... Не успеет...

Я же люблю тебя, глупый... Ферруго!..

Он сжимал ее горло до тех пор, пока она не затихла, а потом упал, закрыв ее своим телом...

Только раба уже нет — он в ч е р а перебрался в могилу, Детям своим завещая надежду на новое з а в т р а...

...сидя на полу своей хижины, Герринда смотрела куда-то через стену вдаль пустыми глазницами и слышала нарастающий вой подземного огня и грохот несущейся ему навстречу исполинской волны. И когда почувствовала, как между лопаток прошел в нее обжигающий меч и, несколько раз повернувшись в груди, разорвал на части сердце, она поняла, что сын ее в эту минуту стал мертвым и что не родится он когда-нибудь крысой, как и не был ею тысячи лет назад...

Что же рабу в его жизни проклятой тогда остается...

Они не знали, что Олвис мертва, и пронзили их обоих одним мечом, повернув его еще несколько раз для верности, но потом сокрушались, что сразу прикончили и суку, не отдавая мадрантова лакомства. А потом их обоих привязали друг к другу, предварительно придав телам развратную любовную позу, и вывесили за окно покоев, чтобы все могли убедиться, что нет больше мадранта и его суки... Да здравствует Ферруго! Мы возвратили себе «гордое имя — Собака!»

...Если в ч е р а ш е е он никогда возвратит не сумеет...

...этой ночью должна была появиться Новая луна, но небо закрылось сплошным мрачно-черным покрывалом. Они бродили по городским улицам, опьяненные победой, вином и свободой... «И утолить свою жажду хозяйской кровью, и отшвырнуть эту падаль поганым шакалам...» И они не знали, что же теперь делать дальше... Да здравствует Ферруго!.. Но по-прежнему никто не видел Ферруго. Один

из них захватили черный зал мадранта и, окружив себя вооруженными дружками, заявил, что он, лично убивший мадранта, будет теперь править городом и страной. Но его вместе с дружками мгновенно растерзали остальные, так как право на черный зал имел только один Ферруго, а его все не было и не было... Да здравствует Ферруго!..

В женариуме между ними возникла страшная резня из-за сладкой добычи. Женщин мадранта разбирали и раздирали на части, вмешавшиеся в бойню жены горожан делали ее еще кровожаднее. И остановить их мог только один Ферруго, а его все не было и не было... Да здравствует Ферруго!..

Уже по всем признакам ожидался рассвет, но он все не наступал. И в этой длинной ночи под окнами дворца, подняв морду туда, где висели тела мадранта и Оливис, все выла и выла огромная собака. Все тоскливее и тоскливее... Да здравствует Ферруго!.. А его все не было и не было...

**...Если извечное за в т р а несчастный увидеть
не сможет!**

...И вдруг сильный, возникший словно бы из ничего ветер распахнул над городом черное покрывало, и они увидели Новую луну, и закричали от радости, и воздели к ней руки, встречающая новое начало. И раскололась, оглушив их небывалым грохотом, Карраско, разломив пополам землю. И вырвался из пролома столб пламени до самых небес, ослепив их своим светом, и накрыла все это невиданная, пришедшая с моря волна...

Прочитав эти письма, Аркан Гайский почувствовал знакомые острые схватки в нижней части живота и, успев крикнуть девочке: «Осторожней со сливами!» — кинулся вон из комнаты.

XIX

Спустя семь месяцев после злосчастного ночного взрыва задвинутый на пенсию Алеко Никитич пас в городском парке Мухославска свою внучку Машеньку. Он выглядел сильно постаревшим, или, как любят говорить в таких случаях, сданным, и лицо его было отмечено печатью не такой уж далекой встречи с таинственным и печальным продолжением общего биологического процесса, именуемого смертью. Время уже было собираться домой, когда к нему обратился неизвестно откуда взявшийся человек в легком для ранней весны пальтишке. Он был худ, тощ, без шапки. Ветер трепал его густые темные волосы.

— Скажите, Алеко Никитич,— произнес тощий,— а рукопись так и сгорела во время взрыва?

Бывший главный редактор вздрогнул от неожиданного вопроса и внимательно посмотрел на тощего. Голубые, чуть навывкате глаза, наполовину отсутствующий взгляд и какая-то безапелляционность. Алеко Никитич имел хорошую зрительную память. Да, этот взгляд он уже видел. В тот самый жаркий день, когда в его кабинет вошел незнакомец и положил на стол тетрадь в черном кожаном переплете. Но тогда он был значительно ниже ростом, шире в плечах и белобрис. Брат?

— А вы имеете отношение к рукописи или к ее автору? — спросил Алеко Никитич.

— Возможно,— ответил тощий.— И тетрадошка сгорела в черном кожаном переплете?

— Несчастный случай,— сказал Алеко Никитич.— Но почему вас интересует судьба рукописи? Вы же не хотите сказать, что вы... Во всяком случае, тот человек был ниже вас и совершенно другой масти.

— Возможно.— Тощий вынул из кармана пальто большую конфету в ярко-красной обертке и протянул ее Машеньке.— Авторы нынче подвержены особой акселерации.

— После обеда, Машенька! — строго сказал Алеко Никитич и спрятал конфету.

— Тоже правильно,— безразлично согласился тощий.

— И тем не менее, кто вы? — настаивал Алеко Никитич.— Мне все-таки кажется, что я вас где-то видел.

— И мне так кажется,— глядя куда-то в сторону, сказал тощий.

— Давно?

— Очень. Может быть, пять... Может быть, десять тысяч лет назад... Вам не жаль?

— Чего? — не понял Алеко Никитич.

— Того, что произошло.

— В какой-то степени.

— Благодарю вас,— поклонился тощий и вдруг, сделав нос Машеньке, нелепо подпрыгнул и побегал прочь, скуля, словно собака, в которую попал камнем.

Машенька рассмеялась.

— Пойдем! — сказал Алеко Никитич и потянул внучку за собой.

У самого выхода из парка он незаметно от Машеньки выбросил в урну большую конфету в ярко-красной обертке.

XX

В новом здании редакции журнала «Колоски» (так переименовали журнал «Поле-полюшко») в своем кабинете новый главный редактор Рапсод Мургабович правил новую статью критика Сверхщенского, когда дверь неожиданно открылась и вошел нескладный, тощий человек с голубыми, чуть навывкате глазами и положил на стол тетрадку в ярко-красном кожаном переплете.

«Я с ума сойду с этим журналом! — подумал Рапсод Мургабович. — Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красная тетрадь? Рукопись? Надоели, честное слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!..»

— Я с ума сойду, честное слово! — сказал он.— Клянусь мамой! Почему без стука? Что это за красная тетрадь? Рукопись?.. Надоели, честное слово! Я рукописи не читаю! На это есть Зверцев!.. Ты был у Зверцева?..

— Зверцев правит Сартра,— бесстрастно произнес тощий.

— Сартра-мартра,— буркнул Рапсод Мургабович.— Делать ему нечего, клянусь мамой!..

Тощий пожал плечами, поклонился и вышел.

«В печенках они у меня со своей литературой!» — подумал Рапсод Мургабович, машинально раскрыл тетрадь в красном кожаном переплете и прочитал: «В помещении редакции журнала «Поле-полюшко» частенько пахло газом...»

— Газом-мазом! — недовольно сказал Рапсод Мургабович и со злостью бросил в свой портфель тетрадь в красном кожаном переплете.

ЕВГРАФ КОНЧИН

РОКОТОВ И ДРУГИЕ



На снимке: в зале Калининской картинной галереи.

Фото Л. Шимановича

Несколько десятилетий на этот неухоженный холст, залежавшийся в запасниках Калининской картинной галереи, никто не обращал внимания. А, собственно, что в нем было интересного! Холст, прорванный во многих местах, был изборожден трещинами, изломами и складками. Его грязная, закопченная живопись сохранилась плохо: красочный слой частью был совершенно утрачен и продолжал осыпаться, частью изобиловал позднейшими, явно неумелыми записями. Что же было изображено на картине? Просматривался мужчина, одетый в мундир екатерининских времен. В инвентарной книге значилось, что это портрет князя Ивана Борисовича Куракина, владельца некогда богатого имения Волосово, близ Твери, откуда портрет и поступил в 1918 году в губернский музей. Автор! Уж этого никто не знал. Да и попробуй разбери первоначальную живопись, попробуй разгадай, кому она могла принадлежать. Да и зачем! Стоит ли холст такого внимания!! Удивительно, как он вообще сберегся...

Лишь в середине семидесятых годов до портрета, как говорится, дошли руки. Хорошие руки. Незадолго перед тем в картинную галерею пришел и здесь же, по существу, сформировался реставратор — Анна Ивановна Садикова. Начала она с простейшего, а после нескольких стажировок в Москве, во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря, — где, кстати, отметили толкового, старательного, обладающего завидным терпением и осторожностью стажера, — она приступила к ответственным работам. Сначала под присмотром опытных столичных специалистов, затем вполне самостоятельно.

Стала Анна Ивановна потихоньку, — а реставрация не терпит суеты, спешки, неосмотрительности, — осматривать в фондах галереи старые, подчас почти забытые полотна, а наиболее интересные в художественном отношении и требующие незамедлительного реставрационного вмешательства брать в работу. Очередь дошла и до портрета Куракина. Показался он Садиковой чем-то привлекательным, хотя и находился, прямо скажем, в катастрофическом состоянии.

Реставрация портрета, как сама признавалась мне Анна Ивановна, была сложной. Хотя и вполне традиционной, то есть многократно проверенной. Повторяю, в реставрации противопоставлены скоропалительность, тем более необдуманные, подчас будто бы новаторские решения. Экспериментировать над старым подлинником можно лишь в исключительных случаях, когда все другие способы его спасения испробованы и не дали положительных результатов. Лишь тогда пробуют какой-нибудь иной подход, помня, что авантюризм может безвозвратно погубить уникальное произведение.

Что же сделала Садикова с портретом Куракина! Я несколько подробнее расскажу о ее работе, поскольку мало кто представляет, каких огромных усилий и профессионального умения требует восстановление гибнущего живописного полотна. Иногда посетители выставок отреставрированных произведений бывают откровенно удивлены, даже не веря глазам своим, что вот это изображенное на фотографии полуразрушенное полотно вдруг (ох, как не

вдруг!) преобразается в картину, словно вчера, а не два-три столетия назад написанную именитым автором, предстает перед нами во всей первоначальной красе своей и свежести. Кажется, что это два совершенно разных произведения.

Этим чудом превращения мы обязаны реставратору!

Прежде всего Садикова сняла с живописи старый, пожелтевший, уже заскорузлый лак, обезобразивающий и без того донельзя загрязненный красочный слой. Осторожно, специальными составами отмыла его от застарелой грязи, пыли и копоти. Заделала многочисленные прорывы холста. Только потом взялась за укрепление живописи. Она смазала красочный слой рыбьим клеем, который издавна применяется при подобных работах. Накрыла его тонкой папиросной бумагой, затем полиэтиленовой пленкой и все это прогладила теплым утюгом. Обычным металлическим, даже не электрическим утюгом, каким лет тридцать назад гладили белье. Гладила осторожно, терпеливо. И постепенно размягчался красочный слой, становился эластичным, «живым», что ли, его опадавшие частицы склеивались. Исчезали кракелюры — зловещие рваные трещины, которые покрывали живопись и разрушали ее. Они не исчезли совсем, но их стало меньше, и они уже не представляли такой грозной опасности, как раньше.

Но композиция портрета?! Что с ней! Какая-то она странная, неуравновешенная! В чем дело? Оказывается, мундир Куракина снизу был позже кем-то дописан. Дописан плохо, явно ремесленной рукой, что и нарушило первоначальную авторскую композицию портрета. Анна Ивановна сняла эти чуждые добавления — портрет сразу же получил свое истинное композиционное завершение.

Оставалось сделать тонировки, то есть нанести живопись, близкую по цветовой гамме к авторской, на места утраты первоначального красочного слоя.

И вот портрет вывешен в зале галереи и поразил всех своей красотой, сочностью и великолепным колоритом. Прежде всего лица портретируемого. Стало ясно, что портрет принадлежит творчеству первоклассного, опытного русского художника второй половины XVIII века. Кому! На этот вопрос ответила заведующая отделом русского искусства Калининской картинной галереи Валерия Федоровна Гершфельд.

Особенности письма, несравненный колорит живописи, своеобразная цветовая гамма заставляли вспомнить великого и несравненного Федора Степановича Рокотова. Помогло и то, что в галерее уже находились три портрета его работы, было с чем сравнивать. Их стилистическое сходство с портретом Куракина было несомненным.

Сверилась Гершфельд и с таким капитальным трудом, каким является книга видного советского ученого, художника и реставратора А. А. Рыбникова «Фактура классической картины», изданная в 1927 году и до сего времени являющаяся бесценным пособием для специалистов. В ней подробно разбираются «яркие, своеобразные, выразительные формы» живописи Рокотова, говорится об «исключительной динамичности его кисти», о своеобразии «светового рокотовского канона», чрезвычайной характерности его «зигзагообразного мазка». Помогло и внимательное изучение великих творений Рокотова, хранящихся в Третьяковской галерее, и, наконец, архивного материала, относящегося к коллекции Куракиных, которые весьма чтит Рокотов.

Итак, Рокотов! Еще одно ранее неизвестное его произведение. Открытие — громкое, значительное!

Недавно рокотовский портрет Куракина был показан в Москве, на выставке реставрированных произ-

ведений живописи Калининской картинной галереи. Необычная выставка и во многом примечательная. Чем! И тем, что Калининская галерея впервые как бы персонально демонстрировала свои шедевры в столице нашей Родины. И тем, что была она творческим отчетом реставратора Анны Ивановны Садиковой.

На выставке экспонировались и картины Калининской галереи, отреставрированные сотрудниками Всероссийского художественного научно-реставрационного центра, учителями А. Садиковой и ее коллегами, специалистами широко известными — И. Тихомировой, В. Карасевой, Н. Маренниковой, И. Тарасовым, П. Барановым, В. Танаевым, В. Шульгиным... И этот раздел выставки показывал истоки знаний и умения Садиковой.

Это была действительно выставка шедевров, которыми обладает Калининская галерея. Вот «Портрет коллекционера А. А. Борисовского», созданный Василием Перовым в последний год жизни. Сколько Садикова возилась с ним, прежде чем он приобрел «музейный вид». Укрепляла осыпавшийся красочный слой, исправляла деформированный холст, удаляла сильные загрязнения. Или небольшой портрет Ольги Федоровны Трубниковой, написанный в 1887 году Валентином Серовым и им же почему-то замазанный белилами. Какую осторожность, верность глаза, терпение и старательность нужно иметь, чтобы снять сантиметр за сантиметром белила, намертво въевшиеся в живопись! Потребовалось еще определить, что изображена на картине невеста, а затем жена Серова. Или портрет Марии Казимировны Собеской, королевы Польской, исполненный неизвестным мастером XVIII века, также потребовавший сложной реставрации. Или... картины Станислава Жуковского, Александра Моравова, Аркадия Рылова, Григория Сороки, неведомых русских и зарубежных художников.

Что означает слово «шедевр»? Образцовое произведение искусства, высшее достижение мастерства. Но выставка показала нам и высшие достижения реставрационного мастерства Анны Ивановны Садиковой, ее учителей и коллег. По-моему, в таком случае справедливо было бы указывать на этикетке картины, экспонированной в музейном зале, рядом с именем автора и фамилию реставратора, возродившего шедевр к жизни, спасшего его, сохранившего для нашего и будущих поколений.



А. ВОЛСКОВ.

Вид города Ржева.

**ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ г. КАЛИНИНА.**



Н. ДУБОВСКОЙ.
Штиль.



Неизвестный
художник.
Дама в зеленом.

Ф. РОКОТОВ.
Портрет И. Б. Куракина.



А. МОРАВОВ.
Старый зал.
Островно.



**Неизвестный
художник.
Портрет А. В. Поджио**



**С. ЖУКОВСКИЙ.
Купальня в парке.**



АНАТОЛИЙ ПШЕНИЧНЫЙ



Баллада об арденнском дереве

По осенним Арденнам — цветные леса,
И петляет дорога, как в чаще лиса,
И грибы без опаски к дороге бегут,
Потому что в Арденнах грибы не берут...
По осенним Арденнам струится кортеж,
В километре кортежа не сыщется брешь —
К патриотам бельгийским плывет не спеша,
К партизанам российским,
К ветеранам из США...
На замшелой поляне, где рядышком — высь,
Три задумчивых стяга кистями сплелись,
И склонились, к надгробью колени прижав,
Представители бывших союзных держав...
По осенним Арденнам скользят облака,
Белокрылая птица несет свою весть.
Моего рукава вдруг коснулась рука,
Я услышал:
— Пойдемте,

здесь дерево есть...

На арденнских горах, в европейской глуши
Я прижал свое сердце: «Потише стучи...».
Вдалеке от друзей, от России вдали
Я сказал своей боли: «Больнее боли...»
На раскидистом дереве с именем «бук»,
Что о горные ветры веками гремел,
Проступили глаза двух тоскующих букв —
Под замшелой звездочкой — русских «Г. Л.»
А внизу: «43» — обозначенный год,
А под ним — серп и молот — спаяли кольцо,
А под ними — в буденовке — смотрит вперед,
Где Россия-страна, молодое лицо!..
Кем ты был в этом мире, безвестный «Г. Л.»!
Над какой страной в самолете

горел!

Из каких лагерей уползал по лесам!
И по чьим тосковал ты российским глазам!
За каких ты товарищей мстил палачам,

Из арденнских чащоб выходя по ночам!

...Я к лицу проводницы лицо наклоню...

— Анконю,— отвечает она,—

анконю !...

В чужедальних Арденнах, как в храме, стою,
Не античные фрески, не лики святых —
Это дерево душу качнуло мою,
Оттого и возник непридуманный стих.
На осенних Арденнах синицы поют,
И деревья стоят как московский салют.
Разъезжаются, наспех ладони пожав,
Представители бывших союзных держав...

Скрипнет дерева ветвь, будто скрипнет крыльцо,
И качнется им вслед молодое лицо...

Пляж в Хофштадте

Сволочи со свастикой веселой,
На прибрежной ржущие косе...
Что вам наши выжженные села,
Павшие вдоль Минского шоссе!

Будто бы непуганные волки
Среди сонных кроликов и лам —
Ползают клыкастые наколки
По тугим коричневым телам.

Что же вы, улыбчивые ламы!
Что же ты, забывчивый народ!..
У моей живьем горевшей мамы
Вам узнать бы цену их острот...

Я бреду, склоненный как от ветра,
Вдоль чужих деревьев и морей.
Вот когда я понял километры
Между мной и Родиной моей!

Вот когда, сошедши с электрички,
На посольский вышагнув порог,
Я взглянул — совсем не по привычке —
На объятый пламенем флагшток.

Камешек удачи

Мне, выходит, повезло, как твердят всезнайки,
Что увидел я его среди прочей гальки.
И теперь от всех тревог буду я хранимый —
Ведь со мною будет «бог»,
Будет «бог» куриный!..
Тот, кто шутит, тот живет — шутки принимаю.
Но покоя не дает дырочка сквозная.
Камень, кто тебя пробил, неужели волны!
Камень, кто тебя убил, неужели войны!
Неужели, чтоб богом быть, нужно через кости
Непрерывно пропустить пули или гвозди!..

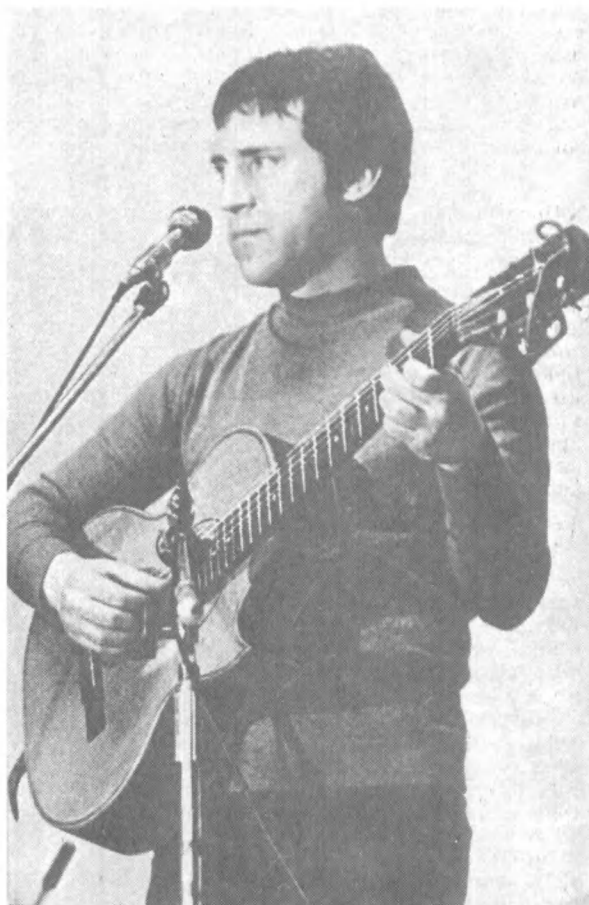
¹ Неизвестный (фр.).

ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ

МОНОЛОГИ

*Публицистика Высоцкого рождалась
«глаза в глаза» со зрителями-слушателями.
Он был всегда открыт и откровенен
с ними. Сегодня мы вспомним
записи концертных выступлений
разных лет, сделанные
в разных городах.
Этих записей масса, и публикуемое
сегодня можно значительно дополнить,
ведь открытие Высоцкого
будет продолжаться...*

Перед микрофоном Владимир Высоцкий
Автор снимка неизвестен



Орошо бы зажечь свет в зрительном зале, чтобы я видел глаза, а то так будет похоже на какое-то банальное действо... Авторская песня — тут уж без обмана, тут будет стоять перед вами весь вечер один человек с гитарой, глаза в глаза... И расчет в авторской песне только на одно — на то, что вас беспокоят точно так же, как и меня, те же проблемы, судьбы человеческие, одни и те же мысли. И точно так же вам, как и мне, рвут душу и скребут по нервам несправедливости и горе людское... Короче говоря, все рассчитано на доверие. Вот что нужно для авторской песни: ваши глаза, уши и мое желание вам что-то рассказать, а ваше желание — услышать.

Авторская песня, видимо, — это настолько живое дело, что вы сразу же становитесь единым организмом с теми, кто сидит в зале. И вот, какой у этого организма пульс, — таким он мне и передается. Все зависит от нас с вами.

Если не будет людей, которым поешь, тогда это будет как у писателя, когда он сжег никому не читанный рассказ или роман... У меня точно так же:

написал — и, конечно, хочется, чтобы вы это услышали. Поэтому, когда говорю «дорогие товарищи» — я говорю искренне. Хотя это уже два затверженных, шаблонно звучащих слова. Все говорят «дорогие товарищи» или «товарищ, дайте прикурить». Это не такие «товарищи». Товарищи — это друзья, близкие, дорогие люди. И вот, когда обращаюсь так, я действительно говорю искренне, потому что дорожу своими слушателями. Вы мне нужны, возможно, даже больше, чем я вам. И если бы не было таких вот аудиторий у меня, я, наверное, бросил бы писать, как это делают многие люди, которые грешат стихами в юности. Я не бросил писать именно из-за вас.

Пишу песни о войне, конечно, не ретроспекции, а ассоциации. Если вы в них вслушаетесь, то увидите, что их сегодня можно петь, что люди из тех времен, ситуации из тех времен, а в общем, и идеи, и проблемы — наши, нынешние. Обращаюсь я в те времена просто потому, что мне интереснее брать людей, которые находятся в самой крайней ситуации: в момент риска, когда в следующую секунду можно заглянуть в лицо смерти; людей, у которых что-то сломалось, надорвалось. Короче говоря, людей на самом краю пропасти, на краю обрыва — шаг влево или шаг вправо — или по какому-то узкому канату идущих.

Вы никогда не обращали внимания, как по телевидению, во всяких кинопанорамах, разоблачают себя артисты, которые для вас были покрыты ореолом какой-то таинственности, недосказанности? Их спрашивают: «Как вы работаете над ролью?» Они отвечают: «Я вот с режиссером вместе, мы вместе подумали.. что этот человек не просто плохой человек, он не может быть просто, он обязательно... в нем есть хорошее... И я стал искать, где он хороший, чтоб потом сказать...» И так далее. Зачем вы спрашиваете, что я думаю об искусстве, каковы его цели? Ну, гуманизм — цель искусства, конечно. И что? Вы же не хотите, чтобы я старался показаться умнее, чем есть на самом деле. Зачем? Все, что думаю об искусстве, и о жизни, и о людях, — все это заключено в моих песнях

Я ее не очень сильно ощущаю, популярность. Дело в том, что когда продолжаешь работать, то нет времени на то, чтобы как-то обращать внимание на эти вещи. Чтобы перестать работать — есть именно этот способ: почить на лаврах и почувствовать популярность свою. Мне кажется, что, пока умею держать в руках карандаш, пока в голове еще что-то вертится, буду продолжать работать. Так что я избавлен от того, чтобы замечать, когда стал популярным. Не помню. В чем причина? Не знаю.

Один ответ возможен: когда пишу, рассчитываю на своих самых близких друзей. И абсолютно доверяю залу.

Собираюсь ли я выпускать книгу стихов? Я-то собираюсь. Сколько прособираюсь? Не знаю. А сколько будут собираться те, от кого это зависит, мне тем более неизвестно.

Знаете, чем становиться просителем и обивать пороги редакций, выслушивать пожелания, как переделывать строчки и так далее, — лучше сидеть и писать. Вот так вот. Вместо того, чтобы становиться неудачником, которому не удается напечататься. Зачем, когда можно писать и петь вам? Это ж то же самое...

А вы не думаете, что магнитофонные записи — это род литературы теперешней? Как знать, может, когда-нибудь будем телепатически передавать друг другу стихи — кому хочу, тому и прочитал...

Какая роль жизненного опыта в художественном творчестве? Это только база. Человек должен быть наделен фантазией, чтобы творить. Он, конечно, творец и в том случае, если чего-то такое там рифмует или пишет, основываясь только на фактах. Реализм такого рода был и есть. Но я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя. Жизненный опыт?.. Но представьте себе, какой был уж такой гигантский жизненный опыт у двадцатипятилетнего Лермонтова? Главное — свое видение мира.

Другой вопрос, можно ли создавать произведения искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью, но не имея жизненного опыта? Можно. Можно, но лучше его иметь.. немножко. Потому что под жизненным опытом, наверное, понимается больше всего то, что она вас била молотком по голове, а если говорить серьезно — страдание. Искусства настоящего без страдания нет. И человек, который не выстрадал — не обязательно, что его притесняли или стреляли в него, мучили, забирали родственников и так далее, — такой человек творить не может. Но если он в душе, даже без внешних воздействий, испытывал это чувство страдания за людей, за близких, вообще за ситуацию, — это уже много значит. Это создает жизненный опыт. А страдать могут даже очень молодые люди. И очень сильно.

Имеют ли смысл пластинки, которые издаются там и не доходят сюда? Они очень даже доходят. Безусловно, они малоинтересны французам, не настолько, правда, как вы думаете. Но для них многое непонятно. Например, почему человек так тратится, даже в маленьком, узком кругу. Я ведь всегда пою одинаково — что в компании, когда два-три человека, что на гигантские аудитории. И они не могут никак понять — почему человек с набухшими жилами поет дома, что это? Что его так беспокоит?.. Не знают они наших проблем. Вернее, они их не волнуют. Особенно они не понимают, зачем песни заниматься этими проблемами.

Вот ты работаешь, сидишь ночью... Кто-то пошепчет тебе... написал строку... вымучиваешь... Потом песня с тобой — иногда она мучает месяца по два. Когда «Охоту на волков» писал — она меня замучила. Мне ночью снился — один припев. Я не знал, что буду писать. Два месяца звучало только: «Идет охота на волков, идет охота...»

И вот если на две чаши весов бросить — на одну чашу все, что делаю помимо песни, — это кино, театр, выступления, радио, телевидение и так далее, а на другую — только работу над песнями, то, думаю, песня перевесит. Потому что она все время с тобой живет, не дает возможности спокойно, так сказать, откинувшись где-нибудь, отдыхать. Она все время тебя гложет, пока ты ее не напишешь...

Однажды в одну компанию пришел весьма известный человек, и люди, которые там были, договорились подсчитать, сколько раз за минуту он произнесет слово «я». За первую минуту по секундомеру оказалось семь раз, за вторую минуту — восемь. Всегда боюсь впасть в крайность и думаю, что рискую говорить «я» вовсе не от «ячества», а, во-первых, потому, что в песнях моих есть много фантазии, много вымысла, а самое главное — во всех этих



вещах есть мой взгляд на мир, на проблемы, на людей, на события, о которых идет речь. Мой и только мой собственный взгляд... И это дает мне право говорить «я». Во-вторых, в отличие от многих моих собратьев, которые пишут стихи, я прежде всего актер и часто играю роли других людей, часто бываю в шкуре другого человека. Возможно, мне просто легче петь из чьего-то образа, поэтому всегда так откровенно и говорю: мне так удобнее петь — от имени определенного человека, определенного характера. И вы всегда можете увидеть этого человека; возможно, это и дает некоторым людям повод спрашивать, не скакал ли я когда-то вместо лошади. Нет, этого не было...

В детской пластинке «Алиса в стране чудес»... есть история попугая, который рассказывает, как он дошел до жизни такой, как он плавал, пиратом был и так далее... Я там за попугая пою сам. Это в принципе снимает многие вопросы: был ли я тем, от имени кого пою? Попугаем я не был — ни в прямом, ни в переносном смысле. Если говорить серьезно, я на самом деле никогда никому не подражал и считаю это занятие праздным... И вообще призываю всех людей, которые тоже пробуют свои силы в сочинительстве: пытайтесь как сами видите, как сами понима-

ете. Интересно и в жизни иметь дело с человеком, который сам личность, со своим мнением и суждением. А не попугай.

Иногда напишешь песню и вдруг видишь, сам ведешь себя... несоответственно. Вот, например, после того, как я написал «Балладу о переселении душ», стал приглядываться к собакам. Думаю: а вдруг это какой-нибудь бродячий музыкант раньше был? Или там кошек каких-нибудь видишь, думаешь, что это какие-нибудь дамы раньше были... определенные. И уже с ними ведешь себя по-другому.

Наши спортивные комментаторы иногда такие словосочетания употребляют — ну, невозможные в данной ситуации. Например: «Вот еще одну шайбу забросили наши чехословацкие друзья!» Я всегда думаю: «Ну почему друзья? Если забили шайбу нам — они соперники и противники, а друзья они «до того» и «после того». Вот что со словами бывает... Однажды один режиссер в Узбекистане работал с цы-

Володя Высоцкий в украинском городе Гайсине. Снимок 1950 года. Из архива Семёна Владимировича Высоцкого

ганским ансамблем и все говорил: «Товарищи цыгане, станьте сюда; товарищи цыгане, станьте туда...» А они ему: «Сейчас, товарищ узбек». И сразу все стало на место.

Люди обычно любят смешные истории про кино. У меня тоже есть смешные истории, например, про то, как меня били в фильме «713-й просит посадку», как режиссер просил делать все по-настоящему, а у оператора не ладилось, и сняли девять дублей... Но это все лирика... Конечно, и в каждой шуточной песне обязательно есть какая-то серьезная прокладка. Иначе нет смысла писать. Иначе не потянется рука к перу, а перо к бумаге. Сейчас реакция непосредственная, сиюминутная, больше на шутки, на юмор. А в записках больше всего просят серьезные вещи, потому что, видимо, они оседают глубже и потом снова начинают возвращаться к вам обратно.

Не удалось написать о космонавтах*, хотя меня очень просили, потому что это такая трагедия была всенародная, что надо внутренне хотя бы немножко приблизиться к такому подвигу: это же высокое, люди знали, на что шли... То, что слышу сейчас, — «он сказал: «Поехали!»...» — это все понятно. Он так действительно сказал. Но зачем же рифмовать то, что было? Нужно найти какой-то философский смысл этих вещей. А так — на заказ — не получается.

Очень уважаю все, что сделал Шукшин. Знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил, и мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов. Зато на всю жизнь останусь их самым постоянным зрителем. В данном случае это значит для меня больше, чем быть участником и исполнителем.

Я написал большие стихи по поводу Василия, которые должны были быть напечатаны в «Авроре». Но опять они мне предложили оставить меньше, чем я написал, и я отказался печатать не полностью. Считаю, что ее хорошо читать глазами, эту балладу. Ее жалко петь, жалко... Я с ним очень дружил, и как-то... я спел раз, а потом подумал, что, наверное, больше не надо.

Между эстрадной и авторской песней, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что эстрадная песня предполагает большой оркестр, зрелище. Все время там мигает большой свет. И если эту часть убрать из эстрадной песни — зрелищную часть, — она очень много потеряет. Обратите внимание: никому в голову не придет взять, положим, магнитофон и прийти на эстрадный концерт, записать, что поют, например, Кобзон или Магомаев, которых я уважаю. Просто, когда приносишь магнитофон домой, зрелище уходит, и песня многое теряет. Это происходит потому, что часто очень мало уделяют внимания словам эстрадные авторы. С текстами мало кто работает. Считается, что это, мол, и ни к чему даже... И иногда поют такую чушь! Я думаю, даже не понимают, чего поют. Что вижу — то пою. Знаете, как: «А вон ворона лети-й-и-т, А вон ворона лети-й-и-т. Сейчас будет дождь...» Как акыны. Но они раньше сочиняли. Только среди акынов был такой господин, который звался Гомер. Он прилично писал. Так что для этого тоже талант нужен. А чаще бывает, как в некоторых — я не могу сказать любимых — песнях, которые навязли в ушах. Ну, например, «Яблони в цвету — какое чудо...» — помните? Но так можно ведь

все что угодно, в строку: «Тополі в пуху — ка-ко-е чу-у-до!» Что угодно...

У меня однажды был смешной случай, в Ленинграде. Мы спорили с одним товарищем. Он говорит: а что, слабо тебе выйти и спеть все песни — эстрадные? Я начал с песни «На тебе сошелся клином белый свет». Очень любопытная песня, верно? Там эта строчка три раза повторяется, потом «я могла бы побежать за поворот» — тоже три раза. Два автора текста. Оказывается, такая богатая информация, что едва хватило бы и четверых... В общем, минут через двадцать меня зрители чуть не убили.

Атмосфера в горах, особенно среди альпинистов, совсем другая, чем на равнине. Существует какая-то свобода выбора пути — как идти? Свобода выбора людей, с которыми идти. Понимаете? Никто не останавливает, милиция не скажет: «Здесь нельзя переходить — красный свет», — врач не запретит, семья не будет удерживать, что опасно, и так далее. Все зависит от тебя. Ты, природа и твои друзья — больше никого нет. Слово «дружба» там, в горах, сохранилось в первоначальном смысле. Наверное, в других местах тоже, но в горах — особенно. Это не название кафе, или клуба, или стенгазеты. Здесь это слово действительно то, что и должно из себя представлять. Иначе невозможно. Ты с ним в одной связке идешь, и все у него зависит от тебя, а у тебя — от него.

Я присутствовал при одном случае, когда во время восхождения на пик «Вольная Испания» группа команды ЦСКА из пяти человек попала под камнепад и одного убило насмерть... Мы помогли спуститься оставшейся группе. Трое суток, пока была непогода и не мог подлететь вертолет, двое товарищей погибшего стояли на карнизе в тридцать сантиметров, привязанные к скале, чтобы помочь спустить тело погибшего друга. И это не подвиг никакой, нет — это нормальная манера поведения в горах.

Дружба — это не значит каждый день друг другу звонить, здороваться и занимать рубли... Это просто желание узнавать друг о друге, что-то слышать и довольствоваться хотя бы тем, что вот мой друг здоров, и пускай еще здравствует.

Недостатков, которых в людях не прощаю, много. Не хочу перечислять. Но: жадность, отсутствие позиций,* которое ведет за собой очень много других пороков, отсутствие у человека твердых позиций, когда он не знает сам даже не только чего не хочет в этой жизни, а когда не имеет своего мнения и не может рассудить о людях, о смысле жизни, да о чем угодно.

В мужчинах ценю сочетание доброты, силы и ума, скажем так. Когда подписываю фотографии пацанам, ребятам и еще подросткам, даже детям, обязательно пишу им: «Вырасти сильным, умным и добрым». Вот такое сочетание.

Я бы хотел, чтобы зрители... понимали, как труден и драматичен путь к гармонии в человеческих отношениях. Я вообще целью своего творчества — и в кино, и в театре, и в песне — ставлю человеческое волнение. Только оно может помочь духовному совершенствованию.

Публикацию подготовил
Игорь ДЬЯКОВ.

* Добровольский. Волков. Пацаев

...НАС ТАК И ЗВАЛИ: «СОКОЛЯТА»



Село Чугуевка Приморского края.
Литературный музей А. А. Фадеева — этот адрес
уже хорошо известен нашим читателям.

Около пяти лет «Юность» шефствует
над музеем писателя.

А. А. Фадеев в интервью
корреспонденту «Известий» в 1935 году
так объяснил свою любовь и приверженность
к Дальнему Востоку: «Дальневосточный край —
почти моя родина. Здесь находится село,
в котором я вырос, здесь я прошел школу
партизанской войны, вступил в партию,
оформился как большевик.

Здесь живые люди — герои моего романа,
колхозники, партизаны, которые мне известны,
судьбу которых я могу проследить».

Музей в Чугуевке начинался с созданного
руками ребят уголка памяти писателя, они же
восстановили и старый, ветхий домик,
бывший на месте фельдшерского пункта.
Именно в этом небольшом музее площадью
35 квадратных метров и начала свою работу
Надежда Ивановна Алексахина. Постепенно,
буквально по крохам собирая все, что было
связано с юношескими годами Фадеева, обращаясь
в различные архивы страны, часто натываясь
на препятствия и бюрократизм, она создала
интересный музей, и далекое таежное село
стало своеобразным центром культурной
жизни на Дальнем Востоке.

Сейчас музей — это трехэтажное
кирпичное здание в 747 квадратных метров
с богатыми фондами и экспозицией
по последнему слову музейной науки.

В шестом номере «Юности» за этот год
мы писали о том, что музей попал
под проходящую в стране централизацию
и объединение небольших музеев
на базе одного — головного.

К сожалению, объединить музей оказалось
значительно легче, чем решить те трудности,
которые при этом возникли.

В результате единственный
в Советском Союзе литературный музей
А. А. Фадеева оказался филиалом
краеведческого музея имени Арсеньева
в г. Владивостоке. Этот музей занимается
только этнографическими проблемами
и не в состоянии оказать,
как предполагалось, методическую и научную
помощь литературному музею, к тому же
находится в 600 километрах от Чугуевки.
Недавно в Приморье наши корреспонденты
Анна Пугач и Михаил Хромаков встретились
с руководителями райкома, крайкома партии,
краевого управления культуры,
вручили музею новые книги — библиотечку
авторов «Юности».

Сейчас вопрос о дальнейшей судьбе музея
решается в Министерстве культуры РСФСР.

Надеемся, что чугуевский музей
вновь обретет свою самостоятельность.

А пока принято постановление
Приморского крайисполкома о создании
мемориального комплекса Фадеева
на Дальнем Востоке: будут восстановлены места,
непосредственно связанные с жизнью
и партизанской деятельностью писателя.

К 85-летию Александра Фадеева
мы предлагаем вниманию читателей рассказ
директора музея Н. И. Алексахина
о тех находках, которые недавно
пополнили экспозицию музея.

1958 году в журнале «Юность» были
опубликованы письма Александра Алек-
сандровича Фадеева к другу юности
Александр Филлиповне Колесниковой.
Позднее они вошли в сборник «Повесть
нашей юности».

«Вы знаете, как я любил этого чело-
века, как много он для меня значил,—
писал Б. Н. Полевой С. Н. Преображен-
скому, составителю сборника.— С первых же дней
знакомства я уважал его не только как писателя,
но и как большевика. Считал его другом и полагал,
что хорошо его знаю. И действительно, знал — из
многочисленных и долгих бесед — разные стороны
его биографии.

Но вот вдруг открывается какой-то новый Фадеев,
открывается какой-то новый уголок его души, куда
он никого, меня, во всяком случае, не пускал. И
вдруг знакомый, прочно сложившийся образ ожив-
ляет уже в каком-то новом качестве. Вероятно, эта
та самая «точка», которую так страстно ищут худ-
ожники, заканчивая портрет, и которая так трудно
дается...

И какой чудесный пример это для нашей молоде-
жи, которая любила и любит его...»

В письмах к А. Ф. Колесниковой Александр Фа-
деев вновь вспоминал все, что было связано с дет-
скими и юношескими годами, прожитыми на Даль-
нем Востоке. Где бы ни был и чем бы ни занимался
писатель, была у него всегда неизменной любовь к
Дальнему Востоку. И чем дальше отдалялись годы
юности, проведенные в Приморье, тем острее он
ощущал потребность сказать кому-то: «А пом-
нишь?..»

В одном из писем Фадеев сам объяснял причину
остроты такого чувства: «Мне так безумно хочется
в Приморье!.. Чем старше я становлюсь, тем чаще
мысль моя бродит по детству, по юности. Но не для
того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы
отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы
еще лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть
из прошлого — молодости, веры, бодрых сил и чи-
стоты душевной».

То было трудное, но необыкновенное время, кото-
рое и людей делало необыкновенными.

«...Вот мы все разъехались на лето, а когда вновь
съехались осенью 18-го года, уже совершился бе-
лый переворот, шла уже кровавая битва, в которую
был втянут весь народ, мир раскололся, перед каж-
дым юношей... жизненно... вставал вопрос: «В каком
сражаться стане?» Молодые люди, которых сама
жизнь непосредственно подвела к революции — та-
кими были мы,— не искали друг друга, а сразу уз-
навали друг друга по голосу...

В большевистском подполье Владивостока мы бы-
ли самыми молодыми, нас так и звали: «соколята».

Петя Нерезов, Гриша Билименко, Саня Бородин,
Саша Фадеев — это их звали «соколятами». Они
учились в одном классе, увлекались спортом, дру-
жили.

В музее А. А. Фадеева имеется копия записной
книжки классного наставника V класса Владиво-
стокского коммерческого училища Пашковского Сте-
пана Гавриловича:

«Класс живой, разнохарактерный...

Склонность к литературе проявляется у Фадеева,
Гартмана, Бородинкина...

...По успеваемости класс не претендует на I ме-
сто, но он выделяется из числа других моих классов
IV и VI очень многим:

Во-первых, он демократичен по составу... Он интернационален по составу...

Нерезов — физически крепкий, коренастый, с румянцем во всю щеку..., с резкими движениями, пишет довольно несладкие сочинения, но способности к точным наукам несомненные.

Фадеев — хрупкая фигурка не сложившегося еще мальчика. Рядом с Цоем, Ивановым и Нерезовым это хрупкий хрустальный сосуд. Бледный, со светлыми льняными волосиками, этот мальчик трогательно нежен. Он живет какой-то внутренней жизнью. Жадно и внимательно слушает каждое слово преподавателя. Временами какая-то тень-складка ложится между бровями и личико делается суровым. Впереди его сидят на парте Нерезов и Бородин. Этот последний, склонный пошалить, делает гримасы Фадееву, стараясь рассмешить, но мальчик с укором бросает на него взгляд и сдвигает между бровями морщинку. Черная курточка с стоячим воротничком и «меркуриями» не совсем хорошо сидит на мальчике: она сшита не у портного (очевидно домашнего производства). Однако мальчик не смущается тем, что одет беднее других: он держится гордо и независимо.

В 1915-ом году, когда делались эти записи, ребятам было 14—15 лет — возраст, когда приходит первое увлечение танцами, вечерами, девушками. В дружеском кругу «соколят» появились девушки — Лия Ланковская, Ася Колесникова, Нина Сухорукова.

Чаще всего встречи происходили в двухэтажном небольшом домике доктора Ланковского на набережной, где жили Лия и Ася. После долгих упрасиваний Ася начинала петь, а Лия аккомпанировала. Встав около цветов, которых в доме Ланковских всегда было много, Саша читал стихи. С балкона домика был прекрасный вид на Амурский залив. Днем по заливу сновали многочисленные лодки, «шампуньки», яхты. А вечерами с балкона девушки рисовали закаты.

На столике в гостиной, где обычно собирались ребята, лежал Лиин небольшой альбом. В него записывались любимые стихи, пожелания. На одной из страниц альбома оставил свой автограф и Саша Фадеев. Он изобразил деревенский домик в таежном селе Чугуевке, где жили его родители и куда каждое лето он уезжал отдыхать. Уникальным остается для нас этот карандашный набросок юного Фадеева. Он с детства хорошо рисовал. Рисовал в альбомах и на открытках, посылаемых из Владивостока матери, рисовал на больших листах плакаты уже в революционные годы и развешивал их на домах в Чугуевке. В семье так и считали, что мальчик станет художником. Тем не менее рисунков того времени не сохранилось, кроме изображения пасхального стола на одной из открыток, хранящейся сейчас в ЦГАЛИ СССР, и изображения этого домика. Рисунок долго странствовал по границе вместе с Лией Ланковской, затем был передан А. Ф. Колесниковой и теперь, с апреля этого года, отдан на постоянное хранение музею А. А. Фадеева.

Александра Филипповна передала в музей и собственные рисунки, хранившиеся с тех незапамятных времен. На них запечатлен и домик В. Н. Ланковского на набережной Владивостока и виды на Амурский залив то с багряными закатами, то с белыми туманами. Тихие воды маленькой речушки Седанки с растущими по берегам ирисами, узенький мостик, у которого ребята любили купаться. На этих рисунках запечатлены места, связанные с юностью Александра Фадеева и его боевых друзей.

Какова же дальнейшая судьба «соколят»?

Сам Александр Фадеев писал о том, что весной 1919-го года все «соколята», одни раньше, другие позже, ушли в партизаны. После агитационной работы в разных районах они вновь встретились летом того же года в Сучанском партизанском отряде. Это были смелые, отчаянные ребята, и если бы не хладнокровие и спокойная рассудительность Петра Нерезова, они наверняка погибли бы в первом же бою. Осенью пути «соколят» разошлись: Саша остался в Сучанском районе, а Петю, Гришу и Саню отправили в Анучино, где шли кровопролитные бои партизан с белогвардейцами и интервентами.

Через много лет Фадеев вспоминал о своих друзьях:

«Я на всю жизнь благодарен судьбе, что у меня в боевые годы оказалось трое таких друзей! Мы так беззаветно любили друг друга, готовы были отдать свою жизнь за всех и за каждого! Мы так старались друг перед другом не уронить себя и так заботились о сохранении чести друг друга, что сами не замечали, как постепенно воспитывали друг в друге мужество, смелость, волю и росли политически».

Тяжелыми были годы борьбы за установление Советской власти на Дальнем Востоке. Партии требовались стойкие, сознательные, глубоко преданные делу революции коммунисты. «Соколята» в 19—20 лет уже обладали этими качествами. Именно поэтому их направляли на самые трудные участки. Жили и работали они под вымышленными фамилиями: Александр Фадеев — Булыга; Григорий Билименко — Проноза, Георгий Судаков; Петр Нерезов — Иван Семенов; Александр Бородин — Семен Седойкин.

В январе 1920 года на Дальнем Востоке восстанавливается Советская власть. «Соколята» в центре всех событий. Гришу Билименко выбирают в г. Николаевске товарищем председателя Союза Социалистической Молодежи, а Петя Нерезов и Саня Бородин участвуют в культурно-просветительном кружке Союза Молодежи, кроме этого, оба являются членами агитационно-информационного отдела штаба Красной Армии Николаевского округа. В марте Нерезова и Бородина направляют на Сахалин, где они участвуют в работе I съезда трудящихся Сахалинской области, а Саню избирают членом Сахалинского областного комитета РКП(б). После выполнения задания они вновь возвращаются в Николаевск-на-Амуре.

О том, как и чем жили трое «соколят», может поведать небольшая записная книжка, недавно переданная в музей. На первой ее странице выведена запись: «Апрель 1920 г. Усиленная работа в Союзе Социалистической Молодежи. Газета «Трибуна молодежи»... Судаков-Билименко».

Это небольшая по формату книжка, начатая Гришей Билименко 17 апреля, хорошо характеризует настроение и деятельность «соколят» в Николаевске и Благовещенске в 1920-ом году. Записи в ней в основном вели Гриша и Петя, но нерегулярно, от случая к случаю — день каждого был загружен работой до предела. В книжке много высказываний О. Уайльда, вопросов, по которым ребята готовились к митингам, и цитат, которые они использовали в своих выступлениях.

«Если лучи солнца будут ласкать лишь взор буржуазии, мы потушим солнце», — записывает Гриша и дальше через пустую страничку:

«24 апреля 1920 г. Реферат. Митинг. Текущий момент».

«Только в добровольной ассоциации человек свободен».

Оскар Уайльд».



А. Фадеев — студент коммерческого училища Владивосток, 1917—1918 гг



Домик в Чугуевке Рисунок А Фадеева из альбома Л Ланковской

А рядом запись карандашом сделана Петей, хотя и позже, спустя 2 месяца:

«28 июля — опять комендант».

Если Гриша в основном занимался комсомольской работой, то Петра назначали на самые разные ответственные должности. С 18 мая по 28 июня он уполномоченный особой экспедиции по эвакуации грузов из Николаевска в Благовещенск, а с 29 июня по сентябрь — комендант Нарского.

В эти дни Нерезов записывает:

29 июня, вторник, в 5 часов утра выехал... В 2 часа приехал на Нарский. Комендант.

Ровно через месяц, 29 июля, он, комендант, так описывает свой костюм: «Чужая нижняя рубашка, верхней нет. Чужие штаны, кальсон нет».

А в это время через руки Нерезова ежедневно шли сотни тонн самых разных грузов.

Сам из рабочей среды, до 1917 года Петр не имел понятия ни о каких политических партиях, но потом весь отдался делу революции. В анкете члена РКП(б) он отвечает на вопросы:

1. Имущественное положение? — Гол как сокол.

2. Ваше отношение к белым? — Самое непримиримое.

3. В чем выражается партийная дисциплина? — В глубоком осознании и ответственности во всех проявлениях совершающегося.

С 1 декабря 1920 года он — секретарь Забурхановского райкома РКП(б).

На одной из страниц этого дневника Нерезовым записаны лишь три фамилии: «Лазо. Сибирцев. Луцкий». Видимо, запись была сделана, когда в Николаевске получили известие об аресте этих мужественных людей.

В этот же период Саня Бородин — активный член Военно-революционного штаба Амгуно-Кербицкого уезда.

Саня, Петя и Гриша старались быть вместе. И хотя по роду своих занятий им приходилось расставаться на некоторое время, всегда с нетерпением ожидали встречи друг с другом. Их объединяла работа в активе Союза Молодежи.

В октябре 1920 года почти все одновременно они переехали в Благовещенск. Жили по одному адресу: улица Соборная, 77. Здесь их и встретил Александр Фадеев, подаривший на память свою фотографию с автографом.

Позже Фадеева назначают на комсомольскую работу: организовывать комсомольские ячейки вдоль линии железной дороги. Но разве мог он после уча-

стия в стольких боях, имевший ранение, перейти на более спокойную работу?.. Он «удрал» на фронт, но не попал в бригаду Петрова-Тетерина, как мечтал, — там воевал брат Игорь Сибирцев. Фадеева направили на Забайкальский фронт на должность военного комиссара полка. К этому времени Фадееву исполнилось 19 лет.

Из списка военкомов и политработников 3-й Амурской Стрелковой дивизии:

Фамилия, имя, отчество: Булыга Александр Александрович.

Занимаемая должность: военком полка.

Когда назначен: с 30 ноября 1920 г., коммунист.

Краткая характеристика: хороший, великолеппый.

Такая высокая оценка дана только двум из 17 военкомов.

В последние дни встречи «соколят» в Благовещенске в записной книжке появилась и последняя запись, сделанная так же, как и первая, Гришей Билименко:

«Ушли все. Остался один и стал рыться в старых книгах. Попалась книжонка, говорящая о многом. Промчалось все с головокружительной быстротой. Промчалось в мыслях и невыразимо грустно сделалось. Сделалось потому, что вернется ли то время, которое мы пережили в Николаевске, будет ли оно. Общая дружная и совместная работа. Радость душевная каждого в отдельности. 29 октября 1920 г. Гриша».

В декабре 1921 года Дальневосточная республика переживала трудное время. Белые снова рвались к Хабаровску. Подступы к городу прикрывали части Народно-Революционной армии, сформированные в Благовещенске и Хабаровске. В одну из частей амурских воинов входил комиссар Александр Бородин. Под Казакевичево в бою он был ранен, а затем замучен и заколот белыми.

Так погиб Саня Бородин — Семен Седойкин, Сеня. Когда оставшиеся в живых «соколята» встретились в 1922 году в Москве, их было уже трое.

Фадеев к этому времени в отставке в связи со вторым ранением, делегат X съезда РКП(б), студент Горной академии. Жизнь его наполнена лекциями, партийной работой в академии и в Замоскворецком районе столицы, новыми знакомствами. Но мыслями он постоянно связан с Приморьем, тяжело переживает смерть Сани Бородина и Игоря Сибирцева. В нем живет страстное желание рассказать о том, как приходилось бороться за Советы в родном, но таком далеком крае, как простой народ сознанием своим

дошел до мысли о необходимости борьбы, о том, как погибали его товарищи.

В 1922 и 1923 годах он пишет повесть «Разлив» и рассказ «Против течения», посвященный памяти Игоря Сибирцева, начинает работать над повестью «Смерть Ченьювая».

В 1922 году на XI съезд партии приезжает делегатом Петр Нерезов, а на учебу в Москву Григорий Билименко, он так и остался под именем Георгий Судаков. После съезда Нерезов поступает на рабфак, а затем в Московский электромеханический институт им. М. В. Ломоносова, где учится Билименко-Судаков. В феврале 1924 года в этот же институт переводится и Александр Фадеев, но друзья недолго вместе — в марте Фадеев по ленинскому призыву уезжает на партвоспитательную работу в Краснодар.

В 1931 Нерезов был избран первым секретарем райкома партии в Тарусе. И сейчас в Тарусском районе живы люди, которые помнят, как он увлеченно и самозабвенно работал. Его именем названа улица в Тарусе.

Георгий Судаков (Гриша Билименко) в 1929 году окончил институт с отличием и был назначен директором вновь организуемого Московского авиационного института (МАИ). Но административная работа Г. Судакова не удовлетворяла. После настойчивых просьб его направили на Московский авиационный завод. Способный, грамотный инженер быстро продвигался по работе: от мастера участка он вырос до начальника производства всего завода, избирался членом парткома завода.

31 декабря 1936 года за успешную работу по внедрению в серийное производство авиационных моторов советских конструкций Георгий Судаков был награжден орденом Красного Знамени.

Изредка трое бывших «соколят» встречались, им всегда было что вспомнить. Встречи эти особенно участились после переезда в 1926 году Фадеева в Москву и продолжались вплоть до 1937 года, когда погибли Петр и Гриша. Некому стало сказать: «А помнишь?..» Но Фадеев всегда помнил.

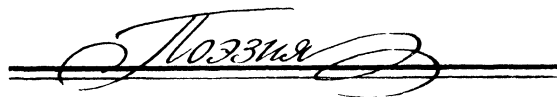
В романе «Последний из удэге» в образе Петра Суркова он воссоздал образ одного из любимых друзей — Петра Нерезова.

Из всех друзей юности в живых осталась только Ася Колесникова, переписка с ней в последние годы жизни Фадеева была необходима писателю как воспоминание о своей прекрасной, героической молодости.

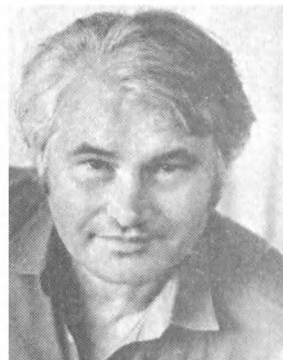
Сейчас, спустя столько лет, в Государственный литературно-мемориальный музей А. А. Фадеева приходят письма, на конвертах которых стоят фамилии: Фадеев, Нерезов, Билименко. Нам пишут жены Петра Нерезова — Вера Сергеевна Левина и Григория Билименко — Вера Михайловна Турова, их дети (не разысканы только родственники погибшего в 1921 г. Александра Бородинкина — Семена Седойкина). И кажется, что история «соколят» не закончена, она продолжается в делах их детей и внуков.

Надежда АЛЕКСАХИНА,
директор музея А. А. Фадеева

с Чугуевка, Приморский край



АЛЬБЕРТ КРАВЦОВ



☆☆☆

Не уловить всего, что видит глаз,
бессильно здесь мое воображенье.
Лишь чувствую в душе как будто жженье —
не до метафор, не до пышных фраз!
В природе все значения полно,
когда природа — та же мастерская,
и некто, в солнце кисточки макая
в лазурь и охру, пишет полотно.
Мне жалко слов ненайденных своих!
Брусничкой пахнут красные закаты,
звучат в траве последние цикады
на солнцепеке, там, где ветер стих.
А все вокруг значения полно,
для наших с вами чувств неповторимо.
Природа — словно женщина без грима,
прекрасная, любимая давно.

Поступь снега

Здесь снег прошел — и никаких следов.
Здесь снег идет, следов не оставляя,
следы разлук и встреч собой скрывая,
сам из разлук и встреч, бессонник, снов.
Как хорошо по снегу — босиком,
в ладони взять и, кожу растирая,
возвысить дух от ада и до рая,
потом скатать из снега круглый ком.
Второй и третий, чтобы снеговик
стоял с морковью носа, с угольками
глаз удивленных, чтоб вздымал руками
метлу, едва удерживая крик.
Чтоб чистая звенела в проводах
мелодия метели, снегопада.
Чтоб сердце человеке было радо
и утверждалось в собственных правах
на счастье, на любовь, на право жить
без страха, без насилия, без неволи,
без вечного предчувствия той боли,
что рвется, как мифическая нить...

АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ

«И ЭТА МУКА СОВЕСТИ...»

Государство — это мы

М

ы идем и идем к социализму. Мы наступаем и отступаем, берем и отдаем, но идем.

Вся наша сила в нашей способности организовать бесформенное, в нашей железной воле к победе, в нашем сознании, что не победить мы не можем. Не победить — это смерть!

Мы рыцари жизни, мы дети грязной безумной земли. Но мы хотим и мы сможем довести ее от низа до неба.

Мужество — самая основная черта характера пролетариата. Мужество же есть воля, а воля рождает знание и любовь к миру. Воля покоряет природу и выводит ее из оцепенения к высшей активности, к напряженному биению всех окаменевших сил.

Что было год-два назад и что есть теперь! Теперь стала видней нам дорога. Теперь мы чаще создаем наши ближайшие задачи. Эти задачи — истребление русских и международных белогвардейцев и дальнейшее развитие социалистической системы внутри страны. Первую задачу мы выполняем хорошо; военная мощь Р. С. Ф. С. Р. — лучшая агитация среди буржуазии за мир с нами.



На фото А. Платонов 1923 г.

Андрею Платонову не было еще и двадцати лет, когда в начале 1919 года редакция «Железного пути» — журнала воронежских железнодорожников, поручила ему написать обращение к начинающим пролетарским поэтам и писателям с теоретическим обоснованием задач пролетарской литературы и призывом к объединению молодых творческих сил вокруг журнала. Интересно, что столь важное редакционное задание было поручено в полном смысле слова начинающему писателю и поэту Андрею Платонову, у которого к тому времени было опубликовано лишь четыре стихотворения и один весьма несовершенный в художественном отношении рассказ. Однако огромные потенциальные возможности, обаяние личности, глубина и оригинальность мышления этого рабочего паренька предопределили выбор редакции.

Публицистический дебют А. Платонова оказался удачен, и уже летом 1919 года губернская газета «Известия Воронежского укрепрайона» командировала его в качестве специального корреспондента в прифронтовой Новохоперск. Показателен сам факт, что журналистскую деятельность выдающийся советский писатель начал в качестве фронтового корреспондента в один из самых трудных периодов истории нашей страны.

В начале сентября 1919 г. банды Мамонтова и Шкуро подошли к Воронежу. В городе и его окрестностях сложилась напряженнейшая обстановка. «Известия Воронежского укрепрайона» набирались и распространялись под грохот артиллерийской канонады. Через три с небольшим года очевидец и участник событий журналист Бобыль, описывая это время в газете «Воронежская коммуна», вспомнит и об А. Платонове: «Рабочий Андрей Платонов, обращаясь к Красному Воронежу в дни его осады, пишет:

Вторая задача зависит от первой. А заключается она в увеличении, в подъеме гражданской организации и приближении к полному осуществлению социалистического идеала. Мы, например, должны добиться усовершенствования советской системы через введение в программу трудовой школы общеобразовательного предмета обучения гражданскому управлению и элемент общественных знаний, тогда мы всех людей поставим через несколько лет на один уровень знаний, необходимых для участия во власти; и дело государства станет делом каждого, и общественная человеческая спайка станет реальной вещью.

Управление государством станет обязанностью каждого, общей повинностью.

Государство — это мы. Такую простую истину надо осуществить в действии.

«Воронежская коммуна». № 251 7 ноября 1920 г.

К начинающим пролетарским поэтам и писателям

Пламя революции начинает перекидываться из сфер политической борьбы в область художественного творчества, искусства. И здесь, в этой области, начинает свершаться то, что уже свершилось там, в политической и экономической жизни народа.

«Единым коллективным сердцем чутким содрогаясь, весь в тревоге напряженной город в муке ожидания веру сковывает сталью много видевших штыков... Только с сталью вместо сердца, с мудрым мужеством сознания и восторгом вдохновения мы победу, славу гордо в лагерь красных приведем...»

К сожалению, этот номер газеты с платоновским стихотворением, имеющим следы влияния «Буревестника» М. Горького, пока не найден. Текст сохранился лишь в таком, процитированном виде, но и он дает нам возможность представить образ юного журналиста и поэта, до последних дней белогвардейской осады сражающегося с врагом революционным словом.

Публицистическая деятельность А. Платонова широко развернулась в следующем году, когда он работал в редакциях газет «Красная деревня» и «Воронежская коммуна».

Удалось обнаружить около 80 различных публикаций писателя, напечатанных в воронежских газетах и журналах за 1920 год. Один из его современников вспоминал: «Андрей Платонов был в то время заправским газетчиком... живо откликался на все злободневные... политические события».

Но А. Платонов был не только «заправским газетчиком». Он был публицистом со своей системой философских, социально-нравственных взглядов, со своим, ни на кого не похожим, стилем и публицистическим методом. Предлагаемые читателям «Юности» статьи писателя 1919—1920 годов отчасти дают представление об этом.

Уже в статье «К начинающим пролетарским поэтам и писателям» заложено зерно платоновской концепции человека в мире, обществе и природе. Он говорил, что стремление к красоте, истине, труду, развивающее «чувство нравственности», это природные законы, характерные именно для человека.

Грабеж, насилие, голод, убийство миллионов, золотой бог — все свержено мощью выросшей мысли, и начинается творчество жизни, братства, труда, нравственности на новых, честных, разумных, человеческих началах...

Это в общественной жизни людей.

В искусстве революция только разгорается. Пошлость, глупость, мертвые формы, а — главное — утрата того, что составляет сущность всякого искусства — творческого выявления идеи прекрасного, присущего всем людям, — сколотили гроб буржуазному искусству, которое на самом деле давно перестало быть искусством, сохраняя только имя его.

Пролетариат, сжигая на костре революции труп буржуазии, сжигает и её мертвое искусство.

Мы переживаем великую эпоху возрождения духа человеческого во всех его проявлениях. Искусство богатых, оглупевших от лени и роскоши людей, эту утеху извращенных страстей, пособницу и оправдание ресторанов и биржевых оргий, пролетариат — этот носитель всего вечного в человечестве — убил, испепелил в огне первой формы своего творчества — революции. Необходимо было смести с земли все чудовищное, злое и гадкое, чтобы освободить место для строительства прекрасного и доброго — и пролетариат сделал это.

И только теперь начинается созидание, воплощение на нашей планете великой человеческой мечты.

Человек в истинном смысле слова, т. е. человек, живущий в согласии со своими природными законами (стремление к истине, красоте, труду, радости, развивающее чувство нравственности...), и человек, ис-

Новое, пролетарское общество невозможно без пролетарской нравственности, основанной прежде всего на уважении к человеку, к его достоинству, преклонении перед Матерью, Женщиной, которую А. Платонов называл «Душой мира». Статья с этим названием была сопровождена характерным редакционным послесловием: «Несмотря на трудности усвоения мысли (не слога, а мысли, ибо слог прост) товарища Платонова и некоторую сложность его взглядов на роль женщины в будущем и революции, — редакция находит возможным дать данной статье рабочего Платонова место на страницах крестьянской газеты, ибо крестьянину, смотрящему на женщину как на доходную статью своего хозяйства, статья эта будет поучительна».

Разумеется, не все платоновские публицистические идеи выдержали проверку временем. Оказался несостоятельным, например, прогноз расцвета в социалистическом обществе коллективного литературного творчества, не родились «мифы о грядущих машинах» и т. д. Но если отказаться от легкого и малопродуктивного поиска противоречий и не подтвержденных пророчеств ранней публицистики А. Платонова, а лишь войти в ее цельный и чистый, «прекрасный и яростный» мир, то можно увидеть, что его статьи близки нам прежде всего атмосферой колоссальных общественных перемен, чувством реальности и осуществимости социального прогресса. «Что было год-два назад и что есть теперь! Теперь мы чаще сознаем наши ближайшие задачи» (Разрядка наша. — В. В.). Это главная мысль платоновской публицистики — осознание каждым человеком важнейших социальных задач и горячее стремление к совершенству человека и человечества.

В. ВЕРИН

казивший, уничтоживший в своем существе эти законы, — столкнулись в смертной схватке

В конце концов первый человек, человек трудящийся, носящий в себе все действительное, жизненное, но поработенный, пролетарий, должен, необходимо должен уничтожить врага своего, врага жизни, разрушителя и расхитителя — буржуазию, чтоб дышать можно было...

Возрождая всю жизнь, трудовой класс возрождает и искусство, как самое дивное, самое красивое, самое могущественное проявление растущей жизни.

ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО отражает в себе все человечество в его лучших устремлениях и создается оно также всем человечеством, всем гармоничным организованным коллективом. Низкое, пошлое, злое, мелкое, враждебное жизни не будут иметь места в пролетарском, общечеловеческом искусстве. Это будет музыка всего космоса, стихия, не знающая граней и преград, факел, прожигающий недра тайн огненный меч борьбы человечества с мраком и встречными слепыми силами.

В долгом, теперь прожитом, буржуазном периоде существования человеческое сознание переросло телесные личные силы; человек убедился в бессилии собственного «я», его сердце, его ум выросли из эгоистического, животного, темного тела. Человеку стало мало пары глаз, пары рук, одного сердца — он захотел схватить, понять, подчинить мир во всей его бесконечности, во всем переливчатом разнообразии и многокрасочности... Станки и мастерские научили человека вливать свои одинокие силы в мощный поток организованных усилий. <.. >

Вместо жалкой телесной личности, которую любая большая собака могла отправить в «лоно Авраама», вырастает личность великая, духовная, общественная, видящая в другом человеке самого же себя и любящая поэтому каждого человека как себя самого.

Творчество, художественное творчество, в древнейшее время чудной юности человечества было плодом художника без имени — всего народа, племени, рода, семьи. У костра, отдыхая после еды, когда не было нужды в пище, когда наступал перерыв в течении междоусобной вражды, — группы первобытных людей отдавались бессознательному творчеству прекрасного. Солнце, буря, звезды, леса в молчании, пустыни равнины, шум весенних потоков... отражались в непосредственной искренней натуре того человека в стихийных, бессознательных чувствах, и эти чувства он выливал в песни, в бречанье зажатой в зубы и колена струны... В песни, полные скорби и серой тоски, и низкого неба севера, иль тихую радость ожидания весны, разлива рек, когда придет время ловли рыбы, любви и игр и коротких душевных ночей; иль в чуть трепещущую мелодию — страха и покорность перед все сметающей, свирепой, неожиданной бурей с громом, молниями и затопляющими ливнями. И еще были песни — о странных людях, идущих в битвах впереди, встречающих смерть торжественно и покорно; о мудрейших людях, вносивших счастье победы и гордости, счастье довольства и мира в род свой, ибо при таких людях не были страшны ни соседи, ни звери, ни вражда внутри самого племени...

Эти песни, эти сказанья о героях, былины, полузабытые теперь преданья, религиозные мифы были вершинами выражения глубочайших чувств, колыбелью и источником истинного общечеловеческого искусства.

А потом века истории ткали на своих станках времени развитие этого первобытного искусства, изменяли его, дополняли и совершенствовали, т. к. совершенствовался и усложнялся дух человеческий.

Так продолжалось во все время коллективной жизни людей.

Только в поздние эпохи, когда вследствие различных исторических условий наступила пора разделения, разединения, распада людей внутри общества, — коллективное искусство умерло, наступило время искусства одного человека, индивидуального. Такое искусство живет до сегодняшнего дня.

Единичное, личное творчество создает лишь, так сказать, «искусственное искусство», но не самое искусство: оно есть удел всего человечества, а не отдельного лица

Внешний мир в сознании каждого человека претворяется в цепь образов. Если образ производит слишком сильное впечатление, то он требует обратного излияния, т. е. своего творчества, выражения действием. **ИСКУССТВО, ВООБЩЕ ГОВОРЯ, ЕСТЬ ПРОЦЕСС ПРОХОЖДЕНИЯ СИЛ ПРИРОДЫ ЧЕРЕЗ СУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКА.** Силы природы производят на нас известное воздействие (образы), впечатления; мы эти воздействия, если они достаточно сильны и не прекращаются в нас, выражаем каким-либо внешним актом (творчеством). Таким образом, искусство имеет три свои главные части, фазиса: восприятие извне, особое внутреннее состояние (впечатление) и выражение в действии, творчество. Совершенство искусства зависит от соответствия, сходства между восприятием и выражением. <... >

Революция переступила огненную черту в истории мира и ввела человечество в новую чудесную страну.

Возрождается коллективное созидание прекрасно. Художник — это человечество в своей единой одухотворенности.

Коллективное творчество — это океан, который буря — вдохновение колышет от края и до края, от дна до звезд, когда каждое маленькое существо в этом коллективе становится бесконечностью...

Близится время сотворения коммунистической Эды и великих мифов труда и солидарности, мифов о грядущих машинах — чудовищах, слуг человечества в познании и покорении вселенной...

Коллективное творчество — это уравнивание по наибольшему... <... >

Чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого, начнем пока с малого, начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, где будет жить небесная радость мира, начнем с маленьких кирпичиков.

Приступим же к делу, братья и товарищи!

Я обращаюсь к начинающим пролетарским поэтам и писателям из воронежского железнодорожного пролетариата образовать при редакции нашего «Железного Пути» студию коллективного художественно-литературного творчества. <... >

Дело мы начнем большое, а сил у нас пока немного; но мы молодцы, души наши не покрылись еще ржавой коркой мелкого мещанства и благополучного равнодушия. В каждой, даже самой забитой, ничтожной душе скрыты бесконечные возможности развития. И пусть никто не говорит себе, что он мал духом или бессилён знанием — мы все равны, все одинаково мало знаем, все бродим в смрадных логовищах рабства перед миром, его тайнами и страшными силами, и — хуже всего — мы рабы самих себя.

Наши старшие товарищи сбросили, разорвали одно звено из бесконечной сети цепей человека, а мы, их сыны и братья, будем ломать, рвать зубами, сдирать

с себя с кровью, с телом, с жизнью оставшиеся звенья черных цепей. Пока не дойдем до зенита, до самого солнца свободы и познания.

Человек — это вечный революционер, вечный создатель на вечно разрушаемом.

Наша сила, наша мощь — в нашей воле, воле к титанической силе, воле к всесовершенному знанию.
<...>

«Железный путь», № 9, 1919 г.

Душа мира

Женщина и мужчина — два лица одного существа — человека; ребенок же является их общей вечной надеждой.

Некому, кроме ребенка, передавать человеку свои мечты и стремления; некому отдать для конечного завершения свою великую обрывающуюся жизнь. Некому — кроме ребенка. И потому дитя — владыка человечества, ибо в жизни всегда господствует грядущая, ожидаемая, еще не рожденная чистая мысль, трепет которой мы чувствуем в груди, сила которой заставляет кипеть нашу жизнь.

Женщина осуществляет ребенка, свою кровью и плотью она питает человечество. Она сводит небо на землю, совершенствуя человека, поднимая его, очищая сменой поколений его горящую жаждущую душу.

Если дитя — владыка мира, то женщина — мать этого владыки, и смысл ее существования — в сыне, своей радостной надежде, творимой сыном. Т. е. смысл ее жизни такой же, как и у всего человечества — в будущем, в приближении родного и желаемого. И потому в женщине живет высшая форма человеческого сознания — сознания непригодности существующей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа — в сына, которого нет, но который будет, которого она уже носит в себе, зачатого совестью погибающего мира, виновного и кающегося.

Женщина перегоняет через свою кровь безобразия и ужас земли. Своей пламенной любовью, которой она и сама никогда не понимала и не ценила, своим никогда не утихающим сердцем она в вечном труде творчества тайной идущей жизни, в вечном рождении, в вечной страсти материнства — и в этом ее высшее сознание, сознание всеобщности своей жизни, сознание необходимости делать то, что уже делает, сознание ценности себя и окружающего — любовь.

Но что такое женщина? Она есть живое действенное воплощение сознания миром своего греха и преступности.

Она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление. Кровавый крест пира с смеющейся, прекрасной жертвой. Это женщина, это ее тайное, сокровенное существо. Она улыбается, истекая кровью, кричит от боли, когда рождает человека, а после любит без конца то, что ее мучило. Ее ребенок — высокий взлет ее мощной творческой, сияющей души, проломленный путь в бесконечность, живая, теплая надежда, которую женщина держит в своих материнских ласковых руках.

Женщина — искупление безумия вселенной. Она — проснувшаяся совесть всего, что есть. И эта мука совести с судорожной страстью гонит и гонит человечество вперед по пути к оправданию и искуплению. И в первом ряду человечества — его любовь и сердце — женщина, с стойкостью вождя пробивающаяся

вперед, через горы греха и преступлений, с испуганными, наивными глазами ребенка, который страшной всякого страха своей затаенной упорностью и неизменностью; перед этим взором улыбающейся матери отступает и бежит зверь.

Страсть тела, двигающего человека ближе к женщине, не то, что думают. Это не только наслаждение, но и молитва, тайный истинный труд жизни во имя надежды и возрождения, во имя пришествия света в страждущую распятую жизнь, во имя побед человека. Открытая нежность, живущая в приближении к женщине — это прорыв каменных стен мировой кости и враждебности. Это величайший момент, когда всех черных змей земли накрывает лед смерти. В тишине засветившейся нежности матери-женщины погибают миры со своими солнцами. Восходит новый тихий свет единения и любви слившихся потоков всех жизней, всех просветившихся существ.

Безмолвие любви — последнее познание двух душ, что одно. И женщина знает, что мир и небо и она — одно, что она родила все, оттого у нее нет личности, оттого она такая неуловимая и непонятная, потому что отдалась всему, приобрела сердцем каждое дыхание.

Познав себя, женщина познала вселенную. Познав вселенную, она стала душой ее, возлюбленной мира, гордой гранитной надеждой. Она доведет страдающую жизнь до конца пути.

Женщина — тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска.

Женщина тогда живет, когда желание муки и смерти в ней выше желания жизни. Ибо только ее смертью дышит, движется и зеленеет земля.

Не увидеть рай, а упасть мертвой у врат его — вот смысл женщины, а с нею и человечества.

Последний ребенок женщины — ее великий сын — искупит ее и себя.

Революция дала в руки женщины все силы жизни, главенство над ее ростом и расцветом. Нет ничего в мире выше женщины, кроме ее ребенка. Это она знает и сама.

Ибо в конце концов женщина лишь подготавливает искупление вселенной. Совершит же это искупление ее дитя, рожденное совестью мира и кровью материнского сердца.

Да приблизится царство сына (будущего человечества) страдающей матери и засветится светом сына погибающая в муке родов душа ее.

«Красная деревня», № 109, 18 июля 1920 г.

АЛЕКСЕЙ
ПЬАНОВ

«ПО ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ ИДУ...»



итая новую книгу стихов Виталия Коржикова «На гулкой палубе земной», выпущенную в минувшем году издательством «Молодая гвардия», вспомнил я давнюю свою встречу с поэтом.

В то лето довелось мне плавать на теплоходе «Тобольск», совершавшем рейсы между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. Плавать не пассажиром, а членом экипажа. Обязанности мои не были точно определены в судовом расписании.

«Поможете нам в культурно-просветительной работе, — сказал капитан после короткой процедуры знакомства, — стенгазету сделаете к концу рейса. Договорились?»

Мы договорились, и я тотчас же пошел в судовую библиотеку. Там среди изрядно потрепанных книг и брошюр, многие из которых были посвящены славному городу Тобольску, нашел сборничек с названием «Убегающий горизонт». Имя автора было мне уже знакомо по публикациям в периодике. Знал я, что он моряк, мой земляк, дальневосточник. Любил его крепкие, точные, свежие, словно только что надраенная палуба, стихи. От них терпко пахло солью морей. Тутие паруса строф были наполнены бризами и муссонами. В них галдели чайки и бакланы, скрипели трущиеся о клюз могучие якорные цепи; слышалась разноголосая речь дальних портов, короткие и четкие команды швартовок.

Словом, в стихах этих была истинная, а не адаптированная романтика, было древнее, суровое, мужское ремесло мореходов, воспетое с достоинством, сдержанностью, талантом.

С этой книжки и началась моя культурно-просветительная работа на «Тобольске». Я читал ее ребятам в кают-компании после фильма «Жили-были старик со старухой». Слушали внимательно, терпеливо. А потом, расходясь, сказали с улыбкой: «Да мы эти стихи, Степаныч, наизусть знаем. Коржиков-то, Виталька, наш, матрос. Тут, на пароходе (они любили это слово «пароход»), есть кто с ним плавал».

Думаю, что среди рецензий, посвященных книгам Виталия Коржикова, эта, устная, одна из самых значимых, самых важных. Увы, не многих поэтов знают сегодня наизусть, не о многих говорят «наш». Впрочем, не буду обобщать, ибо просто хочу поделиться с читателями «Юности» радостью новой, теперь уже «сухопутной», встречи с Виталием Коржиковым. С той первой, заочной, прошло много лет. Поэт давно сменил шаткую палубу корабля на гулкую палубу земную, на которой успел изрядно потрудиться — в стихах и прозе.

Счастливым оказалось «Мореплавание Солнышкина», которое хорошо знают и любят миллионы ре-

бят, да и другие книги Виталия Коржикова для них. Не прошли мимо читателя и его поэтические сборники. Уверен, что живой отклик у всех, кто любит поэзию, вызовет и этот, одетый в голубую обложку, где крутая волна и чайка над нею.

Что же, значит, опять — море? Да, опять. И это уже навсегда, потому что с ним связаны не экзотические воспоминания, а судьба, жизнь, душа поэта. «Он океанил, он матросил, штурвалил, драил и стропил...» А оттуда, из бескрайнего простора, более пристально всматриваешься в такую желанную, такую родную землю. И написанное сегодня, в тишине московской квартиры, может быть отзвуком, эхом того, о чем думал в каюте молодой матрос.

**Какую нам Родину дали,
С каким разворотом морей!
С каким, прорывающим дали,
Плывущим под плеск якорей,
Светилом, багрилом, ярилом,
Играющим в сто голосов!
С лихим пароходцем — к Курилам,
С размахом российских лесов!**

Эта строфа — из первого раздела сборника, названного автором «Мы». Она — камертон отношения к Родине, к поэзии, к долгу нашему. Камертон, которым можно поверить все стихи новой книги, сохранившей в себе то удивительное ощущение молодости, силы, ответственности перед страной и народом, увлеченности, которые отличали «Убегающий горизонт». Но в этом новом сборнике, где и любовь, и странствия, и великие стройки, и океаны, сильнее всего звучит тема памяти о минувшем, благодарности тем, кто отстоял нашу свободу в минувшей войне.

**Какое утро, день какой —
Куда ни выйду, ни поеду,
Народ рекой, рекой, рекой —
В волненье, в молодость, в Победу.**

Память поэта, сливающаяся с памятью народной, не только светла, но и горька.

**Вот какие, брат, дела!
Гильзочка патронная...
Через сорок лет пришла
К Марье похоронная...**

Эта тема памяти многомерна, многопланова; естественно и органично переплетается она с раздумьями поэта о дне сегодняшнем, со стремлением постичь его суть.

Особого, более обстоятельного и глубокого разговора заслуживает поэма «Палуба», исполненная истинного драматизма. Однако же я предупредил читателя, что пишу лишь беглые заметки о книге, которая, безусловно, стоит того, чтобы основательно поговорить о ней. Не все в ней удалось автору в равной мере, не все, конечно, заденет сердце и западет в него. Говорю это не потому, что хочу избежать традиционного по нынешним временам укора в положительности. Отнюдь нет! Так чувствую, так вижу, так пишу.

И не сомневаюсь, что вослед за теми давними читателями, коих пытался я просвещать на «Тобольске», и нынешние, молодые, познакомявшись с этой книжкой Виталия Коржикова, скажут: «Он наш». А большего поэту и не надо.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

«СМЫСЛ ЖИЗНИ — В ЖИЗНИ, В НЕЙ САМОЙ...»



Последняя книга Александра Кушнера «Дневные сны» (Лениздат, 1986) также и предпоследняя — «Таврический сад» — воспринимается как единый поток. В более ранних его книгах присутствовало единство авторского взгляда и тона, но они в гораздо большей степени были книгами отдельных, отчетливо очерченных стихов. «Дневные сны» не собрание стихотворений, а именно книга — органическая связь, не событийная, но внутренняя связь специфически поэтического сюжета. Преобладающая ее тематика — красота жизни, счастье жизни, постигаемой в таких ее проявлениях, как природа, творчество, культура, человеческие отношения.

Настоящая лирика всегда была разговором о жизненных ценностях, своего рода экспозицией ценности. Но в лирике нового времени, особенно любовной (ее вечный прототип — сонеты Петрарки), установилась традиция изображения ценностей, ускользающих от человека, утраченных им или ему недоступных. В искусстве существует глубокая соотнесенность между жизнеутверждающим и трагическим. Потому что трагедия — это всегда коллизия утраченной ценности, и без утверждения ценностей и вышших для человека целей трагическое переживание невозможно.

С конца восемнадцатого века на несколько десятилетий основной формой интимной лирики становится элегия с ее обязательной тематикой неблагополучной любви, разлуки, быстротечности жизни и ее радостей. Таким образом, основная лирическая форма уже по самим своим жанровым условиям предполагала меланхолическую тональность. Но и в позднейшей, уже внежанровой лирике редко писали о счастливой любви — эта тема не имела традиции. В сборнике «Сестра моя жизнь» Пастернак прямо говорит о счастье жизни, но любовь и в этой оптимистической книге конфликтна, неблагополучна.

Вразрез с господствующей традицией лирики Кушнер в «Дневных снах» пишет о счастливой любви. Но любовь эта у него тревожна. Счастливая любовь, как всякое счастье и красота, конечна; они принадлежат миру, которому присущи опасности, трудности и противоречия. Это чувство то просвечивает сквозь текст стихов, то прямо в них названо:

**Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил...
С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой —
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!**

«Дневные сны» рассказывают о счастье жизни и о не утихающей за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая напряженность. В ней осуществляется взаимосвязанность жизнеутверждающего и трагического. Изображенный в книге человек радость данного ему мира приемлет как потенцию, как вечно присутствующую возможность, которую надо достигать, добывать и в борьбе с самим собой.

Настойчивое жизнеутверждение включает книгу Кушнера в круг проблематики очень современной. Индивидуализм XIX и особенно XX века последовательно вел к отрицанию смысла существования, обреченного смерти. В своем логическом развитии индивидуализм, как известно, уткнулся в абсурд; стал культурно непродуктивным. Именно в мире, исполненном конфликтов и опасностей, таящем угрозу атомного уничтожения, насущнейшим оказался вопрос, почему, вопреки индивидуалистической логике тщеты и бессмысленности, человек продолжает любить, творить, радоваться существованию... Вопрос оправдания жизни, ее защиты.

В «Дневных снах» самый факт жизни уже чудесен («Обычную жизнью названное чудо...»). Существовать — несмотря на подстерегающие страдания, — это удивительная удача, выпавшая на долю человека; пусть она и не может длиться вечно («Нам пригласительный билет на пир вручен, нас просит облако дожить до юбилея...»). Но понимание это дается долгим и трудным опытом.

**Смысл жизни — в жизни, в ней самой.
В листе, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластно,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За все, что выслось и висло,
Цвело и никло, дораста
Сумеет, нехотя, до смысла.**

Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия.

Автор «Дневных снов» наделен повышенной остротой восприятия. Он сам говорит о тонком слухе, который «улиткой был завит», об осязании, которое «...любовно льнуло... к поверхностям...». Но в стихах Кушнера мы имеем дело не с бездумным восприятием чувственного мира, а с реакцией на него, претворенной в познание, в поэтическую концепцию.

**Ей, мысли, нужно раздражение,
Телесный нужен отголосок...
Сердцебиение, дыхание,
Мысль дремлет без их утешенья.
Среди безвкусного питания
Она так любит угощенье
Объемом, запахах, осязание...**

Восприятие, даже ощущение питает мысль. Мир вещей, природы, эмоциональных отношений для социального человека — это мир исторический, социально оформленный, интеллектуально переработанный. Кушнер в своей поэзии идет индуктивным путем — от частного и резко конкретного к поэтиче-

ски обобщенному, экзистенциальному. Вот почему он может сказать о себе:

**Я не вещи люблю, а предметную связь
С этим миром, в котором живем.**

Предметная связь (название одного из разделов книги) — это также и связь предметов между собой, их пересечения в уподоблениях поэта. Так, например, подробно показанное картофельное поле уподобляется вдруг у Кушнера морю, тоже очень предметно воспринятому.

Для Кушнера интеллектуализация материального мира — это непрерывный труд поисков наиболее точного слова.

**...Видишь: я рад перерывать,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным — радость какая!..
...Видишь ли, я не считаю, что нет
Слов, я и счастья без слов бы не понял.**

Счастье, утверждает поэт, реализуется в познавательной форме — в слове. Только словом можно остановить текущее настоящее, и оно же — слово — всегда обобщение. Такова диалектика слова.

В поэзии Кушнера устойчивое интеллектуальное начало связано с особым его отношением к явлениям культуры. Кушнера иногда даже упрекают в литературности, книжности. Но противопоставление литературы и жизни в принципе неправомерно. Культура — это историческая форма действительности, литература (настоящая, конечно) — один из аспектов самой жизни. Есть произведения, которые мы только читаем, а есть такие, с которыми мы живем. Включенные в сознание, они всплывают по разным, непредсказуемым поводам, интерпретируя факты жизни. Именно таковы многочисленные культурные реминисценции Кушнера, его явные и скрытые литературные цитаты. Кушнер не пишет стихи в специально историко-культурном жанре. Культура свободно проникает в разные пласты его поэтического языка, в том числе и самый бытовой, разговорный пласт.

В книге «Дневные сны» ряд стихотворений посвящен морю — пристально рассматриваемому, прекрасному и мощному. Но есть у Кушнера и интимное пляжное море. Оно отражалось в бутылках пляжного буфета, «лезло» в зеркальце, которое женщина вынимает из сумочки. И тут же в этот словесный ряд вступают подобающие морю напоминания о грандиозном. Гомер («Где Одиссей? Удивлялось: когда это было!»), Пушкин — «Всех утопить? Или все-таки слушать пластинку...». Здесь реминисценция пушкинской «Сцены из «Фауста» (у Пушкина — «Все утопить»). Она несет в себе динамику многообразных смысловых наслоений, образовывавшихся вокруг каждого пушкинского текста; она раздвигает, ломает контекст.

С ролью культурных реминисценций, вообще категорий культуры в поэзии Кушнера связано распространенное восприятие его стихов как ориентированных на классические образцы русского XIX века. Но «классичность» поэта наших дней напрасно понимают иногда как повторение, воспроизведение. Воспроизводить через полтора десятилетия фактуру стиха пушкинской поры могут только эпигоны. Кушнер не избобретает стиховые формы, слова, но он изменяет их значение новым принципом смысловых связей. Он современный поэт, приобщенный к открытой XX веком повышенной суггестивности слова. Суггестивность — это и развертывание смыслового звена в

неожиданную семантическую цепочку, и пропуск логических звеньев — внушение читателю неназванных представлений.

Вот стихотворение, показательное для системы Кушнера, дающее возможность проследить некоторые ее характерные черты.

**Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, иступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно...
Кем нам уверенности навеем
В себе, извечна, изначально?**

**Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белой
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.**

Сюжет этого стихотворения невыводим из традиционных лирических формул. Изображено сложное душевное состояние: вечный, исконный порыв человека к полету, к преодолению земного тяготения и противостоящие порыву психологические запреты, материализованные в «поручнях непрочных». Образом ласточек «проточных» означено это граничащее с безумием освобождение. В то же время ласточка здесь реальная птица с белой спинкой.

У Кушнера, разумеется, есть ассоциативные ходы и метафорические аспекты вещей, но не это основное для его поэтики. Для нее характернее взаимодействие, динамическое рядоположение слов, преобразованных контекстом. Поэтому Кушнер любит называние вещей, перечисление, нагнетение лексически подобных определений. Поэтому ему часто нужен объемный синтаксис — фраза, охватывающая строфу.

Стихи Кушнера живут не метафорическими изменениями, но скрещиваниями и переливами значений, сохраняющих предметность, свой первичный логический смысл. Такова одна из возможностей современного поэтического языка с его подспудными соотношениями слов. В «Дневных снах» стиховая символика, минувшая и открытую метафоричность, и обнаженную сюжетную связь, ушла в глубину текста.

Поэтические средства Кушнера современны потому, что они призваны выразить современную авторскую позицию — в принципе не романтическую. Романтизм насчитывал множество разновидностей, но их объединяло ключевое положение авторской личности, воспринимаемой как личность поэта.

В «Охранной грамоте» (1930) Пастернак, вспоминая 1910-е годы, писал о «романтической манере», с которой он сознательно расстался, — «это было понимание жизни как жизни поэта». Такое понимание Кушнеру чуждо. В своих стихах он никогда не называет себя поэтом. Он осознает свою жизнь, как жизнь человека среди подобных ему людей, своих современников.

КОНСИЛИУМ ПАЦИЕНТОВ

**Читатели о статье
профессора А. Шевелева
«Пятна на белом халате»
(«Юность», № 6, 1986 г.)**



Скажем прямо, мы и не сомневались, что эта статья вызовет горячие отклики, что почта наша будет обширной по своей географии и насыщенной историями из личной жизни читателей и их служебной практики. Потому что в прогресс медицины — одной из важнейших служб государства — так или иначе вовлечены мы все, и многие являются участниками этого процесса «с потерпевшей стороны». И все менее смешным кажется с годами чье-то шутовское изречение о том, что есть две области человеческой деятельности, в которых разбираются (читай «суют свой нос», «лезут с советами») все поголовно, — это искусство и медицина. Если в первое «суют нос», как правило, от полноты чувств, то во вторую, как правило, — от неполноты здоровья. В общем, на равнодушие общественности к своим проблемам наша медицина сегодня пожаловаться не может. Общественность же, со своей стороны...

Значительная часть полученных писем — отклики врачей, товарищей профессора Шевелева «по цеху». Что объединяет их с письмами рабочих, студентов, учителей, сельских тружеников? Вот такие слова: «Прочитал статью «Пятна на белом халате» и готов подписаться под каждым ее словом», «Многоуважаемый профессор Шевелев! Приношу Вам свою благодарность за смелое, правдивое суждение о недостатках в области подготовки врачебных кадров», «У меня не хватает слов для благодарности за содержание этой крайне нужной и полезной статьи», «Автор безусловно высококвалифицированный специалист. Приводимые им примеры и выводы не вызывают никаких возражений», «Статья глубоко взволновала меня и моих коллег-врачей своей правдивостью, правильностью оценки положения в системе высшей медицинской школы на современном этапе». И просто такие, как это, подписанное дружным коллективом соседей ленинградской коммуналки: «Спасибо, профессор! Умница Вы!»

При единодушном отношении к поднятым в статье профессора А. Шевелева проблемам авторы писем высказывают разные, порой противоположные мнения о путях решения этих проблем. А ведь именно пути к победе над болезнями физическими и нравственными нас с вами очень волнуют, не правда ли?

Центральной фигурой в статье А. Шевелева является молодой человек в медицине: абитуриент — студент — молодой специалист. Как преподаватель высшей медицинской школы с 36-летним стажем, автор вполне правомерно употребляет личное местоимение в вопросах «Как мы принимаем в медицинские вузы?», «Как мы учим в своих вузах?» и, наконец, «Кого мы выпускаем, кому доверяем здоровье советских людей?» И от своего лица на эти вопросы отвечает.

А вот что пишет молодой врач-хирург, два года назад окончивший лечебный факультет Владивостокского мединститута, Андрей Леонидович Пастухов:

«Еще будучи студентами, мы часто обсуждали вопрос, правильно ли нас учат. Мнение было единодушным: нет, неправильно! Студенты других вузов с уважением говорили нам о трудностях учебы в медицинском. Я заявляю: учиться в мединституте легко, не надо особенно перенапрягаться и даже просто напрягаться, чтобы получить диплом врача. Главное — посещение, и даже если много «н/б» успел набрать, то за неделю-две можно успеть отработать по 30—40 пропущенных занятий. Как это делается?» Далее следует откровенный перечень маленьких студенческих хитростей, завершающийся словами: «Спрашивается — есть ли толк от подобного очковтирательства?»

Присоединим к этому вопросу и свое недоумение: зачем же так «рваться» в медицинский, выдерживать огромный конкурс на вступительных экзаменах (он ведь в медвузах сегодня намного выше, чем, скажем, в технических), со страстью говорить на собеседовании о призвании, писать в опросной анкете: «Хочу быть простым участковым врачом. Хочу лечить людей и приносить пользу обществу» (это одна из наиболее распространенных «формулировок» в анкетах), — чтобы, став студентом, с облегчением включиться в систему отлынивания, которая, как утверждает А. Пастухов, поддерживается нынешней системой обучения?

«Студентов мало контролируют, — пишет он далее, — а главное, не систематически». Наверно, это так. Но вот мнение другого врача, ветерана труда, кандидата медицинских наук Анны Григорьевны Сатаровой из Ленинграда: «Само слово «студент» означает «усердно занимающийся», а это значит, что каждый студент обязан учиться только на «отлично». В своем письме А. Г. Сатарова со «старших», то есть с профессорско-преподавательских кадров, ответственности за обучение и, главное, воспитание будущих врачей никак не снимает. «Особенно большой урон здравоохранению, — пишет она, — приносят посредственные, нравственно нечистоплотные, невежественные преподаватели училищ и институтов, которым нельзя доверять учить и воспитывать нашу будущую смену». Но и «случайно попавших, нерадивых людей и невежд-студентов в медицинских учебных заведениях нельзя жалеть — надо в первую очередь думать о тех больных и здоровых, которым придется обращаться к ним за помощью».

Ох уж эти «случайно», а еще того хуже «не случайно» (то есть по звонку или, как говорят прог-

раммысты, «по умолчанию») попавшие в медвузы, в медицину! Сколько горьких строк о них в читательских письмах.

Пишет Владимир Николаевич Шляхтин, окончивший в 1972 году Челябинский мединститут, ныне врач поликлиники «Геолог» в городе Сургуте Тюменской области: «Читая статью, вспомнил студенческие годы, сопоставил факты, излагаемые А. Шевелевым, с многочисленными фактами, имевшими место в период моего пребывания в стенах alma mater, и не нашел ничего лишнего, предвзятого. Факты эти общеизвестны, но вслух о них говорилось и говорится очень редко из-за робости перед «корифеями», из-за неправильного понимания смысла выражения «врачебная этика». В наше время уже бытовал термин «позвоночные студенты». И среди них-то, как правило, были неумные, недалекие люди, которые с грехом пополам окончили институт, так же по звонку заняли должности в различного ранга медицинских учреждениях и так же, благодаря свойствам уже беспозвоночных животных, наученные ловчить со студенческой скамьи, ведут весьма посредственно дела в этих «вверенных им» учреждениях, прикрываясь личиной начальственной важности и неприступности. Оправдалась в большинстве случаев поговорка, тоже бытовавшая в наше время: «Хорошо учишься — врачом будешь. Плохо учишься — главврачом станешь».

Уже знакомый нам молодой врач из Владивостока А. Л. Пастухов: «Мне кажется, нигде так не развита «кастовость», как у медиков. Пятьдесят процентов студентов — дети врачей, и это приводит к тому, что за них хлопочут. Сами «блатники» об этом не говорят, но своих «избранных» в каждой группе знают. Причем многие как поступили по знакомству, так и четверки свои получают в процессе учебы по знакомству. Иногда мы просто диву давались: знаем ведь точно о своем сокурснике, что больше, чем на «3» не потянет, хоть из кожи вылезет, часто слышали его ответы на экзаменах — уши вяли, а в зачетке «хорошо», потому что только четверка дает право на стипендию. И такие случаи не единичны, повторяю, — в каждой группе свой. Рядом со мной учились такие монстры в своей серости и лени, что жуть берет, когда подумаешь, что они где-то сейчас лечат людей».

А теперь дадим слово рабочему Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина, Николаю Григорьевичу Луценко, который представился так: «Мне 45 лет, имею четверых детей и очень интересуюсь тем, что пишут для молодежи, как пытаются формировать личность молодого человека». И далее: «Почему деловой человек Иванов с бархатным баритоном, строящий институту общежитие, звонит ректору, дабы замолвить словечко за милое нерадивое чадо свое, которое само не знает, чего ему хочется? Да потому, что он уверен за будущего Ионыча, который за любой ценности диплом медика получит на свой кусок хлеба чужой кусок масла, поскольку по окончании института ему место врача гарантировано, и большой придет к нему, хочет сам того или нет. Наглядный пример из моей жизни. Поднялась у меня температура. Иду к своему участковому врачу — таков неукоснительный порядок. Заранее знаю, что помочь она мне не поможет, но больничный я иметь буду по причине высокой температуры. Больные зло шутят: «На нее не надейся. Захочешь — выживешь!» Между собой называют ее переодетой уборщицей. Итак, согласно принятому сценарию получаю больничный лист и указание приобрести противогриппозный набор. Делаю, как велят, но температура не падает, и появляется кашель. Продлевают больничный до положенных мне

от нее пяти дней, но, поскольку состояние не улучшается и продлевать бюллетень она больше не может, то отправляет меня к заведующей терапевтическим отделением. И тут только выясняется, что у меня воспаление легких. В моем присутствии вызывают мою участковую (а ведь в этом слове должно слышаться участие, правда?) и ставят перед фактом, на что она лепечет что-то невразумительное. На этом инцидент у нее на мой счет окончен, а я еще три недели лечился у хорошего врача. Послушайте, но ведь я за брак на своем производстве несу моральную и материальную ответственность перед государством, вплоть до выплаты полной стоимости нанесенного ущерба. Почему же за свой брак врач такой ответственности не несет? Почему я не могу пойти сразу к хорошему врачу? Вот, говорят, что в ГДР врач получает заработную плату в зависимости от того, как к нему идут больные. Может, потому что студенты из этой страны учатся в наших вузах не за страх, а за совесть? Все это я говорю к тому, что если бы деловой человек Иванов заранее знал, что его чадо такой квалификацией не зарабатывает себе даже на пустой чай — у него и в мыслях бы не было определять сына в мединститут. А при сегодняшней постановке дела теплое место не останется пусто, и «делового человека» не остановят ни экзаменующие ЭВМ, ни письменное оформление ответов на экзаменах. Когда же у студента появится жизненная необходимость иметь приличные знания, тогда и преподавательскому составу придется поработать над собой, чтобы не принимать «дубов» и не выпускать «липу».

Письмо А. Р. Провоторовой из Перми начинается, после благодарности за статью на столь актуальную тему, словами: «Расскажу о себе. В 1981 году мне было 37 лет. К тому времени я имела ребенка пяти лет и закончила два вуза — педагогический и госуниверситет. Работала начальником отдела труда и заработной платы, ничем не болела и отличалась завидным здоровьем, но вдруг...» Далее на восьми страницах школьной тетради «в линейку» следует трагический рассказ о том, как «жил человек, работал, учился, приносил пользу людям, заболел и попал в руки равнодушных врачей, которые не захотели даже внимательно на него взглянуть и поставили на его жизни крест, просто так, от лени души, от нежелания думать о другом человеке». Возможно, А. Р. Провоторова не знает каких-то профессиональных тайн мастерства лечащих ее специалистов, недооценивает серьезности своего заболевания. Возможно. Но для того, чтобы отличить чуткое, внимательное отношение к себе, желание помочь, вылезть от преступного (а другого у врача не бывает) равнодушия, не надо ведь «Оксфордов кончать», правда? Но это, так сказать, из области эмоций. А из области цифр... «Почему бы кое-кому не подсчитать, во что обходится государству моя инвалидность, если я на пенсии с 37 лет, пенсия 120 рублей в месяц, ребенок — в интернате, соответственно за государственный счет, наем рабочей силы по уходу за больной — 70 рублей в месяц, да подготовка бездействующего ныне специалиста в двух вузах...»

Красноречивы цифры в статье профессора Шевелева там, где говорится о многомиллионной экономии средств за счет сокращения количества врачей при техническом до- и перевооружении медицины и значительном снижении рутинного бумажотворчества в ней. Убедительными кажутся нашим читателям и аргументы автора в пользу этого сокращения. Всем, кроме Михаила Викторовича Ротта из города Тулы Приведем его возражения.

«Автор сопоставляет количество врачей на 10 000 человек у нас и в ряде ведущих капиталистических стран и на этой основе делает вывод, что «дальнейший рост числа врачей не только бесполезен, но и вреден». Однако такое сопоставление мне представляется неудачным. Почему? Известно, что в странах капитала лечение весьма и весьма дорого. Значительная часть населения этих стран не может позволить себе лечиться и прибегает к врачебной помощи только в самых крайних случаях, да и то не всегда. У нас лечение бесплатное. И если сопоставлять количество врачей у нас и за рубежом, то следовало бы исходить из количества их не на душу населения, а на количество людей, обращающихся к врачам. У нас такие цифры можно получить. Ну, а за рубежом — сомнительно. Но заранее можно утверждать, что разница будет огромная.

Второе. При наличии большого количества врачей еще много, очень много у нас уголков, поселков, районов, врачами не обеспеченных. И последнее. Вряд ли применим коммерческий подход в вопросе подготовки врачей».

Михаил Викторович сообщил о себе, что он не врач, но всю сознательную жизнь находится в окружении врачей.

А вот что об этом говорят врачи.

В. Н. Шляхтин: «Совершенно верно затронут профессором вопрос кадров в разрезе «качество—количество». Наш признанный педагог А. С. Макаренко еще в то время согласен был иметь «...вместо десяти со-рокਾਰублевых преподавателей пять восьмидесятирублевых» Имелась в виду зарплата. Эта мысль не потеряла злободневности и сейчас. В поисках дополнительных средств к существованию врачи порой встают на преступный путь взяточничества, вливаются в преступные группировки воров и спекулянтов наркотическими и редкими лекарственными препаратами. Это люди подлые, недостойные звания врача. А честные? Честные набирают такое количество дежурств, что через некоторое время от хронического переутомления и нарушения режима питания сами становятся пациентами своих коллег.

Очень правильна мысль о нерациональности труда, связанного с заполнением большого количества историй болезни. Ни один писатель, я уверен, за свою жизнь не испытал такого количества бумаги, какое исписывает за свою жизнь каждый врач. Остаются без внимания из-за этой писанины люди, сотням больных из-за нее несвоевременно начинают лечение. Введение НОТ, о которой очень много говорили и мечтали еще 20 лет назад в институте, остается до сих пор мечтой. Пора диспеев пришла давным-давно, и не надо рассматривать внедрение их в практику как какую-то роскошь. Кроме электронной техники, желает быстрого улучшения качества и вся отечественная медицинская техника (рентгеновская аппаратура, например, выпускается очень низкого качества). Обратите внимание, что в ведущих клиниках Союза и в НИИ техника почти сплошь заграничная».

А. Л. Пастухов: «Выступление профессора Шевелева понравилось мне еще и тем, что по каждому пункту критических замечаний указан выход из положения. Хочу к этому добавить:

Всех студентов мединституты нужно заставлять работать, начиная со второго семестра первого курса. Надо показать будущему врачу все трудности всех уровней медицины — от санитарки до врача. Введенный недавно предмет «уход за больным» — это больше теория, существующая же практика по 2—3 часа в клинике ничего не решает. А надо, чтобы, пусть на полставки, но студент работал, работал за деньги, стал бы членом коллектива, а не просто при-

ходящей единицей. Пусть он узнает, что такое бессонные ночи, что такое тяжелый больной или просто «вредный»... Полставки — это одно дежурство в неделю, то есть 4—5 в месяц. Это немного, любой организм выдержит без труда, а если не выдержит, то стоит задуматься, надо ли тебе вообще оставаться в медицине, где большую часть зарплаты составляют именно ночные дежурства. Труд во время учебы надо сделать обязательным, тогда и кадры будут крепче, знания их глубже, представления о будущей профессии верные, а не книжные и киношные. Практическое здравоохранение получит дополнительно огромную армию медсестер и санитаров, в которых так остро нуждается. Заметьте, что курсанты военных училищ прежде, чем получить офицерское звание, первые два года «хлебают солдатскую кашу», и это всем кажется естественным. Так почему не сделать то же и в медицине, где практика и опыт являются главенствующими факторами? Я сейчас знаю врачей, которые боятся делать уколы в вену, не могут правильно собрать капельницу, не умеют и более простых вещей.

Я согласен, что прием в медицинские вузы надо сократить, но вот количество преподавателей необходимо оставить прежним, так, чтобы в группе было по 5—6 человек, — это оптимальное число.

О колхозах. Из-за них теряется почти год учебы. А не лучше ли, не выгоднее ли считать работу в течение года в больнице третьим трудовым семестром, в июле и августе дать студентам возможность отдохнуть, а кто хочет заработать — едет в стройотряд. Но с 1 сентября — это уж закон — начинается учеба!

И последнее. Очень правильно пишет А. Шевелев о госэкзаменах. Действительно, они превратились просто в фарс, насмешку. Студенты говорят, что нужно быть абсолютно тупым, чтобы не сдать «госы». Половина идет на авось, и кривая вывозит практически всех. Мне кажется, выход вот в чем: надо разрешить пересдачу госэкзаменов. Если студент получил «2», то следующая пересдача через 4—5 дней, причем уже не по билету, а по устным вопросам членом комиссии, на которые отвечать надо сразу, с 1—2-минутным обдумыванием.

Конечно, сделать то, что я предлагаю, в один день нельзя, но надо круто менять курс медобразования, иначе мы выпустим еще много тысяч серых людей в белых халатах».

Редакция получила отклик Министерства здравоохранения СССР за подписью заместителя министра Ю. Ф. Исакова. В нем говорится, что «автором затронуты актуальные проблемы совершенствования высшего медицинского образования в нашей стране, направленного на улучшение качества подготовки врачей, совершенствование приема в медицинские институты, усиление внутривузовского контроля, повышение ответственности профессорско-преподавательских кадров за качество».

«...Основными причинами недостатков в подготовке выпускников, — говорится далее в ответе, — остаются прежде всего нерешенные вопросы организации приема, улучшения учебно-воспитательной работы, внутривузовского контроля, а также совершенствования материально-технической базы учебных заведений.

В настоящее время Министерством здравоохранения СССР разработан и внедряется в практику высшей медицинской школы комплекс мер, направленных на дальнейшее улучшение подготовки специалистов и повышение их квалификации.

Предусматривается дальнейшее совершенствование системы профессиональной ориентации и отбора молодежи в медицинские вузы в направлении первоочередного приема лиц, проработавших в качестве младшего или среднего медицинского персонала не менее двух лет, уволенных в запас военнослужащих, а также молодежи, проявившей призвание к медицинской профессии. Уже в этом году в медицинских институтах, помимо конкурсных вступительных экзаменов, проводилось профориентационное собеседование, в ходе которого указанному контингенту абитуриентов предоставлялись дополнительные баллы.

Важным направлением повышения качества подготовки врачей остается совершенствование учебных планов и программ, внесение в них изменений и дополнений, направленных на индивидуализацию обучения и расширение самостоятельной работы студентов, пересмотр объема лекционных и аудиторных занятий, внедрение в учебный процесс вычислительной и компьютерной техники.

Важнейшее место в перестройке системы высшего медицинского образования займут вводимые ежегодные аттестации рабочих мест студентов и аттестация на овладение ими необходимыми практическими навыками, усиление ответственности руководителей и профессорско-преподавательских кадров мединститутов за качество обучения и воспитания студенческой молодежи, повышение требований к государственным экзаменам.

Все эти вопросы будут глубоко и всесторонне рассмотрены на Совете по высшей медицинской школе при Минздраве СССР, который будет проведен в текущем году.

Что касается клинической подготовки студентов мединститутков, то действующими учебными планами на изучение клинических дисциплин предусмотрено более 2600 часов и еще 1292 часа выделено на первичную специализацию в субординатуре.

Министерство здравоохранения СССР последовательно проводит линию на повышение ответственности государственных и курсовых экзаменационных комиссий за объективность оценки уровня теоретических знаний и практических навыков выпускников. Штаты профессорско-преподавательского состава сохраняются вне зависимости от численности отсева студентов из вуза».

Таков ответ Министерства здравоохранения, — ответ, не очень внятно оценивающий те горькие факты, о которых рассказал А. Шевелев и которые волнуют широкие круги советских людей.

Думается, что разговор наш о статье А. Шевелева «Пятна на белом халате» не окончен. Письма в редакцию все идут. Но нет среди них отклика Министерства высшего и среднего специального образования, а интересно было бы узнать, что думают там, в верхах высшей школы. Может быть, стоит обратиться всем заинтересованным по душе и по должности лицам за круглым столом журнала «Юность» и обсудить вслух эти острые набравшие вопросы? Читатели ждут продолжения разговора.

Обзор подготовила
Инга АГЛИЦКАЯ

В «ЗЕЛЕНОМ ПОРТФЕЛЕ» — «ЛАВРОВАЯ ШЛЯПА»!

После объявления о конкурсе на лучшее название премии за юмористические произведения, опубликованные в «Зеленом портфеле», редакция получила астрономическое количество откликов. К сожалению, наши контрольные весы не в состоянии определить такой огромный вес, поэтому не могу сказать точно, но открыток набралось, во всяком случае, не один портфель.

Какие же выводы можно сделать теперь, когда все читательские предложения тщательно взвешены?

Перво-наперво — о нарушениях условий конкурса. Я просила присылать свои предложения на открытках. И эта пустяковая просьба — не девичий каприз. Конкурсанты могли здорово облегчить мою работу. Многие же этой просьбой пренебрегли. А жаль! Послания в конвертах сразу выбыли из игры.

Теперь непосредственно обратимся к поступившим предложениям. Сразу бросается в глаза большое количество предметов домашнего обихода, которые читатели мечтают видеть в качестве премии. Чего тут только нет: авоська, башмак, галоша, корыто, зеркало, ложка, гребешок, ошейник, ухват, оглобля, кастрюля, штилеты... Не надо замыкаться в четырех стенах, дорогие друзья! Тогда и оригинальные названия появятся.

Не обойдены вниманием и представители фауны. Из них можно составить целый зоопарк, в котором будут резвиться наши меньшие братья от комара до динозавра включительно. Большая конышня потребуется для Пегасов и Троянских коней.

После крупных придирок жюри круг рассматриваемых названий сузился до предела. И в конце концов я остановилась на призе

«ЛАВРОВАЯ ШЛЯПА»

Именно так предложила увенчивать отличившихся авторов москвичка Ирина Целовальникова. Надеюсь, наша первая лауреатка, прежде чем рекомендовать другим, проверила, к лицу ли наряд ей.

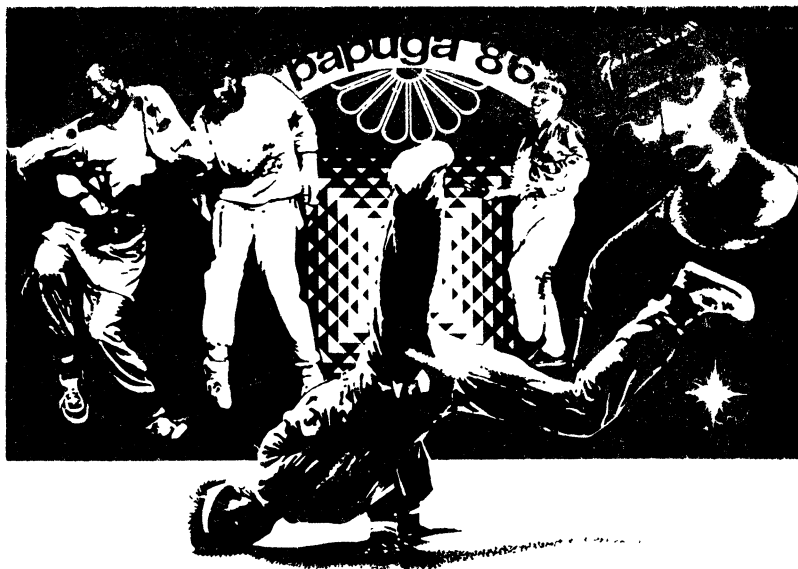
Вот еще названия, которые вызвали оживленные дискуссии у жюри: «Гран-портфель» (Г. Ходжаниязова, г. Денау Сурхандарьинской обл.), «Пластинчатый веник» (Ю. Галантерник, Минск), «Гранитовый браслет» (И. Кнутов, Омск), «Оскал» (А. Босия, Москва), «Терновый венец» (В. Кудряцев, Углич, и А. Минин, Москва), «Бурные аплодисменты» (Е. Киселева и Т. Родионова, Севастополь).

Очень многие предлагали «Галкино перо» или «Галочье перо». Но с моей стороны было бы нескромно назвать приз именно так.

Некоторые читатели сопровождали свои послания остроумными объяснениями. Хочу отметить и поблагодарить за остроумие З. Саушину (г. Янгйер Сырдарьинской обл.), Л. Федорову (г. Всеволожск Ленинградской обл.), С. Иконникова (Красноярск), И. Мискарьяна (Москва), В. Синебрюхова (Новосибирск).

Итак, конкурс завершен! Теперь ждем от вас произведения на соискание звания лауреата.

Хранительница «Лавровой шляпы»
Галка ГАЛКИНА



ВАЛЕНТИН
ЮМАШЕВ

ЗАРИСОВКИ В СТИЛЕ БРЕЙК

Расскажу, как первый раз увидел брейк. Кстати, тогда и понятия не имел, что именно так называется этот странный танец. Было это в Парке имени Горького, вечером, в противную, промозглую погоду, когда полупустыми крутятся карусели, на качелях вообще никто не качается, и все стремятся куда-нибудь уйти, посидеть и там, в тепле, отогреться. На какой-то отдаленной аллее зазвучала музыка. Я побрел туда. Музыка слышна была громче и громче, и вот я уже разглядел толпу, человек двадцать, в основном это были взрослые, и двух мальчишек лет 15—16. Один, подняв руки высоко над головой, держал «Шарп», чтобы всем было лучше слышно. Другой в это время танцевал. Танцевал очень странно. Его движения были резкие, дерганные, рваные и в то же время очень пластичные. Как бы робот, но и в то же время — нежный робот. Затем он бросился на асфальт (точнее, на большой толстый картон, они его специально принесли и положили на аллею) и на нем стал выделять всякие невообразимые гимнастические упражнения: крутиться на спине, на голове, на одной руке и на двух и т. д. и т. п. Публика была ошарашена. Все молча, не переговариваясь, смотрели на этот танец, но на лицах было скорее не удивление, а сожаление: мол, куда мы все докатились, до чего дошли..

Потом подошла милиция. Два сержанта без удивления и сожаления пробрались сквозь толпу, выключили магнитофон и повели мальчишек в отделение. Люди медленно расходились. Слышны были обрывки фраз: «Подраспустились они...», «Надо накачивать ремнем...». «Это все опять Запад виноват...» «Да какой Запад — от всеобщего безделья, зажрались они...»

Я пошел к метро, уже опустил пятак, а потом решил: вернуться, быстрее, быстрее.. Заскочил в отделение милиции, а мне сказали, что ребят уже отпустили. Строго выговорили им, чтобы больше не собирали толпу и не включали громко магнитофон в общественных местах, и отпустили.

Я ругал себя за глупость, за медлительность, за лень, за то, что сразу не пошел вместе с ними... Было обидно, что больше не узнаю ни историю этого танца, ни историю этих ребят.

Оказалось, зря волновался. Прошло немного времени, и я увидел этих ребят и еще много-много других мальчишек и девчонок, которые могли часами отшлифовывать движения из своего любимого танца. Да, скоро я узнал и его название — брейк-данс. Узнал и многое другое — как гоняют их со школьных танцевальных вечеров и дискотек, как борются они за свой брейк и ничего у них из этого не выходит, как ищут они в старых домах заброшенные подвалы и там с восторгом тренируются, пока их не накрывает жэк, или дружинники, или милиция. И тогда они начинают поиски новых помещений.

Брейк — английское слово. Одно из значений его перевода на русский — ломаный, рваный. Брейк-данс — ломаный танец... Мой рассказ о брейке будет тоже ломаным — в нем будут отрывки из прошлого, кусочки из настоящего, зарисовки из будущего. Все это никак не будет связано друг с другом. Что делать, если брейк такой странный танец?

Не знаю почему, но каждому поколению подростков приходится с чем-то и за что-то бороться. Когда вырастаешь, понимаешь, какой же ничтожный повод был для этой борьбы. Истраченные нервы,

Рисунок Е. Лехта

«двойки» в дневнике, скандалы со взрослыми были напрасны и мелки.

Поколение наших родителей отстаивало рок-н-ролл, узкие брюки и пластинки, записанные на чих-то ребрах — рентгеновских снимках. Нас гоняли за клеш, ансамбль «Битлз», длинные волосы и танец твист, который на школьных вечерах исполнять было запрещено. Все это считалось вредным влиянием Запада и должно было отрицательным образом сказаться на наших мозгах. Я никак не мог понять странную зависимость количества и качества мозгов от длины волос, да в общем-то никто ничего и не пытался прояснить. Все было просто. За поведение ставилась «двойка», в школу вызывалась мама, а я шел в парикмахерскую и стригся. Это было поражение, капитуляция полная и безоговорочная...

...Я притормозил на своих личных воспоминаниях не потому, что у меня тяга к ранним мемуарам. Просто я уже взрослый человек, мне 28 лет, но до сих пор не могу понять — за что? За что меня насильно стригли четырнадцать лет назад? Почему не давали танцевать твист? Почему не разрешали слушать ансамбль «Битлз»? В этом не было никакой логики. Мы ведь после этого не начинали лучше учиться, лучше вести себя, лучше общаться с педагогами, тут, скорее, даже наоборот. В чем же дело?

Никто объяснить не мог, да и сейчас не может.

Меня привели в подвал, который они оборудовали сами. Помещение где-то 10 на 10 метров. Чисто. Нельзя, правда, сказать, что уютно, но, во всяком случае, стены любовно обклеены плакатами звезд эстрады. В центре — привычный картон, два больших квадрата, чтобы можно было делать движения на полу. На одной стене — зеркала. Они ими гордятся. Выглядят, правда, эта стенка странно — высокое зеркало, узенькое, короткое, длинное... Они мне объяснили, что самое сложное было найти зеркала. Кому-то позволили дома вытащить из старого шкафа, кому-то не дали, но он вытащил сам, кто-то съездил в мебельную комиссионку, кто-то договорился в зеркальной мастерской — и вот теперь все как в настоящем гимнастическом зале, можно смотреть на себя и видеть все ошибки.

Сюда ходят человек двадцать — тридцать, ребята из ближайших домов и школ. Есть самые лучшие брейкеры, они уже не учат азы, а оттачивают самые сложные движения. Например, какой-нибудь один поворот на голове они могут тренировать час и даже больше. Остальные смотрят на них, потом в зеркало, на них — в зеркало, и так потихонечку учатся первым движениям.

Брейк танцевать очень сложно. Меня, например, ребята пытались научить, но так ничего из этого и не вышло. Я не могу хорошо сделать даже элементарную «волну» или шаг вперед или назад, специальный такой шаг. У меня сложилась твердая уверенность, что после двадцати брейку бессмысленно учиться — уже не те мышцы, не та пластика, и, честно говоря, психология не та.

Брейк — это смесь гимнастики, пантомимы, акробатики, и если ты физически слаб, то у тебя ничего и никогда не выйдет. Кстати, поэтому же ребята брейк танцуют лучше, чем девочки. Те, кто раньше не мог хотя бы раз подтянуться на перекладине, перепрыгнуть через «козла», кто даже и не мечтал когда-нибудь сесть на «шпагат», уже через год активных занятий брейком элементарно делают «рондат», угол на полу, «шпагат» не только продольный, но и поперечный, и даже сальто.

Я смотрел на них, обливающихся потом, крутящихся, вертящихся, прыгающих, и все пытался по-

нять. Ну чего они так качывают, ведь «пятерки» им за это никто не ставит, никто их труд не оценит, кроме осложнений, брейк ничего принести не может? А они все старались и старались, сотню раз повторяли одно упражнение, потом сотню — другое...

Все мне стало понятно, когда я пришел с ними на дискотеку. Престижную московскую дискотеку, как раз и ставшую престижной только потому, что там танцуют брейк. У входа стояла толпа, человек пятьдесят. Но когда к дверям подошли мои знакомые, все почтительно расступилось: их пропустили без очереди и бесплатно. Потихонечку, не спеша диск-жокер заводил публику. В центре зала был небольшой помостик, на нем никто не танцевал. Наконец диск-жокер сделал паузу, остановил музыку и доверительно сообщил: «Друзья! Сегодня к нам на дискотеку приехали наши старые друзья. Ден, Бил — мы просим вас на сцену!» И тут взревела музыка. Денис и Володя Биляетдиновы — поэтому Ден и Бил — мягко, легко выпрыгнули на сцену и... А дальше рассказывать нельзя. Брейк в хорошем исполнении надо видеть своими глазами. Минут двадцать вся дискотека стояла, тянулась на цыпочках, чтобы лучше увидеть, хлопала, свистела, шумела и смотрела на них двоих, а они танцевали.

Потом были аплодисменты, и кто лично знал их, подходил, хлопал по плечу и говорил «отлично», и, честно говоря, даже мне было приятно греться в лучах их славы, сознать, что это они меня сюда привели, я их гость и, можно сказать, имею к ним самое непосредственное отношение.

И тогда мне стало ясно, почему они так яростно качывают. Они лидеры, у них авторитет, в них влюбляются девочки, их дружбой дорожат ребята. Подумайте, может ли быть у подростка что-нибудь более ценное, чем вот такое лидерство и такой авторитет? Потому они и шлифуют свои сложнейшие кульбиты и сальто по многу часов, чтобы здесь, на дискотеке, под светом юпитеров и сотней взглядов легко и непринужденно что-нибудь эдакое крутануть, чтобы все ахнули!..

Лично я к брейкерам отношусь с уважением.

Внутри юного человека сидит «Я», которое требует реализации, которое требует, чтобы о нем узнали все — весь мир, белый свет или уж по крайней мере весь двор, школа, класс. Вспомните, взрослые, свое не очень далекое прошлое, вы ведь были уверены, что очень скоро станете Эйнштейнами, Гагаринами, Эдисонами и проч... Внутреннее «Я» юного создания не хочет считаться с тем, что таких же «Я» еще восемь миллионов. И потому-то так хочется выделиться, «выпендриться», как они говорят, хочется, чтобы заметили, обратили внимание.

Помните спартаковцев? Помните этих шумных фанатов, мальчишек и девчонок, которые надевали на себя красно-белые шапочки и красно-белые шарфы?

Шапочка была чуть ли не волшебной. Надеваешь ее, и ты уже отгорожен от всех, у тебя уже своя тайна, свой мир, своя команда, свой кодекс отношений, недоступный для всех. То же самое можно сказать и о наших так называемых «панках»: подстригся особым образом, надел на себя нечто жеваное, линялое и ободранное — и вот на тебя уже все смотрят, ты выделился из толпы, между тобой и всеми остальными та необходимая и спасительная грань, ради которой весь этот маскарад. То же могу сказать и о «металлистах», то же и о «роккерах». Во всем этом чего-то уж сильно плохого не вижу. Единственное, что меня смущало всегда, — простота, с которой происходит превращение. Щелк нож-

ницами — панк, хлоп шапочку — спартаковец... Так выделяться гораздо легче, чем, скажем, с помощью спорта, или музыки, или победы в олимпиаде по физике, математике... Здесь нужно трудиться, «пахать», а там ничего не нужно.

Я сказал, что уважаю брейкеров. Как раз за этот многочасовой, многомесячный труд. Мотивы у них те же. Выделиться из толпы. Придти сегодня в любую московскую, ленинградскую, рижскую и т. д. школу и спросите: «Ребята, кто у вас лучше всех танцует брейк?» Назовут в ту же секунду, не задумываясь. Кто секретарь комитета комсомола школы — это уже могут подзабыть, а лучшего брейкера?! Его знают, его уважают, с ним хотят дружить, ему помогают делать домашние задания и т. д. и т. п.

Если бы я был первым секретарем горкома комсомола, еще год назад открыл бы сто студий брейка, в которых бы занимались несколько тысяч ребят. Каждый вечер они приходили бы туда и учились, общались, танцевали, отдыхали, но не болтались бы неизвестно где и не занимались бы неизвестно чем... Из дохляков за год они бы превратились в ловких, сильных, пластичных ребят, практически не курящих. (Про сигареты — это вполне серьезно, буквально десятков моих знакомых брейкеров бросили курить, потому что, как они сами объяснили, «дыхалки, не хватало», пришлось выбирать.) Может быть, если бы появилась эта сотня самостоятельных студий брейка, преступность бы среди подростков упала бы на много-много процентов и количество дел в комиссиях по делам несовершеннолетних сократилось бы во столько же раз.

Конечно, не надо упрощать ситуацию. Брейк не панацея. Да и самое главное — возможно, уже через год такие студии никому не будут нужны. Все необходимо делать вовремя. В 80-м году надо было создавать клубы спартаковцев — с уставом, девизом, эмблемой... Но об этом стали реально думать, когда они уже успели столько наворотить, а потом уже и вырасти, уйдя от былых шумных и суетливых дел. В 1983—1984 годах нужно было открывать клубы скейстеров, в которых ребята, любители катания на роликовых досточках, могли учиться, соревноваться и, что не менее важно, просто общаться. Мы и со скейтом прозевали. Стали проводить первые соревнования, организовали первые секции, когда лучшие скейтеры уже отложили свои доски и ушли в армию, поступили в институты, на предприятия и т. д. В 1985 году должны были открываться студии брейка. Но они тоже не открылись. Мы все время думаем: запретить — не запретить? И пока решаем, согласовываем, а потом все-таки что-то открываем — мода проходит. И это революционное разрешение, на которое ушли годы, уже никому не нужно.

Мне кажется, брейку повезло чуть больше, чем остальным модным молодежным течениям. Прошло всего два года, как появились у нас первые активные любители брейка, а его уже показывают по телевидению (правда, редко, но все равно показывают), уже сделан первый отечественный фильм «Танцы на крыше» (правда, на экран его выпустили в сильно урезанном виде, но все равно...), и уже состоялся первый танцевальный конкурс брейка, на который приехали исполнители из семи городов страны.

А первый конкурс брейк-данса прошел в конце этого лета в литовском курортном городке Паланге, и организовал его... нет, не горком комсомола, не управление культуры, не городской клуб, — организовал его парк культуры и отдыха города. Вообще,

я считаю, это замечательно. Мы все видим, как бесславно сегодня существуют парки, в которых в основном увидишь пенсионеров и малышей. Молодые люди обычно в парки не ходят, на качелях не качаются, на «чертовом колесе» не садятся и на лавочках не целуются: иные времена, иной образ жизни и образ отдыха. К сожалению, парки никак не могут перестроиться. Те же аттракционы, те же массовики-затейники, те же пустующие аллеи и то же нежелание думать, искать, пробовать, ошибаться, опять искать и думать.

Гедиминас Мондейка и его жена Дайва. Он художественный руководитель парка, она методист. Совсем молодые люди, у них масса идей, планов, и если все они воплотятся... Ой, что будет... Именно эти два человека придумали, организовали и провели первый Всесоюзный фестиваль брейк-данса, провели, несмотря на все сложности, препятствия, несмотря на то, что шансов на успех у них было гораздо меньше, чем на поражение. И все-таки...

— Брейк танцуют сейчас во всех крупных городах, — рассказывает Гедиминас. — Есть ребята, которые исполняют его на очень высоком уровне. Всем им хочется, чтобы их оценили, чтобы появилась возможность сравнить себя и остальных, чтобы были болельщики, зрители, поклонники, соревнования, в общем, фестивалы. Когда такой праздник проходит под эгидой взрослых, когда в зале настоящее профессиональное жюри и по городу развешаны афиши, плакаты, когда мы можем подсказать ребятам, что хорошо в их танцах, а что, простите, безвкусно, тогда в них рождается вполне справедливое осознание серьезности и важности своей работы. И дома, возвращаясь в свои подвалы и клубы, они будут думать уже и об образе, целостности танца... В общем, такой конкурс, мы были уверены в этом, мог во многом помочь ребятам.

Гедиминас и Дайва правы еще и вот в чем. Все равно бы ребята собрались бы и без них, без взрослых. Поехали бы сами в Палангу, или Одессу, или Ленинград, или Каунас (мало ли городов), сами на берегу моря или реки, на площади попытались устроить свой самостоятельный конкурс, их бы разогнали, еще раз озабочили и отослали бы назад.

В общем, аргументов «за» было множество, «против» — ни одного, хотя один все-таки был, но очень весомый: а кто все это разрешит?

Гедиминас заговорил ярко, убедительную речь и пошел в отдел культуры горисполкома Паланги. Как ни странно, убедил. В плане культурных мероприятий города на август месяц появилась строка: «Танцевальный конкурс брейка «Попугай-86».

— А почему именно попугай? — спросил я.

— Мы решили, что именно эта разноцветная и жизнерадостная птичка больше всего соответствует атмосфере фестиваля. Попугай будет нашим талисманом и в будущем.

Надо сказать, талисман чуть не подвел хозяев праздника. Накануне открытия конкурса кто-то из детей нечаянно открыл дверцу в клетке с попугаем. Тот и улетел. Пришлось срочно ехать на птичий рынок и покупать еще одного попугая. Это и был главный приз. Вечером он был вручен победителям первого брейк-конкурса — участникам танцевальной группы Каунасского института физкультуры.

Простите, я забежал немного вперед. На самом деле все чуть не сорвалось. Хотя сначала все было замечательно. Ребята нашли прекрасного художника, и были сделаны отличные плакаты и афиши с физиономией попугая. Гедиминас и Дайва обзвонили все институты, клубы, театральные студии, в которых, по слухам (а иного источника на сегодня нет), культивируется брейк. Затем были написаны

сотни бумажек, согласований, планов, заявок и прочее, без чего ни одно мероприятие состояться не может. Удалось получить разрешение на организацию в Паланге небольшого палаточного городка, где в течение трех дней должны были жить ребята.

А потом в парк позвонили из горисполкома и сообщили — все отменяется. Поскольку в Палангу приглашены танцоры и из других городов, необходимо разрешение Вильнюса и Москвы. Пока оно получено не будет, ничего не состоится.

Не буду описывать поездки Гедиминаса по маршруту Паланга — Вильнюс и обратно, его хождение по зданиям, кабинетам, этажам и ведомствам... Главное, что письменного разрешения он так и не получил. Ему говорили, что не стоит культивировать чуждый нам танец, что лучше бы силы тратить на что-нибудь более полезное, что в наше напряженное время лучше бы танцевать нечто иное, не такое идеологически не выдержанное...

И все-таки первый фестиваль состоялся. Дело в том, что в Палангу уже приехали участники, по городу уже были развешены афиши — не проводить его уже было нельзя. Тогда организаторам приказали сверху — резко сократить программу, отменить несколько подготовленных мероприятий, запретить организацию палаточного городка, ну, а оставшееся — разрешить...

Гедиминас и Дайва, конечно, были расстроены, ну, а для ребят и это было счастье. Они все вместе расположились под крышей закрытой дискотеки; я глядел на них и еще раз ясно ощущал, какое же это потрясающее зрелище — столько единомышленников! Как они галантно, по-товарищески, по-доброму друг к другу относились, как жадно смотрели на самые сногшибательные па, и немедленно исполнители становились учителями, рассказывали, куда надо двигать ногу, куда — руку и куда — все остальное.

Согласитесь, когда мы их видим вместе, мальчишек и девчонок от 14 до 18, таких шумных, странных, модных, самоуверенных, они вызывают, ну, если не раздражение, то настороженность. Все это потому, что мы не чувствуем, не понимаем и не знаем их.

Я был поражен просто удивительной дисциплиной, царящей в зале дискотеки, где жили три дня ребята. Гедиминас говорил им: «Надо спать. Спокойной ночи!» И никаких протестов, скандалов, разговоров — спать, значит, спать. Ребята чувствовали и свою ответственность и свои обязательства перед хозяевами праздника и не хотели их подводить.

Хотя они могут быть и совсем другими — злыми и агрессивными. Это когда им говорят, какое они ужасное поколение, до чего они докатились, и куда смотрит милиция... Тогда они, к сожалению, действительно могут и обхамить и сказать какую-нибудь резкую глупость.

Но я отвлекусь. Нужно рассказать об открытиях, которые подарил нам всем — зрителям, участникам, организаторам — первый фестиваль брейка.

В жанре брейк-пантомимы первое место заняли Эгле Микулените и Ян Смелянский. Я видел достаточно много исполнителей брейка на самом высоком уровне — и в западных фильмах, сделанных на основе брейка, и в видеороликах. Но можете мне поверить на слово, этот дуэт, родившийся прямо у нас на глазах, уникален. Эгле — из Каунаса, Ян — из Ленинграда. До этой встречи на концертной площадке они никогда друг друга не видели, но их раскованная пластика, фантазия и импровизация позволили создавать удивительные номера.

Ян — студент третьего курса Ленинградского института театра, музыки и кино, в Палангу он

приехал вместе с танцевальной группой, которую ребята называли «Пароход». Брейк, который исполняли ленинградцы, ближе к театру, чем к танцу. А вот каунасцы показывали чисто спортивный брейк; именно в этом виде программы они заняли первое место. В составе группы Каунасского института физкультуры и Эгле Микулените. Смотрите, какая у нее подготовка: в детстве она занималась художественной гимнастикой, выполняла норматив кандидата в мастера, потом несколько лет участия в театре-студии, сейчас она работает в театре пантомимы при Каунасском драматическом театре. Так подробно пишу о ее занятиях, чтобы еще раз показать, какая серьезная подготовка у тех, кто владеет брейком на высоком уровне.

К сожалению, ни газетная, ни журнальная статьи никак не могут передать танец, пластику, движение. Поэтому вам приходится верить мне на слово, когда я говорю: концерт в Паланге безоговорочно удался. Тут могло бы помочь телевидение, но телевизионщики на конкурс не приехали. И больше всего я жалел, когда смотрел на прекрасные выступления ребят, что, кроме нас, двух сотен зрителей, этого яркого и красивого праздника больше никто не увидит.

Следующий конкурс парк культуры и отдыха Паланги собирается провести будущим летом. Пригласит ли нас «Попугай-87», к сожалению, зависит не только от желания, энергии Гедиминаса и Дайвы, но и от десятка функционеров на ниве культуры, каждый из которых может взять и запретить.

Да что брейк... С шестидесятых годов Паланга проводила популярный Всесоюзный конкурс бальных танцев. Сейчас не проводит. Замучились писать бумажки, каждую из которых надо было визировать, согласовывать, утверждать.

Мы любим говорить о самостоятельности и инициативе. Но вот молодые люди решили провести нетрадиционный танцевальный праздник, крайне необходимый сотням, тысячам подростков. Ну и что? Хотя кто-то из ответственных товарищей помог? Никто. Ладно, помогать не надо, не мешали бы... Но нет, усиленно мешают. Да, честно говоря, и понятно, почему. Когда без тебя можно придумать, без тебя организовать, провести, тогда возникает естественный вопрос: а вообще, зачем ты нужен, такой важный, с телефонами, с кабинетом, с мягким креслом, красивой секретаршей? Запретил — и все встало на свои места, значит, нужен, значит, необходим.

Как сломать все это?

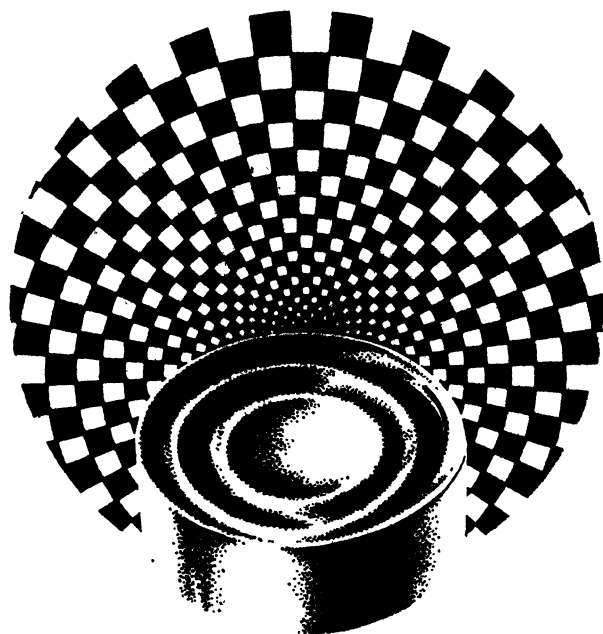
И все-таки, я думаю, «Попугай-87» позовет нас в гости. Верю в увлеченность Гедиминаса и Дайвы, надеюсь на их веселый, разноцветный талисман. Попугай не подведет...

Что будет завтра? Какой новый молодежный бум ждаты нам? Сможем ли мы к нему подготовиться?

Говорят, что на подходе «степ» — обыкновенная чечетка, но под современную музыку. Его уже потихонечку начали учить мальчишки и девчонки, щелкают каблуками и носочками об пол — начинается новая мода. Еще один прогноз — танцы на роликах... Есть третий прогноз и четвертый, но мода такая капризная штука — может пройти стороной, а может увлечь сотни тысяч ребят...

Будем ли мы им помогать? Готовы ли? Опыт прошлых лет дает пока однозначный ответ: нет.

Давайте меняться. Давайте будем терпимыми, тактичными, мудрыми. От этого станет лучше и им, и нам.



ВИКТОР
ПРОНИН

О ПОЛЬЗЕ ИГРЫ В ШАШКИ

Рисунок Е. Лехта

Я написал детектив. Вроде достаточно необычный и по составу преступления, и по запутанности расследования, а что касается следов, которые оставил преступник, то он... попросту не оставил никаких следов. Пришел, посидел с хозяином, это было видно по расположению кресел, выпил с ним чашку кофе, потом ударил чем-то тяжелым по голове, взял с полки.. Что он мог взять? Это не имеет никакого значения — японский магнитофон, альбом с редкими марками, орден Золотого Руна или фотографии, на которых он в чем-то учился.

И осталась на столе неоконченная партия — хозяин любил шашки, иногда поигрывал в них, скажем, слегка увлекался. Ну, что...

Дальше читательская фантазия может пойти по любому пути: неприятности у следователя, жалобы родственников, ложные версии, путанные показания соседей, якобы случайные прохожие, невинный человек, на которого падают подозрения, бывший уголовник, проживающий на одной площадке с пострадавшим...

И тут следователь, в который раз просматривая снимки, сделанные на месте преступления, обращает внимание на шашечную доску. У каждого из противников сбито поровну, положение вроде равнозначно. Хозяин играл черными, вот и результат: будет знать, как играть черными.

Замысел мой сводился к тому, что в самом расположении шашек осталось нечто такое, что помогает следователю если не указать пальцем на преступника, то хотя бы выйти на него...

Но что может быть в позиции такого, что выдает преступные замыслы одного из игроков? Понятия не имею. Однако затея мне нравилась, и отказываться от нее я не хотел. В самой позиции должно быть нечто такое, что выдавало бы образ мышления преступника. Поколебавшись, я решил посоветоваться с четырехкратным чемпионом мира по шашкам Анатолием Гантваргом. Мы с ним знакомы, и я подумал, что это дает мне право обратиться со столь странным делом.

И Анатолий рассказал о таком случае. Молодой и тщеславный шашкист, добившийся кое-каких успехов, пользовался славой откровенного наглеца. И вот как-то наш чемпион столкнулся с ним в турнире. Партия развивалась, как положено, — жертвы, замены, ловушки, и вдруг Анатолию открылся в партии второй план, или второе дно, если уж пользоваться детективными терминами. За деревянными кружочками и черно-белыми клетками проглянула сущность противника. Он увидел, что перед ним сидит трусоватый человек. Так вот, оказывается, что скрывается за его наглостью! В игре пытался вести себя столь же бесцеремонно, как и в жизни, а вдруг кто-то испугается, дрогнет, отступит...

— Выходит, мой детектив имеет право на жизнь?

— Да, — кивнул Анатолий. — Но чтобы не делать его совсем уж фантастическим, следователю нужно знать не только данную позицию, а течение партии. Тогда все становится достоверным и убедительным. Пусть кто-то из твоих игроков ведет запись. Партия попадает к следователю, он обращается к знатоку, и тот раскрывает тайный смысл шашечных перемещений.

Детектив был спасен.

А ведь могло так случиться, что мы имели бы сегодня дело не с шашистом, четверть века всех удивляющего своими победами, а, например, с футбольным тренером. И, кто знает, может быть, тогда наши футбольные дела были бы не столь смутны и печальны. Да, было время, когда Анатолий не знал, что предпочесть — шашки или футбол?

В 1963 году восьмиклассник Анатолий Гантварг играл в чемпионате Белоруссии по шашкам. И в эти же дни в Минске проходил юношеский чемпионат города по футболу, в котором участвовал и форвард Анатолий Гантварг. За два тура до конца шашечного чемпионата сложилось такое положение: если Анатолий набирает полтора очка, он становится мастером спорта. А выиграв его команда два последних матча, она становилась чемпионом города. И предпоследнюю партию в шашки, и предпоследний футбольный матч судьбе было угодно назначить на один день, правда, футбольный матч должен был начаться на два часа раньше. И Анатолий прикинул, что он может успеть и там, и здесь. Однако судьба распустила по-своему — где-то задержался судья, опоздал. И футбольный матч перенесли на час позже. А тут еще одна неприятность — предполагалось, что Анатолий будет играть в первом тайме, это все-таки оставляло ему возможность успеть на партию, но неожиданно его поставили на игру во втором тайме. Отдаленно утешало то обстоятельство, что в шашки ему предстояло играть с собственным тренером — Анатолий надеялся, что тот простит ему небольшое опоздание. Футбольный матч был выигран, и Анатолий, едва успев сбросить бутсы, помчался в шахматно-шашечный клуб. Но к открытию тура он не успел, ему засчитали поражение. Его противник был непреклонен — как тренер, он преподавал еще и урок обязательности.

Играть ему все-таки разрешили, но с условием — завтра же он предоставит справку о том, где был, когда, почему опоздал. Однако усталость, нервотрепка, желание во что бы то ни стало сделать победный дубль, а главное, заботы о завтрашней справке, сделали свое дело — партию Анатолий проиграл, и, естественно, заветное звание мастера спорта по шашкам тихонько уплыло в неопределенное будущее.

А будущее, как оказалось, было совсем недалеко — в 1964 году юношеская команда «Спартак» выиграла Кубок Белоруссии по футболу, и в том же году форварду «Спартака» Анатолию Гантваргу присвоили звание мастера спорта... по шашкам.

И опять он перед выбором, и опять судьба поставила его на соблазнительном распутье. Направо пойдешь... Налево пойдешь... Анатолий выбирает шашки. Тут, очевидно, сыграло свою роль то, чему нет названия, что дается предчувствием, ощущением собственных сил и возможностей.

Наверное, здесь есть нечто символическое: при игре в шашки нужно идти только вперед, ни единого раза нельзя отступить, шагнуть назад или в сторону, нельзя отсидеться, отмолчаться, уклониться — сами правила игры обязывают тебя вступить в бой. Не правда ли, это очень напоминает прожитый день, прожитый год. Хорош ли он был, плох ли, привел тебя к победе, к удаче или разрушил твои надежды... Ход сделан, и его не вернешь. Можно, конечно, попытаться исправить оплошность, как-то улучшить свои дела, свою жизненную позицию, но это уже дается новыми усилиями и на следующий день, на следующий год... В новой партии, в другом турнире, и дай тебе бог попасть на этот турнир, за-

воевать право на новую попытку. Жизнь нечасто дает нам поблажки, и случается, что единственный срыв отбрасывает нас назад, обидная несправедливость надолго вышибает нас из седла. И не потому, что мы теряем уверенность, оказываемся слабыми духом и телом, чаще происходит нечто более простое — не подворачиваются нам больше возможности снова схватиться со временем, с обстоятельствами, с самим собой, со своими слабостями и сомнениями. Что делать, есть и в шашках такие печальные судьбы.

Но к Анатолию Гантваргу это не относится, хотя в своей жизни он терпел поражений, иногда сокрушительных поражений, не меньше, чем одержал побед. О, сколько было шуму, когда в прошлом году на чемпионате страны в Харькове он не вошел даже в десятку лучших!..

Ему помогли друзья, они же соратники, соперники — Александр Балякин, Михаил Кореневский, Ростислав Лещинский... Каждый из них может претендовать на звание чемпиона мира, и каждый претендует на это звание, что вовсе не мешает им оставаться друзьями. Помог тренер Виктор Крамаренко — странная, непознаваемая личность, отчаянный боец за справедливость, без которого каждый турнир кажется пресным, а любой город пустоват, человек, наделенный счастливым даром не замечать должностного величия и должностной незначительности.

И, чтобы уж закончить об этом, скажу сразу: осенью того же года Анатолий Гантварг в матче из двадцати партий разбил лучшего шашкиста Запада голландца Роба Клерка и в четвертый раз завоевал звание чемпиона мира. Это был достойный ответ и недобожелателям, оказавшимся слишком поспешными в выводах, и ответ на собственные сомнения.

Чем больше знакомишься со спортивными, шашечными, игровыми моментами в биографии Анатолия Гантварга, тем более поражаешься насыщенности его духовной жизни.

Голландия, 1971 год

Так называемый Сахарный турнир, на который под конец года съезжаются сильнейшие игроки мира. Победа на нем — последняя ступенька перед званием чемпиона мира. С другой стороны, чемпион, не побеждавший в Сахарном турнире, чувствует, что его звание как бы не совсем узаконено. Напряжение растет с каждым туром. На счету не только очки, на счету каждая половинка очка; сделав ход, игроки тут же устремляются посмотреть, как идут дела на соседних досках, чтобы успеть внести поправки в свои планы. Если твой конкурент на первое-второе-третье место проигрывает, ты можешь довольствоваться ничьей, если у него прекрасная позиция, ты просто вынужден рискнуть, чтобы не отстать. Но риск он и есть риск, проигрыш отбрасывает тебя сразу на несколько ступенек вниз.

Гантварг играет с выдающимся африканским шашкистом Баба Си, человеком талантливым, самобытным, обаятельным. Но лучшие времена Баба Си позади. В азарте борьбы Анатолий не смотрит на противника, он и так хорошо его знает. И вдруг Баба Си делает ход, который в переводе на обычные человеческие понятия можно назвать разве что вскриком от боли. Анатолий поднимает глаза и видит, что Баба Си болен. Его лоб покрывает испарина, он явно не может продолжать партию. Следующий ход африканца был еще хуже. Это опять стон. Позиция Анатолия явно улучшается, вот-вот станет выигрышной и...

Что делать? Что сделаете вы, дорогой читатель, оказавшись в подобном положении?

За победу его никто не осудил бы, борьба есть борьба, в конце концов все и съехались сюда ради того, чтобы бороться за победу. И тут еще жесткое соображение: если Баба Си выйдет из турнира, его противники получат по очку, и их тогда не догнать... Анатолий уже видел ход, после которого африканец не распрямится, он ~~готов~~ был сделать этот ход, но что-то напряглось в душе, и рука, которая должна была просто передвинуть шашку и нажать кнопку часов, не подчинялась. Разумом понимал — надо выигрывать, а рука не слушалась, как чужая, лежала на столике, и Анатолий не мог заставить ее шевельнуться.

Баба Си делает очередной ход, голова его падает на ладони. Баба Си, легенда Африки, известный своим великодушием и рыцарским отношением к противнику, гроза всех чемпионов, пытается улыбнуться, извиняясь за плохую игру. Как быть?

Анатолий предлагает ничью.

И эта ничья стала едва ли не самой большой его победой. Над собой — ведь мы в основном боремся с самими собой. Иногда побеждаем.

Баба Си принял ничью, поднялся и с трудом ушел за кулисы. У него оставались еще две партии с сильными гроссмейстерами. Организаторы турнира, учитывая состояние здоровья африканца, предложили этим спортсменам также заключить мир с Баба Си, поскольку турнир товарищеский и на кону не стоит звание чемпиона мира, Европы, страны... Но те отказались.

Однако произошло непредвиденное — после ничьей, которую предложил Анатолий Гантварг, всколыхнулась атмосфера турнира. Уязвленный положением, в которое он попал, встряхнулся и «старый африканский лев» Баба Си. Он вышел на две оставшиеся партии, обе довел до полного преимущества, но в последний момент, к исходу четвертого, пятого часа силы оставляли его и победа выскальзывала. Обе партии кончились вничью.

А Анатолий... Он выиграл этот турнир. Не только в нравственном смысле слова, но и в самом практическом — занял первое место.

— Ну, хорошо, это было давно, а сегодня ты поступил бы так же? — спросил я у Анатолия.

— Сложно ответить... Но вот что хочу сказать. Если бы ты задал этот вопрос перед партией с Баба Си, я бы ответил, что от очка не откажусь. А сел играть — и отказался. Наверное, здесь есть какая-то закономерность...

Вот другой пример. Идет полуфинал чемпионата страны — это было в те времена, когда Анатолий не был еще ни чемпионом мира, ни чемпионом СССР.

Партия с Агафоновым благополучно скатывается к закономерной ничьей. Позиция равная, время кончается, вот-вот будет подписан мир. Анатолия ничья вполне устраивает, поскольку дает ему право попасть в финал. Сделав очередной ход, Агафонов поднялся и ушел за кулисы, и вообще в зале мало кто остался, — многие партии кончились, столики опустели, да и рядом никого не было. Анатолий делает ход, отрывает руку от шашки и тут же видит, что совершил вопиющую оплошность. Рука его дернулась, чтобы вернуть шашку назад... И повисла в воздухе.

Он и сейчас волнуется, рассказывая об этом случае. Видел, что его ход ведет к поражению, понимал рассудком, что надо вернуть шашку на место, никто не видит, сцена пустая, Агафонов где-то пьет сок... Но опять что-то напряглось в душе, и он си-

дел, завороченно глядя на собственную, теперь уже проигранную позицию.

— Рука не послушалась, — объясняет он со смущенной улыбкой. — Знал, что ход нужно вернуть, но... Пришел Агафонов, сразу, конечно, все увидел, и через два хода я остановил часы. Представляешь, ушел обессиленным, опустошенным. Но чувствовал, что-то появилось новое во мне, обнадеживающее, что ли... Ха, обнадеживающее! Через несколько лет на первенстве страны все повторилось. Ушел соперник, я сделал ход и сразу увидел, что он ведет к поражению, я отдавал три шашки! А соперника нет, прогуливается, дышит. Подошедший гроссмейстер, не буду называть его, воскликнул: «Ты что, одурел! Возвращай ход немедленно!»

— Не могу, — вздохнул Анатолий. И, заметив, что советчик хочет еще что-то сказать, добавил: — И не хочу.

И проиграл.

А почему бы нам не задуматься: не потому ли он сейчас выигрывает, что проиграл тогда эти партии?

Невольно захотелось примерить его поступки к себе: а как бы поступил я при таком испытании? И, несмотря на естественное желание выглядеть достойно, я ответил себе: скорее всего вернул бы ход и постарался тут же забыть об этом. Может быть, поэтому я и не стал чемпионом мира по шашкам. Как, впрочем, и по другим видам спорта.

Как-то мне пришлось разговаривать с одним чиновником от спорта. Чиновник был молод, хорош собой, уверен, оживлен, он откидывал назад волосы, смеялся охотно и заразительно, и по всему чувствовалось, что истины мира ему известны. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, потом менял позу, наклонялся вперед, подпирал щеку указательным пальцем, откидывался на спину.

Когда я сказал, что интересуюсь шашками, он посмотрел на меня с радостным недоумением, и мне под его взглядом стало неловко.

— Шашки? — спросил он с безукоризненной улыбкой, и я подумал, что лучше бы мне спросить его о космосе или о стратегической авиации, но я пересилил себя и кивнул. Он, как-то сожалея, окинул взглядом свой стол, заваленный шашечными бумагами, подвигал их с места на место, какую-то быстро пробежав глазами, тут же смял и бросил в корзину, а какая-то бумажка почему-то вызвала его гнев, и он изорвал ее на мелкие кусочки. — Шашки! Между нами говоря, это же спорт четвертой категории! Четвертой! — он поднял указательный палец вверх.

— А есть и пятая?

— Нет, пятой уже нету. Есть еще бескатегорийные виды... Городки... Всякие национальные бирюльки...

Потом я несколько раз видел этого человека — он расставлял стулья то на сцене Дома союзов, то зала имени Чайковского, где схватились не на жизнь, а на смерть гиганты шахматной мысли, а как-то довелось мне услышать его указания оркестру пожарников, приветствовавшему гостей чемпионата...

Однажды я спросил Анатолия, знает ли он, к какой категории относятся шашки.

— Понятия не имею, — он пожал плечами.

Я понял, что задал не тот вопрос.

— Шашки не назовешь динамичной игрой, — продолжал он. — Как-то один человек сказал: смотреть, как играют в шашки, все равно, что наблюдать, как растет трава. А внутри... О, какие бури бушуют внутри! Дай бог нам справиться с ними, удержать в узде, не дать увлечь себя безрассудному риску. Но если мы все начнем ходить правильно, следуя выверенным указаниям теоретиков, шашки умрут.

Как-то он сказал мне:

— Саша Балякин играет лучше меня. Но он еще молод.

Александр Балякин действительно один из сильнейших шашкистов мира. Это бесспорно. Но давайте оценим объективность самого чемпиона, признающего силу своего товарища, его превосходство. А может, это кокетство победителя? Нет. Кто же тогда становится чемпионом? Тот, кто лучше играет в шашки? Или вступают в силу другие качества? Какие? Лукавство? Хитрость? Железная воля? А может, не хватает Балякину каких-то потусторонних сил? Или он слишком простодушный?

— Выдержки у него не хватает,— сказал Анатолий, выслушав мои предположения.

Когда я спросил у него о другом гроссмейстере, молодым и тщеславном, спросил о его шансах на шашечную корону, Анатолий досадливо поморщился:

— Он не может стать чемпионом.

— Почему?

— По многим причинам. Во-первых, он дурак. В самом прямом смысле слова. Необразованный, невежественный человек. Во-вторых, не уважает противника. У него пренебрежительное мышление. В-третьих, он слишком много сил и времени тратит на окошашечную деятельность. Звонки, письма, визиты, жалобы, напоминания о себе.

— У него не остается времени на шашки?

— Нет, дело не в этом. Душа мельчает. Мне кажется, что в творчестве деловая хватка и целеустремленные усилия несовместимы. В этой его суете шашки вообще отодвигаются на второй план. Играет он хорошо, но этого мало, чтобы стать чемпионом. Видишь ли.. Там, в верхних слоях атмосферы, действуют другие законы. Они требуют других усилий, другого отношения к делу, к себе... Необходимо предельное напряжение сил. В полном смысле слова предельное. Самоистязательное. Каких бы высот ты ни достиг, но время от времени нужно садиться за доску и подтверждать свое преимущество, звания, титулы...

— Что же такое спорт?

— Ответов будет столько, сколько отвечающих. Есть и некоторые установившиеся истины. Спорт — это здоровье, красота, самоутверждение, победы, прославления твою страну, твой народ. Все это правильно, но я бы на этот вопрос ответил так: спорт — это постижение себя, работа над собой, преодоление собственных слабостей и недостатков.

Чемпионат мира 1984 года проводится в Сенегале. После первых десяти туров все именитые претенденты позади, но они дышат в затылок и не теряют надежды настигнуть Анатолия. Играть ему нужно острожно, но не робко, осмотрительно, но побоевому

— В надежный отрыв я ушел после партии с Отаром из Суринама. Игрок он крепкий, но его намерения мне ясны — ничья. Да и партия неизбежно катится к мирному завершению. Прикидываю — сзади неотступно идут голландцы. Если я делаю ничью, а они выигрывают, то разрыв исчезает. И черт меня дергает — я решаю сломать ничейную позицию. Обычно это оканчивается плачевно: разрушая установившуюся позицию, всегда чего-то лишаешься, вольно или невольно ухудшаешь собственное положение. Но что-то мне подсказывает, что-то толкает под локоть — отдай шашку, отдай, не жадничай, отдай немедленно, и ты увидишь, что все будет хорошо, противник не разберется в переменах, у него в душе штиль, он уже мысленно вписал половинку оч-

ка в таблицу напротив своей фамилии, отдай шашку, и он окажется в шоковом состоянии. И я отдаю шашку. Если сравнить с шахматами, это равносильно потере ладьи. Но мне удастся сделать главное — перевести игру в психологический план. Мой противник, ошавев от радости, что поймал меня на таком зевке, почувствовал, что может выиграть. Ему захотелось сделать сенсацию. В зале вокруг нашего столика атмосфера явно стусилась. Оживились голландцы, забегали корреспонденты — что-то будет. Не разобравшись в моих намерениях, Отар решил, что я ухожу в глухую оборону. И пошел на выигрыш. Этого мне и нужно было. Поражение очень его огорчило, тем более что он никак не мог понять, что же произошло на доске.

Но в пятнадцатом туре Анатолий проиграл малейшему спортсмену Диае, который не числился среди сильных игроков. Проиграл. И что самое обидное, партия была фактически доведена до победы. Ему нужно было сделать несколько ходов, очевидных, в общем-то, ходов, и все, можно было останавливать часы. А он, увлекшись комбинацией, в которой уже не было никакой надобности, просмотрел сильный ответ Диае и... остановил часы.

Зал взорвался такими оглушительными криками, что играть стало невозможно. Песни, уличные шествия, торжества на площадях захлестнули Дакар. Диае, выигравший у Гантварга, у чемпиона мира, в один день стал знаменитым спортсменом континента.

Однако о нем достаточно, порадовался и хватит. В спину дышит Роб Клерк. Борьба, начавшаяся так успешно, на финише превращается в изнурительную схватку.

Гантварг выиграл две последние партии и в третий раз стал чемпионом мира. Роб Клерк занял второе место и получил право вызвать чемпиона на матч-реванш. Разбив Клерка осенью 1985 года в Голландии, Анатолий Гантварг стал четырехкратным чемпионом мира.

Легко сказать: «Разбив Клерка...» А между прочим, этот Клерк является сегодня сильнейшим шашкистом Запада. Он долгое время находился как бы в тени своих более знаменитых соотечественников — Тона Сейбрандса и Харма Вирсмю. Но теперь он стал сильнее, усвоив их достижения в шашках. Кроме того, он на семь лет моложе нашего чемпиона..

О самом Робе Клерке лучше скажут цифры. В первенствах Голландии за последние пять лет из более чем пятидесяти партий он проиграл... одну. В эти же годы, выступая в четырех чемпионатах мира, одном зональном турнире, командном первенстве Европы, сыграв в общей сложности около девяноста партий, Роб Клерк проиграл лишь одну. В шести матчах СССР — Голландия он сыграл двадцать четыре партии. Не проиграл ни одной.

Как-то я спросил у Анатолия:

— Перед матчем с тобой Роб Клерк дал интервью, в котором выстроил чемпионов последних лет следующим образом: на первое место он поставил Андрею, во второе — Харма Вирсму, на третье — тебя и Сейбрандса...

— В этом весь Клерк! — рассмеялся Анатолий. — Жаль, что я не видел этого списка до матча, он позволяет делать кое-какие выводы.

— Но, может быть, Клерк сознательно перепутал ступеньки, чтобы ввести тебя в заблуждение?

— Нет, он здесь искренен. Но с его списком мало кто согласится. На первом месте, без всяких оговорок, стоит Тон Сейбрандс. Он внес в игру столько нового, неожиданного, что его преимущество не вызывает сомнения. Шашки до Сейбрандса и после

него — это разные шашки. Кроме того, он мастер точного расчета, его интуиция потрясала. Пока он активно играл, в шашках ему не было равных. Сейбрандс заслуживает преклонения и как личность. Его убеждения, цельность натуры, демократичность вызывают искреннее уважение у всех, кто его знает. Если Клерк ставит Сейбрандса на третью ступеньку, значит, он его не понимает. О, Сейбрандс! Он убедительно выигрывал чемпионаты Голландии, Европы, мира, но желания без конца повторять победы у него не было. В игре он искал истину и отстаивал ее с такой страстью и убедительностью, что не поверить ему было нельзя. А доказав правильность своих идей, он ушел, сочтя свою задачу выполненной. На это способен не каждый. Прекрасно помню, как, одержав блестящую победу на Сахарном турнире в Амстердаме, он отказался идти на рождественский банкет, заявив, что не может видеть обилия пищи на столах в то время, когда в Биафре дети умирают от голода.

— А вторая ступенька?

— Здесь я согласен, ее, конечно же, занимает Харм Вирсма или Андрис Андрейко. Но пойми меня правильно — я не хочу никого ставить ниже или выше. Все они выигрывали друг у друга и проигрывали друг другу, все были чемпионами мира и чемпионами своих стран, все одерживали победы в турнирах. Я говорю о вкладе в шашки, о понимании шашек, о взгляде на игру.

— А куда бы ты поставил себя в этом списке?

— Тут возникает щекотливое положение — с кем я стою рядом, над кем возвышаюсь... Об этом говорить не мне. Скажу о другом — чем я отличаюсь от них... Андрейко — мастер комбинационной игры, он чувствовал и видел путь к выигрышу и шел по нему до победы. Интуиция позволяла ему мгновенно отбрасывать ненужные, ложные варианты. Его невозможно ни с кем спутать, в его партиях просматривается некая шашечная дактилоскопия, если ты мне позволишь выразиться по-детективному. Иногда он применял рискованный прием — сознательно отдавал инициативу, а потом незаметно ее снова перехватывал, а противник все еще думал, что играет на выигрыш. Однако с Сейбрандсом это не проходило, и Андрейко играл с ним как-то подавленно, вяло.

— А Харм Вирсма?

— Перед игрой Харма Вирсмы я всегда испытывал восхищение. Он во многом пошел дальше Тона Сейбрандса, сделал свою игру разнообразней, раскованней и рискованней, что мне особенно нравилось.

— А чем отличаешься ты?

— В шашках я слегка хулиган. Я считаю психологию не менее важным элементом, нежели собственное шашки, учитывая личность играющего, его положение в турнирной таблице, его спортивное тщеславие. Разумеется, для всего этого надо еще уметь играть в шашки. Кое-кто называл меня звездой турниров. Да, они у меня получались лучше, нежели матчи. Думаю, это результат того, что мне полнее удается понять разных противников.

— То есть твои победы объясняются и обостренным психологизмом игры, можно так сказать?

— Можно. Я постоянно помню, с кем играю, это отражается на тактике, и на стратегии, и на позициях, которые возникают, и на преодолении трудностей.

— Речь идет о психологическом преодолении противника?

— Да, пожалуй.

— А были такие, сломать которых не удавалось?

— Харм Вирсма.

— Но ты побеждал его?

— Да, но это была тяжелая работа. Он очень си-

лен духом. К сожалению, Харм ушел из активных шашек и выступает лишь за свой клуб или на первенстве Голландии. Наш спор с ним так и остался незаконченным.

— Внес ли ты что-нибудь свое в шашки?

— Честно? Думаю, внес. Мой стиль выработался еще и под влиянием тех противников, которых мне уготовила судьба. Я не мог тягаться в расчете с Сейбрандсом, чутье Андрейко было острее, безошибочнее моего, универсальность Вирсмы мне не всегда удавалось преодолеть. Значит, я должен был противопоставить нечто такое, чего не было у них и в чем я был сильнее. Расчет хорош сам по себе, но иногда он становится скучным, интуиция — это прекрасно, но она не зависит от наших усилий, она подчиняется каким-то другим законам, и мы над ней не властны. Против раскованной, подчеркнуто грамотной игры также есть противоядие. Мой козырь — ставить противника в неудобное, непривычное для него положение, создавать неожиданные позиции, в которых я и сам, может быть, не разобрался до конца. Но на таких условиях я готов был драться с кем угодно. Да, я раскачивался на проволоке и мог свалиться в пропасть с таким же успехом, как и мой противник. Но я сам натягивал эту проволоку, это была моя проволока, и я вынуждал противника становиться на нее. Значит, у меня было преимущество.

— Пример?

— В Ялте проходил матч СССР — Голландия. На первой доске играл Сейбрандс, против него должен был выступать Андрейко... Однако возникли побочные обстоятельства, Андрейко отказался играть с Сейбрандсом, и, лишь придя на матч, я узнал, что будет моим противником. Тон Сейбрандс был тогда чемпионом мира, и вся шашечная слава мира витала над его головой. Первую партию я проиграл. Поняв, что в спокойных, классических позициях мне Сейбрандса не одолеть, во второй партии я решил сыграть по-своему. После дебюта мой левый фланг оказался ослабленным, и я добровольно отдавал его на растерзание, но зато брал инициативу в центре. Сейбрандс тут же набросился на мой фланг, а я занялся своими делами. Через некоторое время выяснилось, что его положение безнадежно. Он проиграл. Это была сенсация. Но не просто победа над чемпионом мира была мне важна, — я понял, что есть в шашках позиции, где самый фантастический расчет и железная логика отступают перед Игрой. Я сделал для себя вывод, что именно в неизученных, рискованных положениях могу сказать свое слово.

— Ты так играл всегда?

— Да, можно сказать, всегда... До матча с Клерком, после чего понял, что в подобных играх нужна прежде всего надежность. Недавно мне пришлось посмотреть мои юношеские партии...

— Сейчас бы ты у себя выиграл?

— Да, конечно. Но у меня дух захватило от того отчаянного риска, с которым я играл, в партиях была какая-то бесшабашность, наивная уверенность в своей позиции. Такое впечатление, будто играл совсем другой человек — более молодой, доверчивый, более счастливый и беззаботный.

— Это ты увидел в партиях?

— Да! Такое ощущение, что доска постоянно залита солнечными лучами. Это была не только моя молодость, это была молодость шашек. За последние двадцать пять лет они очень изменились. Стали коварней, неожиданней, открылись такие возможности и глубины, о которых чемпионы тех лет и не догадывались.

Однажды Анатолий Гантварг неожиданно оказался в роли эксперта. Родители талантливого, по их мнению, отпрыска попросили оценить партии, которые тот выиграл у весьма солидных шашкистов. Анатолий взял записи и в свободное время внимательно посмотрел партии. И после этого решился посоветовать родителям не настаивать на шашечном увлечении сына.

— Естественно, вы в любом случае поступите так, как вам хочется, но мое мнение — вашему сыну не стоит заниматься шашками, — сказал он.

— Почему?! — воскликнули потрясенные папа и мама.

— Думаю, что вскоре шашки ему наскучат. Он не шашкист.

— А кто же он?

— Приспособленец, — это Анатолий сказал, конечно, не родителям, а уже мне. — Сыгранные им партии открыли такое в характере парнишки, о чем не догадывались родители, о чем он сам не подозревал. Вот он начинает атаку. Все идет хорошо, все получается, пока противник, ощутив опасность, не делает первый упреждающий ход. Как поступает наш герой? Доказывает свое понимание позиции? Нет, тут же отрекается от атаки, испугавшись отдаленной, вряд ли осуществимой угрозы. У него есть комбинационное мышление, он видит позицию, но он не

боец, не правдолюбец, он даже не хулиган. Шашки — это еще и игра, в ней может быть и шалость, и озорство, и блеф, и риск. Ему все это чуждо.

Я спросил у Анатолия:

— Куда бы ты хотел съездить?

— Мечтаю побывать в Голландии, — ответил он.

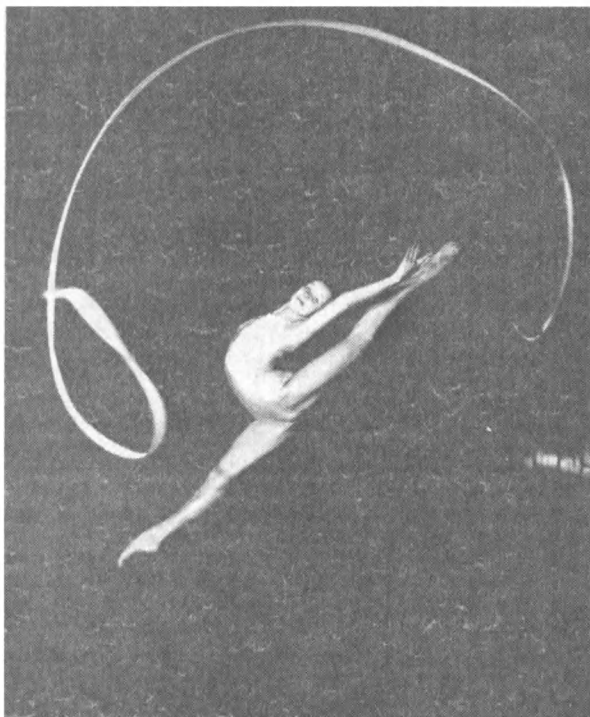
— Где?! В Голландии? Ты ведь был там уже раз двадцать!

— У меня такое ощущение, что я там еще не был, — вздохнул Анатолий. — Каждый раз я вижу эту страну в коротких промежутках между партиями. То нас везут в автобусе, то я возвращаюсь из зала в гостиницу, опять тороплюсь на партию... А последний матч с Робом Клерком вообще проходил в клетке.

— То есть как?

— Поставили на сцене стеклянный куб, метра по четыре грани, и поместили туда нас с Клерком. Тихо, спокойно никто не подсказывает, шум не доносятся, и в то же время видно нас, в зале люди, телевидение... Вроде бы все хорошо, и игроки целы, и зрители сыты, а все-таки что-то не то... Не понравилось мне в клетке играть. А в Голландию хочется съездить... Побродить по улочкам, посидеть за столиком на тротуаре, пошататься по сувенирным лавкам... Хорошо бы с друзьями, без спешки...

ДО СВИДАНИЯ, ДАЛЯ!



На прошедшем Кубке страны по художественной гимнастике в последний раз, расставаясь с большим спортом, выступала Даля Куткайте. У нее было много славных побед. Но, даже уступая порой соперницам, которые — чисто спортивно — исполняли программы более сложные, она покоряла зрителей своей артистичностью, одухотворенностью, безукоризненным вкусом. Она показывала, если хотите, чем гимнастика художественная отличается от спортивной. Еще семь лет назад «Юность» вручила Дале «Приз надежды», а теперь — на прощанье — она вновь стала обладательницей нашего «Хрустального тюльпана». Даля учится на четвертом курсе Вильнюсского педагогического института. Ее имя в переводе с литовского означает «судьба». Мы верим, что и в педагогике Даля не упустит свою судьбу.

В. НАЙПАК

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1986 ГОД

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ

АМЛИНСКИЙ Владимир. Оп- равдан будет каждый час	10, 11
АРКАНОВ Аркадий. Рукопи- си не возвращаются	12
БОРУШКО Олег. Путь	5
ГОВОРОВ Александр. Обь- ездчик	8
ГОЛУБЕВ Анатолий. Высшая степень риска	10
КОМИССАРОВА Майя. Суе- верие	5
КОРОТИЧ Виталий. Память, хлеб, любовь	2
КУЛИЕВ Кайсын. Скачи, мой ослик!	7
ЛЕОНОВ Николай. Професси- оналы	8, 9
МАР Наум. «Есть упоение в бою»	8
ПОЛЯКОВ Юрий. Работа над ошибками	9
СЕМЕНОВ Георгий. Жасмин в тени забора	1
СТИШОВА Лидия. Багульник	3
ФИЛИМОНОВ Александр. Со- стояние души	5
ЦВЕТАЕВА Анастасия. Си- бирские рассказы	11
ЧУПРОВ Алексей. Тройная медь	3, 4
ЯКОВЛЕВ Юрий. Саманта	6

РАССКАЗЫ

БОНДАРЕВ Юрий. Мгнове- ния	6
ВАСИЛЬЕВ Борис. Экспо- нат №	3
ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид. Когда я был ящерицей	9
Владимирская горка	5
ГАЛАКТИОНОВА Вера. Зер- кало	2
ГЛАЗКОВ Юрий. Планета зеркало Адаптивная жена	12
ГОЛУБ Николай. Семка — Ев- ропа	9
ДАРЬЛОВА Наталья. теоре- ма Ферма, великая и за- гадочная	2
ЖДАН Олег. Взрослая жизнь	2
ЗОЛОТУХИН Валерий. Ком- див четырнадцатый	6
ИЛЬЮШИН Алексей. Тро- фейные игры. Конец пра- здника	7
КАНТОР Владимир. Налив ное яблоко	4
КОПЕЙКО Вера. Лида Тол- кунова, абитуриентка	7
МАЗО Борис. Толкование слов	1
МКРТЧЯН Сатеник. Самый старый сапожник	5
ПЕРЕПЕЛКИНА Светлана. С чем ехать	5
ПОЛУЯН Елена. «Кормилец»	7
ПРОХАНОВ Александр. Ору- жейник	4
РОЗОВ Виктор. Путешествие в разные стороны	6
РОСЛЯКОВ Василий. Элеона- ра	11
РУБИНА Дина. Возвращение к пройденному	5
СЕГЕНЬ Александр. ДЕРЕ- вяшка	5
СОТНИКОВ Владимир. Отец У Карпенкиных	1
ЦЫГАНКОВ Евгений. Выюга Роза в огороде	8
ЧЕРНЯЕВА Елена. Лилька мотогонщица	1
ШАРОЯН Роланд. Выше об- лаков, дальше звезд	1
ШЕСТИНСКИЙ Олег. Девуш- ки моей мечты. Мальчик и девочка	1
ЯКОВЛЕВ Александр. Где ты был во время дождя?	5

ПОЭМЫ, СТИХИ

АБАШИДЗЕ Григор	1
АКСЕЛЬРОД Елена	6
АЛИБЕКОВА Бикханум	9
АМАШУКЕЛИ Резо	1
АНДРЕЕВ Михаил	6
АНТИПОВА Светлана	4
АСУСЕНА Торрес Альба	5
АХМАДУЛИНА Бэлла	6
БЕРЕСТОВ Валентин	4
БЛАЖЕЕВСКИЙ Евгений	12
БЛИНОВА Эльмира	4
БОБКОВ Сергей	3
БОВОК Виктор	2
БРЕНЦИОС Витаутас	12
БУРАВКИН Геннадий	10
БЭЭКМАН Владимир	11
ВАНШЕНКИН Константин	6
ВАРЕНИК Наталья	8
ВАСИЛЬЕВА Лариса	6
ВЕСЕЛОВСКАЯ Надежда	5
ВИШНЯК Виктор	1
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей	7
ВОЛКОНСКАЯ Вера	9
ВОЛОДИН Виктор	7
ГЕДЫМИН Анна	11
ГЕРАСИМОВ Виктор	4
ГЛАЗОВ Григорий	9
ГОЛОВ Андрей	7
ГРАЧЕВА Нина	9
ГУСИНСКИЙ Юрий	8
ДАВИТАШВИЛИ Джуня	8
ДЕМИДОВ Владимир	8
ДЗАСОХОВ Музафер	8
ДМИТРИЕВ Олег	11
ДРУНИНА Юлия	7
ЕЛЕНКОВ Лучезар	8
ЕРЕМЕНКО Александр	5
ЕРЕМЕНКО Владимир	12
ЖИГУЛИН Анатолий	4
ЗАВАЛЬНЮК Леонид	9
ЗИКУНОВ Вениамин	12
ЗАЛИВОЧКИН Виктор	5
ЗВЕРЕВА Марина	7
ЗНАМЕНСКИЙ Роман	3
ЗУБАРЕВА Елена	3
ЗУМАКУЛОВА Танзиля	2
КАПЛУНОВ Юрий	5
КАРИМОВ Рахим	5
КАРПОВ Николай	9
КАСЫНИН Геннадий	11
КЕЛЬМАН Леонид	9
КИРИЛЛОВА Маргарита	12
КОВАЛЬДЖИ Кирилл	8
КОВДА Вадим	10
КОЛЛИ Илья	5
КОСТКО Владимир	2
КОСЬКОВ Лев	10
КОЧКИН Сергей	8
КРАВЦОВ Альберт	12
КУВАКИН Александр	5
КУЗНЕЦОВ Вячеслав	11
КУЗОВЛЕВА Татьяна	10
КУРБАНМУРАДОВ Канабай	7
КУКОВЯКИН Владимир	4
ЛЕВЕНКО Валерий	3
ЛИСЯНСКИЙ Марк	12
ЛИТВИНОВА Мария	5
ЛОКШИНА Нина	11
МАРШИННИНА Татьяна	11
МАКАРОВ Александр	5
МАМАЕВ Михаил	7
МИЛИТОНЯН Эдуард	9
МИХАЙЛОВА Наталия	5
МОСКВИТИН Александр	11
МОШЕГОВ Михаил	5
МУЛКИЕВ Джума	5
НАРОВЧАТОВА Ольга	10
НАТАРОВСКИЙ Николай	1
НЕРПИНА Галина	12
НОВИКОВ Николай	4
НУТРИХИНА Наталья	11
НЫСАНАЛИН Аян	3
ОКУДЖАВА Булат	1
ОЛЬШЕВСКИЙ Рудольф	11
ОРЛОВ Борис	5
ОШАНИН Лев	9
ПАРАМОНОВ Владимир	9
НАРШИКОВ Алексей	5
ПЕТРОВ Виктор	2
ПЕТРУХИН Иван	2

ПОЖЕНЯН Григорий	6
ПОЗДНЯКОВ Николай	2
ПОПОВ Борис	4
ПУПЫНИН Юрий	3
ПШЕНИЧНЫЙ Анатолий	12
РЕЦЕПТЕР Владимир	12
РЖАВСКИЙ Иосиф	2
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт	8
РЯБЦЕВА Инесса	3
САВЕЛЬЕВ Константин	10
САВЕНКОВ Владимир	2
САЕД ШАХ Анна	8
САЛИМОН Владимир	10
САМЧЕНКО Егор	9
САПОЖКОВ Юрий	1
СЛИВКИН Евгений	5
СЛУЦКИЙ Борис	8
СМЕРТИНА Татьяна	8
СОЛОУХИН Валентин	9
СОРОКИН Валентин	7
СТАРШИНОВ Николай	6
СТЕПАНЦОВ Вадим	5
СТРУЧКОВА Нина	5
СУХАРЕВ Дмитрий	11
ТАИСОГЛЫ Таир	1
ТАРАТУТА Сергей	4
ТАРБА Иван	1
ТЕРЕНТЬЮК Сергей	7
ТИХОНОВ Николай	11
УЛЗЫТУЕВ Амарсана	5
ФИЛИМОНОВ Дмитрий	6
ХЕЛЕМСКИЙ Яков	11
ХОДАКОВА Мария	4
ХОМУТОВ Сергей	5
ХУБИЕВ Назир	1
ЧАРКВИАНИ Джансуг	6
ЧЕПУРОВ Анатолий	2
ШЕФЕР Вадим	10
ШИПОВ Олег	5
ШЛИОНСКИЙ Евгений	12
ШОСТКО Виктор	2
ЭДОВОВ Андрей	5
ЭМИН Геворг	4
ЮЛДАШЕВ Махмуд	1
ЮРЧЕНКО Юрий	5
ЯКУШЕВА Любовь	11

ПУБЛИЦИСТИКА

АВДЕЕВА Ксения. Что же дальше?	1
АЗАРОВ Юрий. Люцерн и кисть	11
АЛЕКСЕЕВ Ф., БОРИСОВ М. Заботы чугуевки	6
БАГРОВА Татьяна. Прошу слова	3
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Сергей Диплом Гагарина	4
БЕЛЯВСКИЙ Юрий. Об- щезитие	8
БОГАТ Евг. Мать Мария: ми- фы, версии, достоверности	4
БОРОВИК Артем. «Из глу- бин ада взываю»	1
БОРЦ Валерия. Молодогвар- дейцы	3
ВЕРСТАКОВ Виктор. Вер- нуться и жить	2
ВЫСОЦКИЙ Владимир. Моно- логи	12
ГРАФОВА Лидия. Мужество ГРИГОРЬЕВ Марк. Завод ок- нами в поле	6
ДАНОВ Константин. «Думай- те, пожалуйста»	2
ЗАРАПИН Дмитрий. Клав- дия Семеновна	7
ИЛЛЕШ Андрей. Сигнал тре- воги номер три	2
КАРЦЕВ Алексей. «Мы хо- тим всего — и немедленно»	12
КУВШИНОВ Игорь. Звездоч- ет	10
ЛАНИНА Александра. Всего одна жизнь	5
МАРКОВ Сергей. «Место встречи Волги и Каспия — моря»	3
МАРКУША Анатолий. Гла- за в глаза	9
МИРОНОВ Борис. «И все- таки я права»	4

МОЛОЗИН Виктор. За Урен-
гоем — Ямбург
НЕВСКИЙ А. Занька
ОВЧИННИКОВ Б. Красный
день календаря
ОЗЕРОВ Михаил. Марафон
ради жизни
Письмо читателю:
Год съезда 1
Слово делегата 2
Статье взрослым 4
Без фальши 10
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Кон-
стантин. Токно: от шести
вечера до полуночи
ПЭНЖКО Павел. Хутор на
Киренге
РАГОЗИН Юрий. Комсорги,
которых мы выбираем
СЛУЖЕВСКАЯ Татьяна. Без
шаблона
СТРИЖОВСКИЙ Лев. На ро-
дине Эрнста Тельмана
ТРИУС Ирина. Я всю жизнь
богата
Уроки Висима
ФРОЛОВ Алексей. Дорога на
Ямал
Линия
ХИЛТУНЕН Валерий. Остро-
ва на горизонте
ХРОМАНОВ Михаил. Встре-
ча с человеком, который
сказал «нет»
В жизни нет нейтраль-
ной полосы
Если б ты знал
ЧЕРКАШИН Николай. По сле-
дам «Святого Георгия»
ЮДИНА Галина. Остановить-
ся и подумать
ЮМАШЕВ Валентин. Зарисов-
ки в стиле брейк

КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Н. АЛЕКСАХИНА. Нас так и
звали: «Соколята»
АМЛИНСКИЙ Владимир. Па-
мяти Катаева
БЕК Татьяна. Увидеть мир
заново
БУНИМОВИЧ Евгений. Четы-
ре дебюта
ВАНШЕНКИН Константин.
«Предстоит на свете
жить...»
ВОЛЬПИН Надежда. Свидан-
ие с другом
ГОРЛОВСКИЙ Ал. Поэзия и
судьба
ГАЛАНОВ Борис. Писатель
и его герои
ГИНЗБУРГ Лидия. «Смысл
жизни — в жизни, в ней
самой»
ГОЛУБОВСКИЙ Евгений.
ДРОЗДОВСКИЙ Анатолий.
Юношеский роман
ГУСЕВ Павел. «Люблю, зна-
чит существую...»
ДАНГУЛОВ Савва. Советская
литература в мире
ДОРИЗО Николай. «И гений,
парадоксов друг...»
ЖЕЛЕЗНОВ Леопольд. Ред-
кий снимок
ЖУХОВИЦКИЙ Леонид. «Что
же вы мимо едете»
ИСКРЕНКО Нина. Вернемся
к Вознесенскому
ИСТОГИНА Александра. Ли-
ния жизни
КАМЫШНИКОВА Наталия.
Полутона и краски
КАШЕЖЕВА Инна. «Мы к
дню Победы шли от Бре-
ста...»
КИРЕЕВА Алла. Классики
пишут сегодня
КОРЖИКОВ Виталий. Мои
останутся следы
КУНИНА Е. Школа поэтики
ЛАВРИН Александр. Гаран-
тия высоты
ЛАССКИЙ Юрий. «Посреди-
не единственной жизни...»

МАЛЬГИН Андрей. Лес ру-
бят — щепки летят
МИНТАЗОВА Индуса. «Завет
Ильича я в сердце вло-
жил...»
Молодая литература и ее
завтрашний день
«Круглый стол» молодых
писателей
МОЛЧАНОВ А. Сопережива-
ние
МОСКВИН Сергей. Молодые
и почти молодые
НИКУЛИНА Галина. Диалог о
мире и войне
ОЗЕРОВ Лев. Седой гусар
ОСМОЛОВСКИЙ Юрий. Доро-
гами поисков
ПЛАСТОВ Михаил. Летопись
великого дела
ПОПОВ Андрей. Книга с
двумя подписями
ПРОСКУРНИНА Э. Свой
взгляд
ПЬАНОВ Алексей. «По веч-
ной памяти иду»
РАЗГОН Лев. Необыкновен-
ные собеседники
РЕВИЧ Всеволод. Звездолет
или электричка?
САВАТЕЕВ Вячеслав. Живая
сила традиций
СИДОРОВ Е. На пороге ли-
тературы
СЛЮСАРЕВА Ирина. В ра-
зорванном тумане
СТИШОВА Елена. Каждый
пишет, как он дышит
ТАРАСЕВИЧ И. «Я и сам
молодой»
ТКАЧЕНКО Петр. Продолже-
ние подвига
ХУРГИНА Ирина. Юноше-
ское сочинение Добролю-
бова

КУЛЬТУРА

И ИСКУССТВО

АНАНЬЕВА Елена. То высо-
кое, пламенное, сильное
АРОНОВ Александр. МУРА-
ТОВ Сергей. Размышле-
ния у непарадного подъ-
езда
БЕЛОВ Михаил. Заметки «бу-
мажного» архитектора
БЫКОВ Роллан. Письмо к
живым
ВИНОКУРОВ Валерий. Не
только киноплакаты
ЗЕРЧАНИНОВ Ю. Дерзай,
дизайнер
ЗИМЯНИНА Наталья. Ау!
КОНЧИН Евграф. «Я зрю
сквозь целое столетие.»
Рокоты и другие
ЛЕОНИДОВ Ю. Евгений
Дворжецкий. «Мы предла-
гаем подумать...»
МАРАХОВСКАЯ Людмила. Си-
бирь прирастает таланта-
ми
НАЙЧУК Оксана. Как весе-
лятся «Веселые ребята»
НЕКРАСОВА Л. Из эли и
клена
БОРИС ПОЛЕВОЙ — Илья
ЗРЕНБУРГ. Из переписки
ПЬАНОВ Алексей. Диалоги
со скульптором
СКОРОХОДОВ Глеб. Слушая
заново
Столь современная история
(О театре-студии на Юго-
Западе)
ТАТАРСКИЙ Александр. Де-
лать мультфильм
ШУЛЬЖЕНКО Инна. Явле-
ние Репина в Пензе
А у меня вопрос
ЯЗЫКОВА Ирина. ДРУК Вла-
димир. Диалог
ЯМЩИКОВ Савелий. Пер-
вые грибоедовские
НАУКА И ТЕХНИКА
АГЛИЦКАЯ Инга. «Спасибо,
коллега!»

БОЛТЯНСКИЙ В. Г. Завт-
рашние проблемы
ВЕЛИХОВ Е. П. Требуется
Ломоносовы
РАГОЗИН Юрий. В молодости
и несколько позднее
ФАДЕЕВ Юрий. Флаг над
полем
ШЕВЕЛЕВ А. Пятна на бе-
лом халате

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

АГЛИЦКАЯ Инга. Консилиум
пациентов
БОГУСЛАВСКАЯ Зоя. Читаем
ли мы на одном языке?
ВИХРЕВ А. Кто «за»?
К. М. Есть ли профессия
у писателя?
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Давай-
те поскушаем
Кому дописывать повесть?
ХАЗИНА Инна. Взлети же!

СПОРТ

АРКАНОВ Аркадий. ЗЕРЧА-
НИНОВ Юрий. Сюжет с не-
мыслимым прогнозом
БЛАТИН Михаил. Спортивен
ли ты?
БУЛЫНИКИН Виктор. Если не
ты, то кто?
ДОЛГОПОЛОВ Николай. А
почему бы и нет?
ЖУРБИНА-ГРИЦКОВА Ири-
на. Особая мета
ЛЕОНИДОВ Ю. И вновь —
Андрей Чесноков
ЛУКЬЯЕВ Владимир. Зимой
в горах очень холодно
НАЙПАК В. Знакомьтесь:
Яна Цаплина
ПРОНИН Виктор. О пользе
игры в шашки
ТОКАРЕВ Станислав. Рискну
предсказать
ШВЕЦ Геннадий. Кто пере-
прыгнет футбольные во-
рота?

ЗЕЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

АНАНОВ Георгий. Встреча
БОГДАНОВ Игорь. Тихий час
ВЕРИЖНИКОВ Виктор. Как
повысить успеваемость
ВОЛОДАРСКИЙ Александр.
Принцип
ГАВРИЛОВА Татьяна. Обыч-
ный урок
ГАЛКА ГАЛИНА. Гости с
поднятыми руками
Сорьтесь научно!
ГОРБОВСКАЯ Екатерина.
Обыкновенная история.
Письмо в Сухуми
ДВОРКИН Эдуард. Жертва
безнравственности
ДЯКОВ Владислав. Осуще-
ствление мечты
ЗАДОРНОВ Михаил. Нарвать-
ся можно
ИРТЕНЬЕВ Игорь. Любовь,
мечты и др.
КОМИССАРЕНКО Семен.
Крепкий орешек
НИКИТИНСКИЙ Леонид. Гиб-
рид эксперта Экс
ПОПОВ Евгений. Тихий Ев-
стафьев и гомо футурум
ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий. Иро-
нические миниатюры
ПУТЯЕВА Ирина. Комната
смеха Дилемма
ПЬАНОВ Алексей. Литера-
турные пародии
РИХТЕР Юрий. Возможны
варианты
САВЕЛЬЕВ Владимир. Я и
Она
СЛАВКИН Виктор. Love story
ФАЛЯХОВ Рустем. Книга
учета
ХОДАНОВ Алексей. Закон
парности
ШАНИН Юрий. Без переэк-
заменочки

ПЕТР РЕЙХЕТ **Ленинград.**

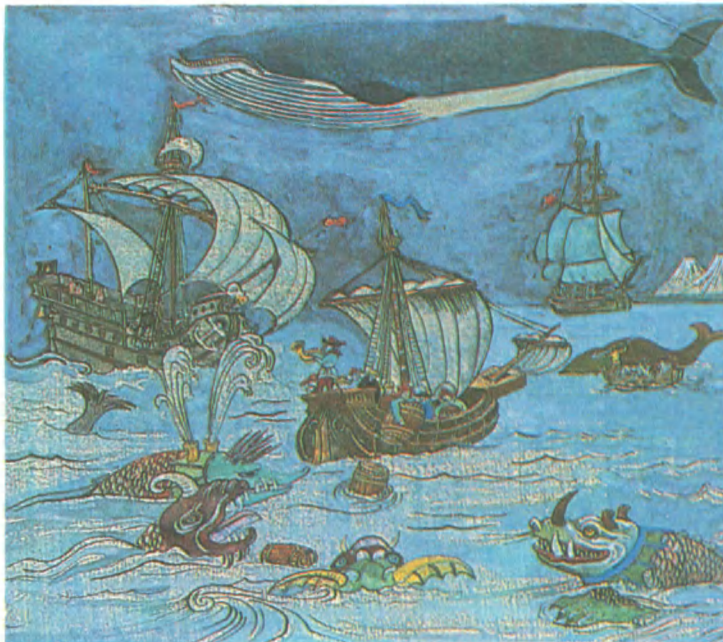
Художник рассказывает: «В начале мая 1976 года я прилетел на остров Хейса в полярную обсерваторию имени Кренкеля, где и провел полгода, пока лучшие в моей жизни. Земля Франца-Иосифа — самое прекрасное место на земле, считал Фригьф Нансен, и я разделяю это мнение». Серия из пяти картин «На Земле Франца-Иосифа» стала дипломной работой Петра Рейхета, которую он защитил с отличием в 1977 году. С тех пор увлечение Севером, морем гонит его в новые странствия, путешествия. Он много пишет, выставляется.

Несколько лет назад П. Рейхет начал работать в технике левкаса. По композиционному рисунку и живописным приемам эти его работы напоминают русские иконы, восточные миниатюры, где вокруг центрального изображения располагаются небольшие кадры (клейма) с более мелкими изображениями, дополняющими тему центральной композиции. Пользуясь этим приемом, художник воссоздает жизнь Витуса Беринга, жизнь зверобоев...

А его серию линогравюр с подкраской акварелью можно было бы назвать «О неизведанных северных морях, землях и зверях, о людях, покоряющих эти просторы, о мужестве и любознательности, которые извечно направляют дела и помыслы наши». Мы видим фантастические портреты морских пиратов, чудовищ, первопроходцев и зверобоев, призрачные контуры пропавших кораблей. Дар художника — и в неумной фантазии, и в склонности к мистификации...

Успехов тебе, Петр Рейхет — художник и путешественник!

К. КУДРЯШОВ.

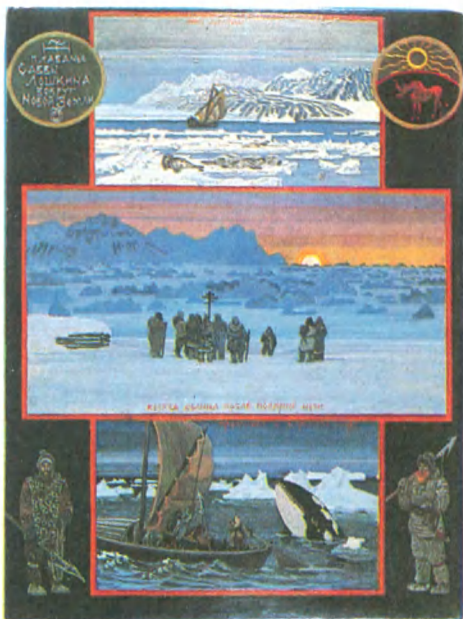


Памяти
погибших
китов.
Акварель.



Смерть
командора
Витуса
Беринга.
Автолитография.

Плаванье Саввы Лошкина
вокруг Новой Земли.
Дерево, левкас.



«Летучий голландец».
Акварель.



Юность, 1986 г. № 12. 1—112.
Индекс 71120
Цена 70 коп.

